ГЛЕБ ГЛИНКА

НА ПЕРЕВАЛЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

1954

НА ПЕРЕВАЛЕ

На Перевале

Сборник произведений писателей группы «Перевал»: А. К. Воронского, Ник. Зарудина, Ивана Катаева и др.

РЕДАКЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ГЛЕБА ГЛИНКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1954

OVER THE CREST

GLEB GLINKA, EDITOR

Printed in the United States of America

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн,
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Пушкин

НА ПЕРЕВАЛЕ

Литературное объединение писателей «Перевал» зародилось в годы новой экономической политики, в бурном кипении неустоявшейся писательской общественности, в жестоких спорах и битвах.

В своей статье «О злободневном», будущий перевалец Димитрий Горбов так описывает обстановку этих лет:

«Разделение советских писателей на группы и направления само по себе — явление отрадное. Оно — залог жизненности нашей литературы, которая, как и всякое сложное жизненное явление, может плодотворно развиваться только диалектически: путем споров и столкновения противоречий. Эти споры и столкновения не только не вредны, но необходимы литературе, как воздух и пища. Однако, при одном лишь условии: чтобы они имели принципиальный характер, чтобы литературные бои, ими порождаемые, шли вокруг вопросов, жизненно необходимых для самой литературы, как одного из высших выражений общественности, а не вызывались посторонними, из существа дела не вытекающими соображениями.

Наша молодая литература обладает здоровым крепким организмом.

Растет молодежь, идущая в литературу из низов, воспитанная Октябрем. Растет ее литературное мастерство и сознание ответственности за то важное общественное дело, каким является искусство слова вообще, а в наших условиях — в особенности. Растет чувство связи художника с эпохой, понимание художником той огромной и сложной темы, которую эпоха ставит перед ним. Этот рост заметен во всех секторах нашей литературы — и в пролетарском, и в крестьянском, и в попутническом. Все эти отрад-

ные явления, свидетельствуя о том, что литература наша в целом — явление здоровое, нужное, жизненное, — позволяют ей принимать самое активное участие в общественной жизни и играть в ней видную и с каждым годом все более заметную роль.

Это не значит, однако, что всё в ней обстоит благополучно. Именно по части серьезности в постановке литературно-общественных вопросов, по части бескорыстности литературных группировок в борьбе, по части сознания ими ответственности за дело организации литературной общественности, по части принципиальности тех боев, которые они ведут, — остается желать еще очень и очень многого.

Какие у нас есть литературные группировки? Это — ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей), Леф (Левый фронт литературы), конструктивисты, объединение рабоче-крестьянских писателей «Перевал», ВОКП (Всероссийское общество крестьянских писателей) и, наконец, «Кузница».

Все перечисленные нами организации имеют достаточно определенное лицо, активно проводят свою литературно-общественную линию. Тем самым они несут ответственность за ту обстановку, в которой протекает наше литературное развитие».

И дальше у того же Димитрия Горбова в статье «А. Фадеев» показаны нравы участников этих литературных и окололитературных сражений:

«Недостаток, или даже почти полное отсутствие у нас литературной культуры сказывается не только в том, что средний уровень нашей литературной продукции довольно низок. Понижение его в значительной мере должно быть отнесено за счет громадного расширения писательского состава. В то же время в связи с этим к литературе тянутся — и нередко с необычайной легкостью входят в нее — люди, которым следовало бы применить свои способности на другом поприще, но которые предпочитают «письменность» из тех соображений, что последняя, по их пред-

ставлениям, есть кратчайший путь к известности, положению, почету и прочему к сему прилагаемому.

Разумеется, никому не придет в голову отрицать наличие возрастающего интереса к художественной литературе в массах. И только слепой может не видеть в этом признака внутреннего роста этих масс. Но было бы наивно не замечать, что это массовое движение, как всякое другое, привлекает своих «примазавшихся», которые слетаются на поживу, как мухи на мед. И маниловщиной оказалась бы всякая попытка закрыть глаза на тот факт, что часто — слишком часто — на поверхность выплывают, успех снискивают, в голове идут как раз эти «примазавшиеся», а подлинное усвоение массами литературной культуры идет подспудно, ускользая от внимания тех «кому сие ведать надлежит». Здесь нет, разумеется, ничего положительного: хвостизм и в литературной области — явление мало желательное. Но уже вовсе плохо то, что на почве этого явления у нас развивается крайняя безответственность оценок. В трудное, сложное, чрезвычайно ответственное дело литературного строительства, которое может успешно осуществляться только на основе серьезной и вдумчивой творческой работы отдельных одаренных и до конца преданных своему делу писателей, в товарищеской атмосфере совместной работы, и при наличии прочных связей с общественностью в самом широком смысле слова, у нас врываются чрезвычайно неожиданные ноты, аккорды совершенно другой (и весьма немузыкальной) пьесы.

Бесцеремонная кружковщина, самая бесстыдная реклама (и самореклама), спекуляция на близости к массам, в нужный момент ловко подменяемая близостью «к верхам», игра лозунгами, пошлая, недобросовестная шумиха «деловитых» и смышленых людей, пожелавших именно литературу сделать ареной своей поучительной деятельности, — всё это шумно и нагло врывается в нашу литературную мастерскую, отрывает людей от работы, суетливо разбрасывает инструменты, толкается, горланит, громко поет «Верую» и «Отче наш», исподтишка распределяя зу-

ботычины, провозглашает божков и низвергает их за «несоответствие», господствует над литературой и «об одеждах ее мечет жребий». Правда, дело всякий раз кончается фарсом. Шкура медведя поделена, но медведь уходит в лес со своей шкурой. В последнюю минуту он оказывается неубитым.

Однако, фарс этот — далеко не смешон. По меньшей мере он трагикомичен. Ибо литература — все-таки не медведь. И спрашивается: с какой стати ей быть в лесу? Есть ли добро в тяге писателей по своим берлогам? Между тем, это факт, что «гегемония» над литературой, подобная вышеописанной, вызывает среди литераторов две противоположных тенденции: одна их часть — с расчетом или по малодушию — стремится вступить в кортеж «триумвираторов», чтобы разделить предвкушаемое торжество или хоть погреть руки у костра победителей. Другая — попросту разбредается по домам, отмахиваясь от вершителей литературного дня, как от надоедливой мухи. Беда, однако, в том, что подобный уход обрекает писателя на превращение в обывателя.

В конечном счете он грозит распадом литературы, как активной общественной силы».

Приведенные выше отрывки из статьи Димитрия Горбова ярко характеризуют то бурное кипение, которое в первые годы советской литературы поднимало на поверхность муть обывательского успеха и стремление к власти над писательской общественностью в кругах беспринципных карьеристов. Разумеется, подобная обстановка сбивала с толку многих, еще не окрепших писателей из молодежи.

«Перевал» создался в 1924 году, и состоял тогда исключительно из молодежи, пришедшей в литературу после октябрьского переворота. Многие перевальцы в недавнем своем прошлом были участниками гражданской войны. Они принесли с собой в литературу навыки боевого товарищества, романтику фронта и юношескую веру в идеи революции, в светлое будущее обновленного мира. Но при

столкновении с корыстолюбием и грызней литературной братии они поняли, что без достаточной культуры действовать в одиночку почти немыслимо, и объединились для того, чтобы коллективно противостать всем этим тенденциям подхалимства перед «хозяином», ухода от общественных интересов в обывательщину. Их не пленял дешевый успех чисто формалистических школ, вроде конструктивистов с их рационалистическим делячеством, или футуристов, которые восстали против охранителей культурных ценностей, иронически называя их «охранниками барского добра». Честная открытая борьба за литературную культуру, за чистоту литературных нравов, за искренность в искусстве и за овладение писательским мастерством была основой «Перевала» с первых его шагов.

Само собой понятно, что не одни перевальцы принесли в литературу романтику гражданской войны и свой революционный пыл. Подобная же молодежь входила и в другие литературные группировки. Однако, к «Перевалу» потянулись люди, которых отталкивало вульгаризаторство и упрощенчество теории и практики — прежде всего РАППа, и в меньшей степени те же тенденции у крестьянских писателей и в «Кузнице».

Но может показаться странным, каким образом молодые люди, сами еще далеко не овладевшие даже общей культурой, смогли разобраться в весьма сложной литературной обстановке и столь решительно наметить путь для своего дальнейшего развития?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что даже самое название группы «Перевал», несомненно, навеяно статьей о современной литературе А. К. Воронского «На перевале», напечатанной в шестой книге журнала «Красная новь» за 1923 год. И если о самом Воронском можно говорить как-то вне «Перевала», то о «Перевале» говорить без имени Воронского просто не мыслимо.

Почти всех будущих перевальцев поднял на литературную поверхность Александр Константинович Воронский. Сам он, после длительной партийной работы, появился в

Москве в 1920 году и организовал первый в советской литературе толстый журнал «Красная новь», который под его редакцией начал выходить с 1921 года, и уже с 1922 года он же редактирует и второй литературно-художественный журнал «Прожектор». Кроме того, Воронский работает в государственном издательстве, и затем — в созданном по его инициативе издательстве «Круг». В «Красной нови» печатаются преимущественно попутчики, но Воронский внимательно присматривается к литературной смене и охотно помещает стихи и рассказы наиболее одаренных авторов из молодежи.

И вот эти молодые писатели и поэты, которые видели в Воронском не только редактора, но и надежного кормчего ведущего литературный корабль через туманы и штормы новой эпохи, объединились в «Перевале».

К 1924 году, ко времени объединения молодых писателей в «Перевале», уже вышли из печати первые книги Воронского: «На стыке» и «Искусство и жизнь», в которых собраны его статьи по литературным вопросам. С первых же номеров «Красной нови» Воронский ведет борьбу за качество новой литературы и за чистоту нравов в писательской общественности, против «упростительства и вульгарщины» рапповских журналов: «Октябрь» и «На посту». В 1923 году появилась статья Воронского «О пролетарском искусстве». Эта статья с откровенным разъяснением «наивной и основанной на недоразумении» попытки некоторых критиков трактовать искусство писателей-пролетариев, как пролетарское искусство, противополагая его буржуазному искусству, вызвала бурю негодования в рапповском лагере.

В пятом номере журнала «На посту» за 1924 год «деловитый и смышленый» Вардин, спекулируя «на близости к верхам», выступает с весьма грозным призывом: «Надо, наконец, ликвидировать воронщину». Но ликвидировать в то время разрешалось только явных врагов революции, каковым Воронский ни с какой стороны не являлся,

а потому резолюция, принятая совещанием при отделе печати ЦК ВКПб от 10 мая 1924 года, была по существу на стороне Воронского, тем более, что участвовали в этом совещании Троцкий, Бухарин, Радек, Луначарский, то есть люди с более широким кругозором, нежели напостовец Вардин. Однако, ненависть к Воронскому в рапповских кругах не унималась, и полемика с ним принимала все более и более ожесточенный характер.

В первые годы существования «Перевала» Воронский смотрит на него как бы со стороны, и хотя иногда появляется на литературных собраниях группы, но ограничивается только критикой стихов и рассказов, которые читаются на таких вечерах, никак не вмешиваясь во внутренние организационные дела. Влияние его сказывается в «Перевале» лишь через отдельных, наиболее близко связанных с ним членов объединения, главным образом через Николая Зарудина. Воронский ищет произведений, на которые можно как-то опереться, и невольно таковыми оказываются романы и рассказы все тех же попутчиков. Его отношение к писаниям перевальцев — осторожное. В статье «О том, чего у нас нет», он говорит об упрощенном бытовизме прозаиков «Октября», о сумерках, которые переживают поэты, и там же вскользь упоминает, что «большинство перевальцев находятся еще в процессе самоопределения».

Первые два сборника «Перевал» вышли в 1924 году. Они изданы без вводных статей. Перевальцы никак не рекламировали свою группу. Общая наметка литературно-общественной платформы объединения появилась лишь в 1925 году, на последних страницах третьей книги альманаха. Тут правление «Перевала» сухим, протокольным языком сообщает о целях и задачах группы, каковые в основном сведены к обычным в подобных выступлениях трафаретам, вроде «ленинской точки зрения» или «оформления читательской массы рабочих и крестьян». Характерным для будущего «Перевала» здесь является лишь отношение к попутчикам и вполне определенное тяготение к былой культуре.

Каких-либо записей о первых годах «Перевала», сделанных самими участниками объединения, почти нет. Единственная попытка в этом роде была сделана поэтом Наседкиным, который в четвертой книге альманаха «Перевал» напечатал статью «К двухлетию «Перевала».

В инкубационном периоде своем литературная группа «Перевал», конечно, не могла дать сколько-нибудь значительных произведений в художественной прозе, прежде всего потому, что членами группы были слишком молодые писатели. Из первых альманахов «Перевала» можно назвать лишь самобытные рассказы Андрея Платонова, писателя, несомненно, сильного, который с первых шагов своих в литературе заговорил собственным голосом, затем — хаотичную и безудержную по языку и композиции и все же чрезвычайно яркую повесть Артема Веселого — «Реки огненные». Но оба эти автора оказались лишь временными спутниками перевальцев, и вскоре перешли на положение единоличников в литературном мире. Среди достижений «Перевала» в эти годы критика отмечала повести Бориса Губера — «Шарашкина контора» и «Новое и жеребцы». В них подкупает добротность литературной ткани, чувствуется писательская культура, однако в значительной степени они навеяны прозой И. А. Бунина, следовательно, не вполне самостоятельны. В это же время большие надежды подавал Михаил Барсуков, автор «Мавритании» и «Жестоких рассказов», но судьба этого молодого даровитого писателя трагична: год от году, по мере развития тяжелого душевного заболевания (шизофрения), способности его гасли, и даже в первых рассказах Барсукова уже можно почувствовать некоторое нарушение душевного равновесия, что, быть может, и придавало им особый колорит.

Поэзия, точнее — лирика ранних перевальцев, была значительно крепче прозы. Здесь большинство поэтов имело определенную школу. Михаил Голодный, Амир Саргиджан, Евсей Эркин, Ясный и Багрицкий — посещали Выс-

ший литературно-художественный институт, то есть по классу стиха были учениками Валерия Брюсова.

Крестьянское крыло «Перевала» в поэзии представляли Павел Дружинин, Наседкин и Акульшин. У них было меньшее знание формы, но зато ощущалась самобытность мужицкого мышления и свежесть словесного рисунка. Противоположение своей деревни внутренне-чужому городу и грусть по родительскому дому являлась в те годы постоянными мотивами этой лирики.

В апрельской книге журнала «Красная новь» за 1925 год критик А. Лежнев, тогда еще не перевалец, делится своими впечатлениями от первых альманахов «Перевала». Он говорит, что даже в «Кузнице» есть писатели с дореволюционным прошлым: Ляшко, Обрадович, Новиков-Прибой и Якубовский, а в «Перевале» исключительно молодежь. Отмечая талантливость и серьезное отношение к писательскому труду, он характеризует прозу «Перевала», как реалистически-бытовую:

«Особенно большое место уделяется деревне, новой, взбудораженной революцией деревне. Больших художественных обобщений в этой прозе, за исключением Артема Веселого, мы не увидим. Это не очень глубокая, но здоровая, ровно растущая литература. Ей, пожалуй, нехватает темперамента».

Переходя к поэтам «Перевала», Лежнев утверждает, что лирики глубже прозаиков, форма тоже у них выше, но именно они навлекли на «Перевал» больше всего упреков в идеологической невыдержанности. И дальше он говорит:

«Если попытаться одним словом формулировать то первое и основное впечатление, которое производят стихи перевальских поэтов — в отличие от многих и многих других — то этим словом будет искренность, до конца и безусловная. Перевальцы не декламируют, не показывают только парадные комнаты своего я, не заслоняются вывеской».

И, действительно, именно эта искренность делала перевальцев особенно уязвимыми перед судом озлобленной и пристрастной рапповской критики.

«Перевал» не объединял писателей общностью формальных исканий, он никогда не выдвигал и не ставил для своих членов каких-либо формальных канонов. Больше того, перевальцы считали, что формальные устремления не могут и не должны быть целью художника.

Основной позицией «Перевала» в это время был протест против казенщины и упрощенческого подхода к задачам литературы. Перевальцы проповедывали органичность творчества, слияние мировоззрения с мироощущением, необходимость в искусстве быть до конца искренним. Они восставали против подхалимства и прислужничества. И таким образом, с первых же своих выступлений, волей-неволей были втянуты в литературную борьбу, так как принципы, смело выдвинутые участниками объединения, вызвали озлобление и в рапповских кругах, и у таких формалистических группировок, как конструктивисты и лефовцы. На литературные распри в первый период своего существования «Перевал» расходовал слишком много энергии, что, несомненно, отражалось на работе и замедляло творческий рост молодых писателей.

До 1928 года в организационных делах группы активную роль играли люди, которых весьма мало интересовали перевальские идеи. Они вошли в «Перевал» с надеждой создать из него грандиозное по количеству участников всесоюзное бюрократическое объединение, рассчитывая, что массовость эта сделает «Перевал» более солидным и авторитетным не только в писательской общественности, но вызовет также должное внимание со стороны ЦК партии. Иначе говоря, они пытались конкурировать с РАППом его же методами. Одним из наиболее яростных сторонников такого укрупнения был писатель Евдокимов и его верный помощник поэт Пестюхин.

Вспоминая об этом времени, А. Лежнев в статье, ко-

торая предпослана седьмому перевальскому альманаху, писал:

«Перевал» был первоначально организован, как группа молодежи, с установкой скорее на массовость, чем на писательскую квалификацию. В этом отношении он разделял судьбу большинства литературных организаций того времени. Впоследствии широкие рамки его были еще раздвинуты: в него влилась (в 1926 году) большая волна писателей — на этот раз уже не молодежи, но средних и даже старших (по возрасту и стажу) кадров. Тем самым, конечно, изменилось положение группы: из организации литературного молодняка она стала просто литературной организацией. Но характер ее в основном сохранился: попрежнему в ней мирно сосуществовали различные творческие тенденции и принципы. Это казалось естественным, в этом никто не видел противоречия. Острая литературная борьба (во вне) покрывала творческие расхождения (внутри). Вопросы творчества отодвигались ею на второй план».

Однако, разбухание «Перевала» принесло ему не одних Евдокимовых и Пестюхиных. Приведенный ниже список членов объединения, состоящий из 56 имен, включает и таких писателей, как Димитрий Горбов, Иван Катаев и Абрам Лежнев, которые в дальнейшем несомненно помогли «Перевалу» окончательно самоопределиться, и среди немногих мужественно проделали весь путь восхождения на перевал, вплоть до окончательной гибели не только самой организации, но и почти всех основных ее участников.

Список членов Московского отдела «Перевала»

М. Пришвин
С. Малашкин
Б. Губер
Н. Зарудин
И. Евдокимов
Л. Завадовский
М. Барсуков
Н. Дементьев
Э. Багрицкий
Д. Горбов
Н. Огнев
П. Ширяев
А. Лежнев
А. Ясный
М. Сосновин
П. Дружинин
В. Лазарев
М. Рудерман
Н. Замошкин
Н. Смирнов
Д. Бродский

М. Голодный
М. Яхонтова
Е. Сергеева
В. Наседкин
И. Касаткин
А. Перегудов
Д. Алтаузен
Е. Вихрев
Е. Эркин
В. Ветров
М. Скуратов
А. Дьяконов
Г. Игумнова
Р. Акульшин
А. Саргиджан
А. Хованская
В. Кудашев
Л. Лазарев
Л. Катанский
Д. Фибих
А. Платонов
Д. Кедрин
С. Беркович
Г. Мунблит
А. Караваева
В. Дынник
А. Малышкин
С. Пакентрейгер
И. Кубиков
А. Пришелец
Е. Строгова
И. Катаев
Т. Корнейчик
Д. Семеновский
И. Тришин

(«Красная новь», № 2, февраль, 1927 г.)

Итак, после длительного и внимательного присматривания к «Перевалу», в его ряды вошли наиболее квалифицированные и сильные в те годы критики — Димитрий Горбов и Абрам Лежнев. А потому первая развернутая декларация «Перевала», не в пример ранним выступлениям молодой группы, явилась уже глубоко продуманным, ясным и четким изложением взглядов основного ядра объединения на искусство и на писательскую общественность. Напечатана она тоже в февральской книге журнала «Красная новь» за 1927 год.

«Перевал» формулирует свои художественные взгляды в следующих положениях:

1. Культурная революция, в полосу которой СССР вступил, настоятельно требует выражения в художественном творчестве сил новых классов — рабочих и крестьян.

2. Художественная литература СССР призвана выполнять социальный заказ, данный ей Октябрьской революцией, рабочим классом и коммунистической партией. Она должна воздействовать на угнетенные классы всего мира, организуя и революционизируя их в целях социального раскрепощения.

3. Поставленные задачи могут быть осуществлены только при наличии высоко развитого художественного слова, формы и стиля. Великое содержание требует выражения в наиболее совершенных и многообразных формах. Отсюда вытекает необходимость сохранения преемственной связи с художественным мастерством русской и мировой классической литературы.

4. «Перевал» отрицает всякое примитивное направленчество, низводящее художественное творчество к бескрылому бытовизму, принижающее эмоциональное воздействие художественного образа.

5. «Перевал» признает за писателем право выбора темы по своему усмотрению, при условии, что в творчестве своем он органически будет связан с современностью и социальным заказом нашей эпохи.

6. «Перевал» бережно и внимательно относится ко всякой художественной индивидуальности, стремясь воздействовать на нее, поддерживая и направляя колеблющихся.

7. В то же время «Перевал» отметает от себя все группировки, застрявшие в дореволюционном периоде литературы, чуждые современности по своей художественной сущности, и все новые литературные образования, застывшие в мертвом стабилизационном состоянии, которые противоречат непрестанно развивающейся художественно-революционной мысли.

8. Для проведения намеченной декларацией цели, необходимо создать центр, вокруг которого на основе резолюции ЦК ВКПб «О политике партии в области художественной литературы» — объединились бы, сохраняя творчески самостоятельные черты, все жизнедеятельные писатели СССР.

9. Веря в возможность создания такого центра, мы призываем всех писателей, разделяющих наши взгляды, в дальнейшей творческой работе объединяться вокруг «Перевала».

Центральный Московский отдел «Перевала».

В этой декларации уже нет ни «оформления масс», ни «ленинской точки зрения», однако невольно бросается в глаза постоянный штампованный зачин от октябрьской революции, и, быть может, еще назойливее, не только в данной декларации, но буквально во всех перевальских выступлениях, вплоть до отдельных рецензий, на разные лады акцентируется один и тот же мотив о непосредственном участии большинства членов группы в боях за революцию. Как раз перевальцам, в силу их действительного внутреннего сращения с идеями революции, казалось бы, необязательно и просто не нужно было крикливо подчеркивать этот момент. Подобное рекламирование более необходимо было для лефовцев и рапповцев, с их показной прислужнической и бюрократической революционностью, которая нуждалась в подобных мандатах с приложением печати.

Откуда же у «Перевала», выражаясь его же терминологией, это «формалистическое бряцанье»?

Чисто внешним ответом на этот вопрос может служить простое разъяснение, что в эти годы упоминание о «величии октябрьского переворота» являлось не только узаконенной, но и обязательной для всех казенной формой. Впоследствии форма «завоеваний октября» уступила место реверансам в сторону «гениальности» Сталина.

Но пояснение это относится лишь к зачинам и отчасти к концовкам любых выступлений. Что же касается непрестанного упоминания о собственной своей связи с революцией, то здесь невольно ощущается либо угодливая заявка о своих верноподданнических чувствах — что абсолютно не вяжется со всей общественно-литературной позицией «Перевала» — либо настойчивое желание убедить самих себя и поверить в то, что коммунистическая партия свято бережет чистоту и непорочность подлинных идей революции и что во всех неполадках и нарастающих противоречиях виновата не система управления, а только пережитки капитализма в сознании отдельных личностей. Иначе говоря, у перевальцев в данном случае это скорее по-

пытка убедить себя, что их взгляды на искусство и писательскую общественность полностью совпадают со взглядами ЦК партии.

Трагедия «Перевала», как честной и добросовестной литературной группы, заключалась в том, что, по мере внутреннего роста участников объединения, в стране укреплялась чудовищная диктатура с ее методами террора и безграничного контроля над общественным сознанием.

Не прошло и двух лет после опубликования декларации, как все основные положения «Перевала» оказались несостоятельными.

«Прямота и непосредственность выявления своих общественных взглядов и чувств» стали выглядеть в лучшем случае неуместными.

«Связывать свою работу с лучшими достижениями художественной мысли человечества» в советских условиях тоже было мудрено.

Невозможным оказалось и «стоять за революционную совесть художника, не позволяющую скрывать своего внутреннего мира», то есть вводить в хвастливую и самодовольную советскую литературу покаянные мотивы, столь характерные для русских классических писателей.

И, наконец, совсем не ко двору пришелся перевальский гуманизм, заключенный в шестом параграфе декларации, где говорилось о внимательном отношении ко всякой художественной индивидуальности и о стремлении «воздействовать на нее, поддерживая и направляя колеблющихся». Подобный гуманизм никогда не поощрялся большевиками, а впоследствии, ко времени сталинских процессов над всеми инакомыслящими, попросту карался законом, как содействие врагам советского строя.

Однако, искренность, начертанная на знамени «Перевала», не являлась случайной, а потому, несмотря на осторожность, которая в достаточной степени присуща всем подсоветским гражданам, художники «Перевала» продолжали работать не по казенным, а по собственным творческим установкам. И в конечном счете основное ядро пере-

вальцев, против собственного желания, и не сразу осознав это, оказалось в невольной оппозиции не только к РАППу, но и к генеральной линии партии.

Вскоре после опубликования декларации в том же 1927 году в «Перевал» вошли еще три человека: вполне сложившийся писатель Петр Слетов — автор романа — «Заштатная республика», поэт Николай Тарусский и автор этих строк. Это было последнее пополнение перевальских рядов. Дальше начинается, в начале как бы случайный, но затем всё усиливающийся отход от «Перевала». Первым толчком для этого послужило известие о том, что А. К. Воронский, который с самого начала примкнул к троцкистской оппозиции и вел решительную фракционную работу, — исключен из партии и снят с руководства в журнале «Красная новь». (Последний номер подписан Воронским в октябре 1927 года). И таким образом этот журнал перешел к «ВАПП»у.

Прежде всего стали отходить молодые литераторы, которым было ясно, что при новой политической ситуации, будучи перевальцем, невозможно сделать карьеру в советской литературе. Расставались с объединением и такие писатели, у которых уже были определенные завоевания и достаточно прочное положение, вроде Анны Караваевой, Николая Огнева, Ивана Евдокимова. Они испугались, что четко обозначавшиеся острые углы перевальской платформы смогут повредить их дальнейшему успеху. Кое-кого из колеблющихся переманивали другие литературные организации, преимущественно тот же ВАПП. Под его крыло снова вернулись поэты: Дементьев, Ясный, Голодный и Алтаузен.

Выходили из «Перевала» по-разному. Одни скромно и даже смиренно объясняли, что иначе поступить не могут, выставляя ряд чисто внешних причин, иногда честно признаваясь в своих страхах и опасениях, не только за себя, но и за судьбу всей группы. Многие из ушедших сохранили с перевальцами добрые товарищеские отношения. Но были и другие настроения — вместо разговора по-душам, в печати появлялось официальное письмо, в котором вчерашний

соратник изо всех сил поливал грязью и «Перевал», и Воронского.

Следовательно, сделать из «Перевала» всесоюзную организацию не удалось. К 1930 году из широкого литературного объединения «Перевал» обращается в небольшое содружество писателей, связанных между собой общностью художественных исканий и попыткой осмыслить самих себя, как творческое единство. «Перевал» попрежнему свободен от формального канона. В выборе художественных средств участники содружества не ставят никаких ограничений. Их роднит общность взглядов на философию искусства, единство эстетического мировоззрения.

К этому времени «Перевал» исповедует свои взгляды и убеждения уже не в декларациях, а в своем творчестве.

Начиная с седьмой книги, перевальские альманахи, подчеркивая тесное творческое единство авторов, озаглавлены «Ровесники», с подзаголовком «Содружество писателей революции «Перевал».

До постановления ЦК партии от 23 апреля 1932 года о ликвидации всех литературных группировок, «Ровесники» успели появиться всего два раза — в 1930 году вышла седьмая книга, и последняя — восьмая — только в 1932 г., перед самым постановлением. По сравнению с первыми шестью номерами альманаха эти книги являются вполне зрелыми. В них перевальцы окончательно освободились от скучного бытописательства. Здесь даны лучшие перевальские вещи: рассказ «Молоко» Ивана Катаева, повесть Петра Слетова «Мастерство», рассказ Николая Зарудина «Древность» и его же роман «Тридцать ночей на винограднике».

Седьмая книга «Ровесники» открывается статьей А. Лежнева — «Вместо пролога».

Окидывая взглядом пройденный перевальцами путь, Лежнев пишет:

«Время показало, что мы были правы. Принципы «Перевала» восприняты теми, которые всего ожесточеннее с ними боролись. Они перестали уже быть принципами «Перевала», его специфическим достоянием. Они выходят уже

под другой фирмой, с чужим клеймом. Многие серьезно полагают, что мысль о необходимости психологизма, что идея о «живом человеке», об основном герое нашей переходной к социализму эпохи (взятом не плакатно, а во всей его сложности), как о центральном образе современной литературы, или тезис о борьбе со схемой и бытовизмом во имя большего реалистического искусства, — что все эти положения выдвинуты и провозглашены ВАПП'ом. «Перевал», разумеется, не заявлял патента на свои идеи. Он не противопоставляет себя, как замкнутая секта, революционной литературе в целом, у него нет таких интересов, которые бы расходились с ее интересами. И потому он ничего не имеет против того, чтобы его идеи повторялись другими, хотя бы и с запозданием на два года. Но он только не может отвечать за то, что «новый человек» под чужим пером превращается в «гармонического» человека и подменяется колбасником Бабичевым или падшим ангелом из леоновского «Вора». Или что идея литературной преемственности, идея связи с великими литературными эпохами прошлого вырождается в школьную идейку «учебы у классиков», учебы, понимаемой так, что у классиков надо списывать целые страницы и потом под списанным ставить свою фамилию: всегда ведь найдется какой-нибудь критик, который объявит это «преодолением буржуазного наследства». Такую ответственность «Перевал» с себя снимает. Он отвечает за свои мысли, но не за их опошление.

«Перевалу» незачем отказываться от своего прошлого. Свои идеи об ограниченности творчества, о слиянности миросозерцания с мироощущением, о необходимости быть в искусстве до конца искренним, о борьбе с подхалимством, приспособленчеством и казенщиной он утверждает и теперь, как утверждал их прежде. Он полагает, что всё это — минимальные условия, без которых не может возникнуть и развиваться большая литература. Многим требования искренности кажутся каким-то смешным романтическим пережитком, пережитком той эпохи, когда носили крылатки, вздыхали о народе, зачитывались Гаршиным, а слово «чест-

ный» считалось достаточной общественной квалификацией. Эти мудрецы ставят на диспутах «каверзные» вопросы: что лучше — когда писатель пишет явно контрреволюционное произведение, или когда он, хотя бы кривя душой и фальшивя, дает внешне советскую вещь? И тут же сами отвечают: пусть лжет и притворяется, но пишет в нужном духе. Они предлагают говорить не об искренности, а о технической честности. ... Писатель, приспосабливаясь, не обязательно халтурит. Общественно и художественно фальшивое произведение может быть технически сделано очень добросовестно. В этом стремлении укрыться под сень технической честности чувствуется какой-то страх: не лезьте ко мне в душу! Какое вам дело до того, что я думаю! Но никто не лезет в душу, сама «душа» «лезет» в произведение. «Искренность — категория, известная только русским критикам», — заявил в споре один из «левых» поэтов, «только у нас возможно, обсуждая поэтическую продукцию, говорить о таком внелитературном факторе». О, дорогие отечественные бизнесмены! Эта категория известна всякой честной и живой литературе. Если бы искренность никак не отражалась в художественном произведении, то о ней, действительно, не стоило бы говорить. Но — к счастью или к сожалению — это не так. Искусство требует всего художника, а не только его рук. Оно жестоко карает за фальшь и благоразумную осторожность. То, что продиктовано посторонними для писателя мотивами, — остается в стороне от литературы. Проблема искренности — не моральная, а художественная проблема.»

Дальше Лежнев утверждает, что «Перевал» сознательно идет на стягивание рядов, на освобождение от «балласта», и что в «Перевале» происходит процесс превращения литературной группы в литературную школу.

Первой вещью вслед за «прологом», в седьмой книге «Ровесников», помещен рассказ Ивана Катаева «Молоко». Рассказ написан в 1929 году, а сборник вышел из печати только ко времени раскулачивания деревни, к началу «сплошной коллективизации», в 1930 году.

Под лозунгом раскулачивания шло беспощадное уничтожение всех жизнеспособных элементов русского крестьянства. Подлежала ликвидации вся вековая крестьянская культура, весь быт, уклад, нравы и самая психология русского мужика. «Кулаки» изымались по разверстке, данной на весь район. Даже в чисто бедняцких деревнях председатель сельского совета обязан был выделить требуемое центром количество так называемых кулаков. И принцип отбора тут был по существу тот же, что и в зажиточных селах — выбрать из десятка изб ту, которая почище, где, благодаря многосемейности и трудолюбию, хозяйство лучше, чем у соседей. Бесчисленные эшелоны поставляли этих обездоленных крестьян с их женами, стариками и детьми в концлагери, обрекая их на поголовное вымирание. Ни о какой жалости и сочувствии к ним не могло быть речи. И как раз в эти дни бесчеловечной расправы над деревней, появляется рассказ И. Катаева «Молоко».

Образ культурного хуторянина, прекрасного хозяина и чистого, большого человека, баптиста Михаила Никифоровича Нилова, зарисован Катаевым настолько сильно и правдиво, что попытка во второй половине рассказа набросить некоторую смутную тень подозрений, будто бы в делах кооперации Нилов не вполне чистоплотен, — воспринимается лишь как обычная деревенская сплетня, основанная на зависти односельчан.

Ко времени выхода в свет рассказа Ивана Катаева сотни и тысячи таких Ниловых, оставив свои разоренные хутора, обреченные на медленное вымирание в далеких концлагерях, шагали по пронизанным ветрами сибирским большакам.

Нужно хорошо знать советскую действительность, и еще лучше — нравы советской литературной общественности, для того, чтобы оценить смелость Ивана Катаева, выступившего с подобным рассказом в самый разгар раскулачивания и коллективизации, когда буквально вся большевистская пресса была мобилизована на борьбу с родовыми устоями русской деревни.

Эта смелость молодого писателя, да к тому же еще и члена партии, вызвала вопли негодования всей правоверной критики. Испугались «Молока» и явные друзья «Перевала». Даже Лежнев в своем предисловии к этому альманаху, повидимому, не решается опереться на этот рассказ, и восторженно отзывается о другой вещи И. Катаева — «Сердце», которая к этому времени вышла отдельной книжкой.

Одновременно с седьмым альманахом «Ровесники», который выпущен издательством ЗИФ в 1930 году, вышла из печати антология «Перевальцы», Москва, издательство «Федерация», 1930 г.

Антология была подготовлена уже в 1928 году, но вышла одновременно с «Ровесниками». Это — довольно объемистая книга — 387 стр. В основном она заполнена рассказами, из которых наиболее удачны Малышкина — «Поезд на юг», Бориса Губера — «Известная Шурка Шапкина», М. Пришвина «Охота за счастьем», Завадовского «Железный круг». Здесь же даны отрывки из повести Ив. Катаева «Сердце» и отрывки из книги Воронского «За живой и мертвой водой».

Стихотворный отдел антологии представляет лирику «Перевала». По нескольку маленьких стихотворений дали Димитрий Семеновский, Николай Тарусский, Глеб Глинка, Ник. Зарудин, Павел Дружинин и др.

В эти же годы (1928-1930) вышли лучшие книги художников и теоретиков «Перевала». В их числе «Искусство видеть мир» Воронского и Димитрия Горбова — «Поиски Галатеи».

С 1930 года начинается новый период советской литературной общественности. В это время ведется подготовка к окончательному закрепощению писателей. Идут «проработки» отдельных литературных направлений, неугодных и неудобных для дальнейших мероприятий генеральной линии партии. Провозглашается лозунг самокритики с признанием ошибок, с отказом от прежних установок и с отрече-

нием от своих наставников и руководителей, впавших в ересь левых и правых уклонов.

И само собой разумеется, что активистам новой литературной общественности было необходимо во что бы то ни стало поставить на колени «Перевал», созданный «разоблаченным», но не раскаявшимся Воронским. Новые дискуссии резко разнились от прежних, хотя и злобных, но всё же в основном только литературных нападок на Воронского и потом — на «Перевал», в 1923-1926 г.г. Тогда люди, подобные Вардину и Авербаху, оказались не в силах «ликвидировать воронщину», прежде всего потому, что, кроме свободной полемики, у них не было других возможностей борьбы.

Но теперь термин «воронщина» включал в себя политическое понятие «вражеской вылазки».

Дискуссии о «Перевале» в Коммунистической академии, в Доме печати и в других литературных организациях — ставились по директиве ЦК Партии. По существу, вся эта травля уже не имела прямого отношения к литературным позициям содружества «Перевал». Речь шла об отношении группы к литературно-общественным и политическим взглядам самого Воронского, что и объединялось этим общим термином «воронщина».

Для спасения не только группы, но и для личной безопасности каждого из ее участников, требовалось — раскаяться в несуществующих ошибках и предать своего учителя. Но к чести «Перевала» надо сказать, что основное ядро его приняло на себя все удары, но не пошло на компромисс с собственной совестью. Более слабые продолжали уходить из содружества, и ко времени ликвидации литературных группировок, в «Перевале» осталось всего десять человек, которые до последнего момента продолжали мужественно противопоставлять себя многотысячной организации ВАППа.

В разгроме «Перевала» в первую очередь приняли самое деятельное участие всё те же вапповцы, которые к этому времени уже провели у себя соответствующую чистку,

и теперь, вооруженные директивами отдела печати при ЦК, ринулись сводить свои старые счеты с перевальцами. На своей конференции ВАПП вынесла резолюцию: «Продолжать решительную борьбу с остатками воронщины, переверзевщины и других псевдомарксистских влияний на пролетарскую литературу».

К концу февраля 1930 года вышли из печати одновременно два перевальских сборника — «Ровесник» и антология, а 8 марта того же года газета «Комсомольская правда» (№ 56-1444) посвятила целую полосу совершенно дикой по своим приемам и тону критике этих двух книг.

Шапка дана через всю полосу. Специальное клише гласит: «Непогребенные мертвецы».

Две левые колонки посвящены кратким, произвольно выдернутым из общего текста цитатам перевальских произведений; озаглавлен этот раздел: «На черную доску», с пояснением от редакции:

«В эпоху величайшей исторической ломки, в эпоху социалистической реконструкции и ликвидации на основе коллективизации кулачества как класса, в период обостренной классовой борьбы, — цветет и еще пользуется общественной поливкой махровая аполитичность обывательской литературы. Политические ренегаты, любители бабушкиных сказок, бледные рыцари, тоскующие по старине, по дядиным мезонинам и тетиным наколкам, певцы медвежьих берлог умирающих вальдшнепов, дышащие помещичьим пафосом охоты, декларирующие внеклассовую искренность и гуманизм, составляют ядро и основу группы «Перевал», которая осмеливается называть себя революционной.

Последние сборники — антология «Перевальцы» и «Ровесники» — свидетельствуют о полном идейном и художественном банкротстве группы. «Левые» фразы и правые дела нашли свое мирное сочетание в группе «Перевал». Марксистская критика должна решительно ударить по «Перевалу».

Сама статья, подписанная неким М. Гребенщиковым, длинна и в достаточной степени вульгарна, но мы позволим

себе привести из нее некоторые цитаты, так как вся дальнейшая «проработка» «Перевала» была в сущности лишь уточнением всё тех же выдвинутых «Комсомольской правдой» обвинений:

НЕПОГРЕБЕННЫЕ МЕРТВЕЦЫ

(о «Перевале» и перевальцах)

«Недостаточно строить хороший дом, — надо еще знать, для кого строишь, а иначе не будет любви к самому делу». Под этим девизом идет сейчас лучшая часть советской интеллигенции, принимая социалистическое строительство, органически включаясь в борьбу за социализм. Под этим же девизом проходит эволюция творчества и многих попутчиков.

Ряды попутчиков не представляют собой единства. Попутчики разбрелись. Часть попутчиков отошла в сторону от революции (Пильняк, Замятин, частично Вс. Иванов и др.)... другая часть попутчиков (Огнев, Маяковский и др.) усиленно ищет путей органического слияния с революцией.

Ничего общего с этим не имеют перевальцы. «Перевал» остался в стороне от тех сдвигов, которые сейчас происходят среди интеллигенции вообще и писательской массы в частности. Не подлежит никакому сомнению, что «Перевал», содружество писателей революции, организованное в 1924 г. в Москве, при журнале «Красная новь», в настоящий момент — одна из самых реакционных писательских организаций...

... Чистым пейзажам отводят перевальцы и в стихах, и в прозе почетное место, не говоря уже о том, что десятки вещей — «сплошные пейзажи».

Сухие опавшие листья
По склону оврага шуршат.
Как шкура огромная лисья,
Осеннего леса наряд.

Поникшие гроздья рябины
И ветра пронзительный свист
Качнется верхушка осины,
Закружится сорванный лист...

... Голые пейзажи, мирная тематика, эстетизация прошлого — для «Перевала» вполне закономерны потому, что творчеством Глинки «Перевал» непосредственно смыкается с дворянской литературой, как творчеством Зарудина, Дружинина — с творчеством Есенина, Клычкова, Клюева — певцами кулацкой деревни, как творчеством Смирнова, Тарусского — с буржуазной литературой. Десятки стихов о бабушках, стужах, уездных вечерах, жизни поэта, поэмы о древности, в которой «образ птицы проходит... — пишет Лежнев — не просто как символ, но и как видение мира, древнего, лесного, первобытного мира», десятки рассказов о бабе-яге... и т. д.

О, неистовый, необыкновенно проницательный и «ортодоксальный» теоретик тов. Воронский! Наконец, вы имеете право самодовольно любоваться «революционным искусством, намечая пути развития которого вы призывали художников «отгонять рассудок». «Отвлеченное — смерть для искусства, — писали вы. — Мир художника — мир телесный. Он — весь в запахах, в цветах, в красках, в осязаемом, в звуках. И чем больше удается художнику отдаться силе своих непосредственных восприятий, чем меньше он вносит поправок от общих, абстрактных рассудочных категорий, тем конкретнее и самобытней он изображает этот мир». (Воронский, «Искусство видеть мир», стр. 95).

Как учит Воронский, боясь осмыслить жизнь, поэт Глинка создает образ художника-поэта, к эмоциям которого не «примешиваются деловые, практические соображения» и «расчетливость — худший враг прекрасного».

ПОЭТ

Мечталось в детстве сладко, робко
Перо царапало листки,

И в сердце — маленькой коробке —
Стихов хранились лепестки.

А годы шли, и сердце стало
Расти всё больше. Скоро в нем
Любовью первой трепетала
Тетрадь, разбухшая цветком.

Жилось легко, жилось беспечно,
И новые пришли мечты.
Копились в ящике сердечном
Стихов бумажные цветы.

И незаметно как-то старость
Взглянула зеркалом. Потом
Пришла осенняя усталость,
Дрожали руки над листом.

И вот — с седыми волосами
Я старый, сгорбленный чудак.
А сердце — как большой, стихами
Набитый доверху, чердак.

На что способен этот «лепестковый перл», созданный по рецепту Воронского? Он способен только сказать сгорающим энтузиазмом миллионам строителей, ударными темпами строящим новые заводы, новую жизнь:

Уйдите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас?

Образ поэта, нарисованный Глинкой, вовсе не случаен для перевальцев, и ничуть не противоречит теории искусства Воронского. Наоборот, для перевальцев он — органический образ, как органическим он является и для теории искусства Воронского, которая выражает взгляды антисоветской стихии на литературу. Не случайно Воронский утверждает, что «истинное искусство начинается там, где явления и люди живут своей независимой от художника жизнью, являются прекрасными безотносительно к тому, как к ним он относится».

Для Воронского искусство — это стихия, регулировать которую бессмысленно, ибо это вредная работа. Художник — не рационалист, не практик: он — певец, поющий только тогда, когда на него нисходит «творческое осенение» (Воронский, «Искусство видеть мир», стр. 88).

Необходим крепкий большевистский удар по реакционнейшей литературной группировке, которая, несмотря ни на что, остается верной самой себе. «Мы не раскаиваемся в том, что мы делали, — пишет Лежнев, — и нам нечего брать назад»...

Перевальцы, возмущенные этой статьей, немедленно отправили в «Литературную газету» письмо, которое называлось «Против клеветы». Оно появилось в номере 56 от 10 марта 1930 года. В письме говорилось:

«... Вся статья построена на совершенно голословных, глубоко клеветнических выпадах, имеющих целью политически дискредитировать «Перевал» как организацию».

Дальше письмо сообщало, что «Перевал» оставляет за собой право в ближайшее время дать подробный разбор этого пасквиля, который не нуждался бы в ответе, если бы не был напечатан в такой газете, как «Комсомольская правда», где редакция сочла нужным украсить его возмутительными заголовками, и поместить свое разъяснение в духе самой статьи. Заканчивалось это письмо так:

«До опубликования этого разбора «Перевал» выражает свой протест перед лицом советской общественности, считая, что приемы подобной «критики» затрагивают не только тех, в кого они метят, но и всю нашу литературную общественность в целом».

Письмо подписано членами совета и актива «Перевала»: И. Катаев, Б. Губер, А. Новиков, А. Малышкин, Н. Зарудин, П. Павленко, Д. Горбов, П. Слетов, Е. Вихрев, А. Лежнев, Н. Смирнов, С. Пакентрейгер, Г. Глинка, Н. Замошкин, В. Кудашев.

17 марта 1930 года в «Литературной газете» появился яркий и остроумный ответ «Перевала» на статью М. Гре-

бенщикова. Озаглавлен он: «И др., и пр., и т. д.». Перевальцы сумели постоять за себя. Но они, повидимому, не сразу поняли, что дело совсем не в Гребенщикове и даже не в «Комсомольской правде», что статья «Непогребенные мертвецы» предварительно согласована с Отделом печати при ЦК ВКП(б) и является лишь зачином для серьезной и окончательной «проработки» школы Воронского.

Редакция «Литературной газеты», хотя и поместила ответ перевальцев, но на той же полосе от себя сурово осуждает «Перевал» за то, что, вместо пересмотра своих позиций, он ограничился выпадами «тоже на весьма низком уровне», и даже не попытался разобраться в ряде серьезных вопросов, поднятых «тов. Гребенщиковым». Кончается редакционное нравоучение угрожающим предложением: «Перевалу» необходимо пересмотреть свои позиции».

Вслед за выступлением «Комсомольской правды», одна за другой начинают появляться в советской периодике статьи о «реакционной» группе Воронского.

В Доме печати была организована первая дискуссия о «Перевале». Здесь собрались все ВАППовские критики и журналисты. Перевальцы тоже были приглашены в своем полном составе, но пришло не более десяти человек. Это в основном те же имена, которые подписали письмо «Против клеветы». Но даже из них отпали наиболее осторожные: Павленко, Кудашев, Замошкин, Новиков и Малышкин.

Горбов и Лежнев блестяще владели искусством устной полемики. Зарудин, Губер, Слетов и Катаев тоже умели не только писать, но и говорить. Дискуссия велась в самом ожесточенном тоне. То и дело подавались реплики с мест, которые нисколько не мешали Лежневу и Горбову: оба они моментально и всегда остроумно отвечали на выкрики с мест, как бы отбрасывая летящий в их сторону мяч, и, как ни в чем не бывало, продолжали свое выступление. Ортодоксальные позиции вапповцев держались преимущественно на казенных штампах, готовых понятиях и представлениях. Реплики с мест, на каковые перевальцы тоже не скупились, мешали говорить Ермилову, Новичу и неко-

торым другим противникам «Перевала». Председатель собрания сделал предупреждение Горбову и Лежневу, что в случае дальнейших реплик с мест он лишит их права участия в дискуссии. Горбов заявил, что прекратит свои реплики только в том случае, если вапповцы тоже будут воздерживаться. Страсти, однако, разгорались, и крики с мест шли с обеих сторон. Тогда председатель поставил на голосование вопрос о лишении Горбова и Лежнева права голоса. Но аудитория невольно была покорена остроумием перевальских теоретиков, и явное большинство голосовало против предложения президиума. Однако, подсчет рук производили представители ВАППа, и председатель, к общему изумлению, заявил, что большинством голосов его предложение принято. Тогда все перевальцы немедленно поднялись и покинули собрание.

Конечно, уход этот был расценен в газетах, как умышленное желание перевальцев сорвать дискуссию.

Резолюция, принятая Домом печати, осуждает «беспринципное» поведение перевальцев; заканчивается она повторением того же требования: «Перевал» должен в корне пересмотреть свои позиции».

В ответ на эти настойчивые требования, теперь уже окончательно понимая, что исходят они далеко не от одного Дома печати, «Перевал» был вынужден дать развернутую статью о своих взглядах и убеждениях. Опубликована она в двух номерах «Литературной газеты» — № 15 от 14 апреля и № 16 от 21 апреля 1930 г. Называется статья — «Перевал» и искусство наших дней». Тут перевальцы более осторожно разъясняют всё те же свои основные установки, о которых говорит их последняя декларация. Лишь кое-где слегка сглажены острые углы, но даже и тут перевальцы продолжали не только защищаться, но и нападать.

Поборники казенной идеологии требовали и ожидали от «Перевала» совсем другой «самокритики», с признанием ошибок и прежде всего с полным отречением от Воронского.

В том же № 16 «Литературной газеты» от 21 апреля, где напечатаны высказывания перевальцев, редакция от себя помещает статью: «Конец «Перевала». Приведем из нее лишь небольшие отрывки:

«Жрецы «Перевала» сочли «излишним отвечать на полемические неистовства». На серьезное политическое обвинение, на конкретную критику творчества — «Перевал» отвечает насквозь лживой, насквозь фальшивой, отвратительно-беспринципной декларацией»...

... «Перевал» клевещет на советское искусство, утверждая, что оно переживает кризис. Оказывается, что у нас иссякает лирика. Это пишется тогда, когда у нас есть поэты огромной лирической силы, когда у нас растет действенная и способствующая изменению мира поэзия (Безыменский и др.)».

... «Мы начали с того, что «Перевал» должен дать нашей общественности ряд дополнительных объяснений. Но, пожалуй, можно и не давать. Даже этот краткий и неполный перечень положений перевальской декларации наглядно свидетельствует о полном загнивании содружества, о полной неспособности к самокритике и исправлению ошибок, ставит под сомнение вопрос о целесообразности дальнейшего существования «Перевала».

Заключительным аккордом этого обрушившегося на «Перевал» урагана была проведенная в Коммунистической академии дискуссия, где последний, он же первый по степени своей сопротивляемости, перевальский десяток вел длительный и упорный словесный бой с представителями секции литературы, искусства и языка. Но разница с Домом печати была здесь почти неуловима, тем более, что основные действующие лица были в своем большинстве одни и те же.

В «Литературной газете» № 20(57) от 19 мая 1930 г. опубликованы выводы этой дискуссии. Они почти полностью повторяют положения «Комсомольской правды». Здесь те же искажения перевальских мыслей, те же демагогические приемы.

В заключительной части резолюции говорится о том, что отдельные члены содружества не могут быть поставлены в один ряд с идеологическими руководителями школы. Таким образом, сделана попытка расколоть «Перевал». Отделить художников от теоретиков и переманить их на свою сторону.

Содружество всё же не распалось, но напугать и заставить многих писателей покинуть «Перевал», конечно, удалось. В эти дни вышли из объединения, официально заявив об этом: П. Павленко, П. Дружинин, Е. Эркин, Наседкин, А. Новиков, В. Кудашев, А. Малышкин, Амир Саргиджан, Н. Колоколов. И тогда же появилось письмо Пришвина.

Под конец всего этого затянувшегося, но неослабевающего разгрома «Перевала», не только враги его, но писатели, кровно не заинтересованные в судьбе содружества, да и сами перевальцы, были уверены, что конец «Перевала», действительно, близок, что вслед за разоблачением последуют так называемые «оргвыводы» ЦК партии, иначе говоря, соответствующим органам будет предписано ликвидировать нераскаявшийся «Перевал» полицейскими мерами. Эта угроза и способствовала бегству из «Перевала» даже самых старых его членов, вроде Наседкина и Дружинина. Но тогда не произошло окончательного расчета: он пришел позднее. Ликвидация «Перевала» не была отменена, но отложена до времени решительной расправы над всеми «уклонистами», которым пока велся тщательный учет и за поведением которых наблюдали все, «кому сие ведать надлежит».

Чисто внешними мотивами подобной отсрочки послужила вначале кампания контрактации писателей, с посылкой их в колхозы, совхозы, на фабрики и новостройки. Перевальцы охотно откликнулись на призыв отправиться «на места», и в то же лето 1930 года разъехались кто куда. По возвращении решено было подождать новых перевальских произведений; они начали появляться только в конце 1931 года, а в начале 1932 г. подоспело «историческое»

постановление о роспуске литературных группировок. А затем интересы руководителей литературной общественности были прикованы к организации Союза советских писателей. Таким образом, «Перевал», как литературная организация, закончил свое существование вместе со всеми другими литературными объединениями. Но счеты с перевальцами, которые, разумеется, и после роспуска группировок продолжали общаться друг с другом, — были сведены позднее.

Весьма любопытно, что во время дискуссий «Перевалу» инкриминировался его термин «живой человек», но в дальнейшем в конце тридцатых годов термин этот не только получил право гражданства, но стал просто общеобязательным, например в контексте: «Сталинская забота о живом человеке». Правда, тут есть объяснение — советское общество было к этому времени уже официально объявлено бесклассовым. Однако, оставаться «живым» в нем имел право только «новый человек» — непосредственный участник сталинских пятилеток, то есть беспрекословный слуга, старательный исполнитель воли партии и ее верховного диктатора.

Несмотря на то, что многие перевальские положения и даже отдельные термины были впоследствии использованы сторонниками казенного мировоззрения — «Перевалу» было совершенно невозможно договориться со своими оппонентами, прежде всего потому, что даже заимствованные у «Перевала» понятия приобретали здесь иное значение и меняли свою окраску.

«Когда «Перевал» заговорил об искусстве видения, с ним спорили, но во многом соглашались, — пишет Лежнев в седьмом сборнике «Ровесники», — но когда он заявил, что описательный реализм недостаточен, что нужен какой-то другой, более высокий тип экспериментального реализма, что нужно искусство, для которого бытовая данность является лишь материалом, — все с возмущением стали упрекать его в том, что он отойдет от позиции реализма. А когда, наконец, в «Перевале» послышались голоса,

утверждавшие трагедийность искусства, тут негодованию всевозможных критических «подмастерьев» не было предела.

Между тем оно основывалось на простом непонимании термина (а вместе с ним и некоторых других элементарных вещей). Трагедийное не есть трагическое, а трагическое не есть то, что под ним понимает обыватель. У нас трагическим называют всякий несчастный случай. Попал человек под трамвай — трагическая гибель. Пристрелил нечаянно из ружья товарища — трагическая неосторожность. Таким образом, привыкают думать, что трагическое есть то, что плохо кончается. И понятно, что когда люди, для которых мерило трагизма — самоубийство и хроника происшествий, слышат о трагедийности искусства, они в ужасе восклицают: «А, вы хотите, чтоб искусство показывало разных несчастных людей и говорило бы о том, что жизнь — тяжелая и скверная штука! Вы — явные упадочники!» Но трагедийное искусство не значит вовсе пессимистическое искусство, и даже не включает обязательным ингредиентом трагический конец. Зато в нем обязательно присутствует момент катарсиса, разрешения. Трагедийно искусство Бетховена, но это величайшее по жизнеутверждению искусство. Трагический конфликт в нем разрешается победой воли, радости, энтузиазма. Трагедийное искусство — то, которое берет основные конфликты эпохи, ставит их во всей глубине и значительности, не урезывая их, не смягчая, не боясь их резкости, и старается их так или иначе развязать. Какова будет эта развязка, будет ли трагедийное искусство трагичным, минорным или жизнеутверждающим, мажорным — зависит от тонуса эпохи, от социально-общественной позиции художника и т. д. Но всегда его смысл и оправдание будет в том, что это — большое, серьезное искусство, чуждое дешевого благополучия и чиновничьей благонамеренности, не старающееся покрыть всё розовым лаком идиллии, поскорее примирить непримиримое и дать восторжествовать неизбежной добродетели. И если оно радостно, — его право на радость куплено дорогой ценой.

Короче, вы хотите знать, что такое трагедийное искусство? Это такое искусство, в котором невозможны Жаровы и Безыменские».

Имя Безыменского для перевальцев давно стало синонимом лакейского прислужничества, обывательского благополучия и абсолютной бездарности. Но для редакции «Литературной газеты», возглавляющей линию партии в литературе, стихи Безыменского — «действительная поэзия, способствующая изменению мира».

Таким образом, «трагедийным» оказалось не только творчество перевальцев, но и положение их в советской литературной общественности.

Уже к 1928 году в «Перевале» явно обозначилось основное ядро объединения. Это были писатели, которые не только разделяли взгляды Воронского на искусство, но, дополняя и обогощая их своим опытом, вместе с перевальскими теоретиками пытались создать из литературной группы — литературную школу. Так образовался первый, он же последний, перевальский десяток. Ко времени постановления ЦК о роспуске всех литературных объединений в 1932 году в «Перевале» фактически осталась только эта ведущая группа, связанная между собой общностью литературных интересов, постоянным бытовым общением — приятельством, а в отдельных случаях и глубокой личной дружбой.

Из теоретиков «Перевала» прошли весь путь только А. Воронский, Димитрий Горбов и А. Лежнев. Художники: А. Воронский, Борис Губер, Иван Катаев, П. Слетов, Глеб Глинка, Ник. Тарусский, Ефим Вихрев и Дм. Семеновский.

«Перевал», в противоположность ВАППу, не был организацией бюрократической. Его канцелярия всегда велась небрежно и даже после казенного предписания о роспуске группы перевальцы не сразу собрались уведомить ЦК о ликвидации своей организации. Да, собственно говоря, и нечего было ликвидировать. Официальные собрания и без того давно прекратились, а приятельские беседы на

дому у того или другого члена содружества, по мнению перевальцев, являлись их частным делом и запрещению не подлежали. Но блюстители литературных нравов, которым не удалось поставить «Перевал» на колени, хотя и не сразу, но все же спохватились и, в нужный момент, а именно ко времени «ежовщины», вспомнили и донесли куда следует, что нераскаявшиеся перевальцы ушли в подполье.

Начиная с 1930 года, внепартийный гуманизм рассматривался большевистской моралью, как пособничество врагам революции, а художественная правда, искренность и просто писательская честность считались в лучшем случае реакционным предрассудком.

«Перевал» пытался бороться за свои принципы. Но мы совсем не собираемся делать из перевальцев великих людей или рыцарей без страха и упрека. Это были всего на всего живые люди (не в сталинском, а в перевальском, то есть в обычном смысле этих слов), со многими человеческими слабостями. Это были, быть может, и небольшие, но всё же искренние писатели и честные критики, которые боролись за, казалось бы, совершенно естественное право художника — видеть, понимать и чувствовать мир по-своему. И при другой общественно-политической ситуации, несомненно, могли достичь неизмеримо бо́льших творческих высот, нежели тот Перевал, с которого они в расцвете своих сил были беспощадно сброшены в небытие «сталинской заботой о живом человеке».

Расправа с «тайной организацией» последовала в 1937 году.

А. К. ВОРОНСКИЙ

Даже явные враги Воронского вынуждены были признать некоторые его заслуги. Обрушиваясь против формулы Воронского «Искусство есть познание мира в образах», или, обвиняя его в преувеличении роли попутчиков и злоумышленной недооценке пролетарской литературы, присяжные критики отмечали, что Воронский выделяется меткостью характеристик, нешаблонным подходом к литературным явлениям и прекрасным языком.

В своей статье «О пролетарском искусстве», в 1923 году А. К. Воронский утверждал:

«Никакого пролетарского искусства, в том смысле, в каком существует буржуазное искусство, у нас нет; попытка представить современное искусство писателей пролетариев и коммунистов пролетарским искусством, противоположным и самостоятельным в отношении буржуазного искусства, на том основании, что эти писатели и поэты отражают в своих произведениях идеи коммунизма, — наивна и основана на недоразумении, так как на самом деле у нас в лучшем случае есть искусство целиком, органически и преемственно связанное со старым, — искусство, которое стараются приспособить к новым потребностям переходного времени диктатуры пролетариата. Идеологическая окраска нисколько не изменяет положения дел и не дает права на принципиальное противопоставление этого искусства искусству прошлого, как самобытной культурной ценности и силы: речь идет только о своеобразном приспособлении».

«Перевал» был, несомненно, детищем Воронского и само название группы, как мы уже говорили, было заимствовано из статьи Воронского «На перевале».

Кровную связь с Воронским чувствовали не только настоящие, но и бывшие перевальцы, то есть писатели, которые не выдержали до конца и ушли из содружества. Несмотря на непрерывные нападки и, наконец, на решительную официальную пропаганду против Воронского и долженствующей устрашать всех и каждого «воронщины», книги Александра Константино-

вича были школой не для одного «Перевала». Наиболее развернутый сборник его статей «Искусство видеть мир» воспринимался почти всеми писателями, как единственная, в советской литературе, серьезная постановка вопросов, связанных с психологией творчества.

Воронский родился в 1884 году. Он сын священника и ученик Тамбовской духовной семинарии. Девятнадцатилетним юношей он вступил в партию РСДРП(б) и в 1905 году был исключен из семинарии. Вел партийную работу в Петербурге и в Гельсингфорсе, а в 1907 году был арестован и отбыл год крепости и два года ссылки в Яренске, затем снова вернулся на партийную работу и в 1912 году участвовал в Пражской конференции большевиков. После второй ссылки в Кемь он работал на юге России. В 1917 году Воронский становится членом Одесского губкома и председателем Одесского совета рабочих и крестьянских депутатов. Потом в Иваново-Вознесенске он редактировал газету «Рабочий край».

В конце 1920 года Воронский переехал в Москву и в 1921 году организовал первый пореволюционный толстый журнал «Красная новь», работал в Государственном издательстве и возглавлял издательство «Круг».

С первых же своих шагов в литературе Воронский выступал против отвлеченных схем и шаблонов, против всяческой неряшливости. Призывал писателей к революционной романтике и боролся против монополии того или иного литературного течения.

Впоследствии Воронского обвиняли в том, что, работая главным образом с попутчиками, он, вместо активного руководства ими, сам оказался под их влиянием. Но дело, конечно, совсем не в попутчиках. Вплотную подойдя к художественной литературе, а через нее и к общей русской культуре, Воронский, со свойственной ему внутренней честностью, должен был пересмотреть и по новому осмыслить свое отношение к этой культуре. В то же время он из года в год все более убеждался, что та революция, которой он отдал все свои силы — осталась где-то далеко позади и, вместо чаемых свобод, надвигается страшная тирания сталинской диктатуры с ее полицейским режимом.

Воронский сделал последнюю попытку бороться и примкнул к троцкистской оппозиции.

Ко времени создания «Перевала» Воронскому едва исполнилось сорок лет, но крепко посаженная круглая голова его с чисто выбритым подбородком была покрыта курчавыми, всегда

аккуратно подстриженными и совершенно седыми волосами. Низкорослый, с огромными почти негритянскими губами, с крутым лбом и большими серыми глазами, которыми он смотрел на собеседника всегда в упор, с вниманием боксера на ринге, казался он в первый момент холодным, волевым и непокорным всем и всему, но тут же становилось ясно, что глаза эти более любознательны, нежели упрямы, а то и дело мелькавшее в них озорное добродушие внушало полное доверие к этому сильному человеку. И в то же время какое-либо панибратство с Воронским, даже при самых близких с ним отношениях, никому не могло придти в голову. Эта дистанция, которая сама собой образовывалась, не только между ним и его литературными врагами, но всегда отделяла, точнее, выделяла его и среди соратников, в любом общении создавала впечатление, что он, хотя и добродушный и чуткий, но все же офицер среди солдат. И тут, несомненно, действовал не один гипноз его седины и большого стажа подпольной работы, а прежде всего его, столь редкие в это время, качества беспощадной прямоты и честности перед самим собой.

Отношение Воронского к «Перевалу» с самой его организации было всегда осторожным и тут тоже чувствовалась некоторая дистанция. Воронский постоянно всем своим поведением как бы подчеркивал, что никакого давления на перевальские решения оказывать не собирается и предоставляет перевальцам ту же свободу мыслить и действовать на свой страх и риск, каковой пользуется он сам.

Из участников содружества первое время он близко общался с Николаем Зарудиным, который одновременно с ним примкнул к троцкистам. Но в наиболее тяжелые дни (исключение из партии, уход из «Красной нови»), он почувствовал, что самыми верными друзьями его являются Лежнев и Горбов. В разгар ожесточенной травли «Перевала», замечая естественное смятение у некоторых соратников, Воронский, с обычной своей добродушной усмешкой, всерьез уговаривал их бросить весь этот никому не нужный героизм верности и, ради собственной безопасности, отречься от своего перевальства и в первую очередь, конечно, от «воронщины».

С начала тридцатых годов для Воронского снова наступает полоса обысков, арестов, допросов и ссылок. После официального раскаяния основных участников троцкистского блока Воронский был возвращен в Москву и работал редактором отдела классической литературы в Государственном издательстве. Здоровье его к этому времени было сильно подорвано. Он уже совсем не выступал как литературный критик, с перевальцами об-

щался мало, писал свои мемуары и усиленно работал над книгой о Гоголе.

Некоторые главы из этой рукописи Александр Константинович читал кое-кому из своих ближайших друзей (называть их имена пока преждевременно). И, судя по отдельным отрывкам, было ясно, что книга эта — явление весьма замечательное.

Гоголь, по утверждению Воронского, радовал и мучил его в течение всей жизни. Ко времени полного крушения социальных и личных стремлений Александра Константиновича он еще раз, уже новыми глазами и новой, истерзанной страданиями, душой, пытается осмыслить трагический путь своего любимого писателя. Вслед за М. О. Гершензоном Воронский доказывает, что Гоголь-мыслитель неотделим от художника. Шаг за шагом, с упорством добросовестного исследователя и с трепетом человека, добровольно принимающего мученический венец, Воронский защищает Гоголя от Белинского и от всех советских литературоведов, упорно продолжающих повторять нелепые утверждения неистового Виссариона.

Такая книга о Гоголе, разумеется, была немыслима в сталинский период советской литературы. В подготовленном для печати виде она была конфискована органами ГПУ, во время последнего ареста Воронского, в начале 1935 года, а в декабре того же года до нас дошли вполне определенные слухи о том, что Александр Константинович Воронский умер в клинике Бутырской тюрьмы.

А. ВОРОНСКИЙ

ДЕТСТВО

(Из книги «Бурса»)

I. Мир

Трех с половиной лет, бегая по горнице, я ударился о печную дверцу и проломил голову; спустя несколько месяцев опрокинул на себя кружку с кипятком и обжог локоть; пометки остались на всю жизнь. Об этих случаях узнал я от старших. Не запомнил я в эти годы ни одной зимы. А вот альчики-камушки во влажном желтом песке, и как я ищу их и радуюсь им, — запомнились. Помню дуб в лесу за рекой Вороной, уродливый и могучий, — я прижимаюсь щекой к его окаменевшей коре и притворяюсь, будто хочу на него взобраться. Помню солнечные косяки в пятнах, в струйках: рядом дрожат и прыгают зайчики. Окно настежь открыто. За окном сирень, утренняя прохлада. На листьях дрожат сверкающие крупные капли росы, готовые упасть. От подушки, от простыни — сухое, ровное тепло. Кривой пустой рожок с резиновой соской висит у изголовья. Я хватаю рожок. От соски пахнет кисловатым, прокол по краям побелел. Держу рожок обеими руками и жадно сосу, но он скоро мне надоедает, и тогда я подтягиваю ногу и, пыхтя, сосу большой палец. Это куда вкуснее. От сосания меня долго не могли отучить.

В канаве за домом поймал я тритона, боялся его и жалел упустить; и все же упустил; тритон был холодный и скользкий. В роще напугал меня уж. С вы-

сокого сырого пня, где лежал он кольцом, уж блеснул темной лентой и со свистом скрылся в траве. И страшно и очень занятно...

Солнце осыпается ослепительной прозрачной пылью. Солнце во мне, повсюду, оно затопило леса, берег, луга. Река блещет до рези в глазах. Песок чист и горяч. Стаи рыбной мелюзги, лукавой и легкой, суетятся в прозрачной и теплой воде. Дно покрыто трепетными бликами. Сижу на корточках и не вижу, что уже успел замочить рубашку. Все, что двигается, живое, живое таинственно, любопытно; привлекает к себе. Живое есть радость. Я быстро погружаю в воду руку с распластанными пальцами. Раз, два! Неудача! — в руке ничего нет: мелюзга разбежалась, она играет подальше от берега. Осторожно я подвигаюсь к ней: ах, как хочется поймать! Башмаки давно в воде, рубашка намокла почти до пояса. Опять неудача! Сзади нянька Груня хватает меня подмышки, тащит на берег и шлепает. Я барахтаюсь и кричу не от боли, а оттого, что непременно хочется поймать силявку и настоять на своем. Не припоминается ни одного размышления. Мир. Живое... Все живое... Живое влечет к себе... Ощущения свежи, отрадны.

... Открывается дверь в спальную. Спальная в сумерках. Я лежу почему-то не у себя на кровати, а на широкой постели, где спят обычно мать и отец. Темный неизвестный человек приближается ко мне медленно, неторопливо высыпает на одеяло из карманов много гостинцев в разноцветных бумажках. Лица у него не разглядеть. Гостинцы я прячу под подушку. Утром шарю под подушкой. Гостинцев нет. Я плачу. Входит мама. Я жалуюсь: неизвестный дядя подарил мне много гостинцев, я спрятал их вот сюда; кто-то их взял у меня. Мама смеется: — «Дурачок, — все это тебе приснилось». — Пускай приснилось, но куда же девались мои гостинцы? — Соленые слезы попа-

дают в рот. Слюни текут на нагрудник, его не снимают с меня и по ночам: такой я слюнявый. Нагрудник прокис; я срываю его и требую моих гостинцев. Может быть их взяла противная Груня?!

... Отец в лиловой рясе, светлобородый, и мама в широкополой соломенной шляпе усаживаются в тарантас. Меня обещали взять с собой, но обманули. С ревом бегу я за тарантасом. Груня перехватывает меня на дороге, где в колеях горячая пыль. Я визжу, кусаюсь. В кухне кухарка Анисья сует мне огрызок бублика. Я выбиваю огрызок из ее рук. За мной больше не ухаживают. Я долго кричу, кричать надоедает, и я уже только тихонько хныкаю, но когда замечаю, что на меня обращают внимание, хнычу громче. Голос мой мне самому противен. Анисья в сердцах говорит:

— Будя! Не бросишь кричать, вытолкну в сенцы. Там вурдалак на чердаке тебя дожидает.

О вурдалаках Анисья при мне рассказывала Груне. Вурдалаки встают из могил по ночам, проникают к сонным людям, надкусывают им шеи, пьют кровь; люди умирают. На миг я притихаю, кошусь на дверь, но вдруг неожиданно для себя разражаюсь новым ревом. Анисья хватает меня в охапку, я отбиваюсь, но она легко справляется со мной и выбрасывает за дверь: — «Родимец тебя расшиби!.. Возьми его, вурдалак!» — В сенцах темно; лишь с потолка, через квадратное чердачное отверстие пробивается немощный, бледно-желтый свет. На чердаке видны задки сношенных сапог, метла, угол печной трубы. Я замираю от страха и черных предчувствий, жду вурдалака. Знаю, он должен непременно появиться. И вот вурдалак появляется в чердачном отверстии. У него нечеловечья мохнатая лапа, предлинные когти, узкое синее лицо, иссиня-темные губы. Обман зрения на-

столько нагляден, что я вижу, как вурдалак машет лапой, точно бросает вниз камни. От лапы на стену в просвете ложится огромная тень, она двигается, и она страшней самого вурдалака. Не сводя с него глаз, я жмусь к двери, обитой рваным войлоком, а вурдалак все машет, все машет рукой, но ко мне не спускается. Неизвестно, сколько времени все это происходит. Груня открывает дверь. Меня трясет «родимчик». Груня долго не может со мною справиться.

— Ничего, милой, ничего... Примнилось... У курочки болит, у собачки болит, у коровки болит, а у Лешенки нашего все, все заживет.

В сенцы я долго потом не решался один выходить.

... Другой обман, обман слуха, был приятен. Часто кто-то окликал меня по имени и так ясно и громко, что я быстро оглядывался и удивлялся, когда не видел никого кругом. Голос был далекий, он звучал как музыка...

... С дивана я показываю на картину: бабушка, повязанная пестрым платком, с очками на конце пухлого добродушного носа, вяжет чулок; рядом — кудрявый, светловолосый мальчик. Оба сидят у плетня на охапках сена. Вдали церковь, рожь, луга.

— Это кто будет?

Отец кашляет, прикрывает горсткой рот, осторожно гладит меня по голове:

— Это твоя бабушка...

— А это кто будет?..

— А это ты будешь. Бабушка рассказывает тебе сказку.

Бабушки такой я никогда не видал. Очень также странно, что я нарисован на картине. Правда, я — кудрявый, вот они — мои кудри, и мальчик на картине кудрявый, вот они — его кудри, — все же непонятно, как же это я очутился на картине. Но я верю отцу, он для меня высшее существо. Он все знает. Никогда

мне с ним не сравняться. Я верю ему вопреки очевидности.

...Но разве взрослый человек не верит сплошь и рядом вопреки очевидности?

...Взрослые все знают. Но и я иногда не ударю в грязь лицом. Старшие говорят: — «Продолжайте рассказывать, он ничего не понимает, он занят своими игрушками». — Пускай так думают, а я слушаю и понимаю и только притворяюсь, будто занят игрушками. Говорят про чужого дядю, про доктора: дядя «прохлопал» свою тетю и она сбежала от него с купцом Миловановым. «Прохлопал» — он ее пребольно бил не то кнутом, не то палкой. Взял да и прохлопал насквозь. От такого сбежишь!

Я — хитрый. Знание свое таю в себе и чувствую свое превосходство перед взрослыми.

Взрослые умные, они все знают. Но они в конце концов занимают меня меньше животных, насекомых, птиц, вещей. Котенок, бабочка, майский жук, божья коровка, сверчок за печью, пенал, кнут, деревянная лошадка, песок, яблоня — мне ближе, занимательнее. Взрослые отстоят от меня дальше. Они делают много непонятного и мне несвойственого.

...Мир мой около меня. Это то, что я вижу хорошо, могу брать, могу есть. Мир мой ярок и свеж, он точно умыт. По-своему он для меня огромен. Огромна комната с потолком, до него не долезешь нипочем, сад тоже огромный, а за ним начинается беспредельное и неведомое. Отсюда тоска. И каждый день приходится что-нибудь узнавать и удивляться. В жизни самое хорошее — удивление. Вместе со мной рядом двигается тень, я пробую изловчиться и наступить на нее — никак не удается. Бегу от нее запыхавшись, а тень все около меня... Удивительно... Если надавить пальцем глаз снизу вверх, все задвоится... Если долго кружиться, — комнаты, столы, стулья, пол тоже пойдут кругом... Прыгаешь со стула и машешь руками,

точно птица крыльями, но полететь не удается, а птицы почему-то летают. Все это и многое другое удивительно...

... Пожалуй, самое удивительное — заводные игрушки. Они не живые, они сделанные, но они будто живые, сами двигаются, бегают. А сколько в них колесиков, винтиков, пружин и всякой мудрой всячины! Повернешь ключ и в коняшке что-то зашипит, и коняшка скачет по полу. В гостиной на столе — ящик с музыкой: ящик заводят и он «сам» играет. Даже иногда страшно от всего этого, сделанного человеком.

... Простые игрушки впрочем тоже чего-нибудь да стоят. С базара мама принесла лошадку в подарок. Нимало не медля принимаюсь я за нее и, пока накрывают к обеду стол, успеваю продырявить лошадиное брюхо. Подходит мама, укоризненно качая головой, журит:

— Зачем портишь лошадку? Она такая славная!

— Кишки ищу! — пыхтя и надувая щеки я запускаю в дыру указательный палец.

Игрушку отнимают, но вечером, улучив досужий час, я довершаю начатое дело. Кишек нету. Плохая лошадка! У настоящей лошадки, говорят, есть кишки!

... Очень хочется скорее стать «большим», до того хочется, что утрами я изо всех сил тянусь вверх: авось подрасту. Большим можно носить очки, самому снимать штаны, садиться на горшок, засыпать, когда вздумается, не есть пресной манной каши, если не охота, не хорониться, чтобы всласть пососать палец... Да здравствует полная свобода!.. Огорчений и обид не оберешься, до того стесняют во всем и мама, и отец, и Груня, и кому только не лень. Но горе и забывается очень легко. Дел по горло. Надо изображать пастуха, ямщика, скакать верхом на палочке, гей, мой верный конь вороной, — надо строить шалаш, надо подразнить немного — с опаской — дворнягу Шарика. Каждое утро точно рождаешься или начинаешь жить но-

вой жизнью. Нет ни прошлого, ни будущего, а одно настоящее, да и оно лишь в том, чем занят сейчас, сию минуту. Быть занятым с утра и до вечера — и ничего делового, связанного с расчетом, с обманом и с ложью, — о, великая детская беспечность!

Детство — это забвение и беспечность. Забывают, чтобы лучше, свежей воспринимать. Но вот проходят годы, человек стоит с обнаженной головой пред безбрежным океаном. Кипят пучины, из недр их поднимается Левиафан вечности, с сердцем твердым, точно камень, и жестоким, как жернов... а позади многое, многое, что утомительно и беспощадно хранит память и что нужно бы по-ребячьи откинуть от себя навсегда!..

За палисадником огород, за огородом — кусты и болото. Болото тянет к себе. В нем головастики, лягушки, жуки, пауки, козявки, гукает бучень. В нем — тина, кочки, камыш, в камыше неизвестность. Но в болоте есть еще что-то такое странно-притягательное и неведомое, и я подолгу в одиночку смотрю на болото, прислушиваюсь и чего-то жду. Я не могу об этом написать лучше, чем написал когда-то Мопассан, а написал он о болоте просто и необычайно:

— В болоте в часы солнечного заката есть... присутствие какой-то смутной тайны, готовой вот-вот открыться жизни, которая, быть может, родилась когда-то из поднявшегося со дна болота на закате газового пузырька!

Самое сильное ощущение жизни связано у меня с болотом.

...Многое мелькает в тумане, и нельзя с уверенностью сказать, во сне ли то привиделось, или было то наяву... Стою в сумерки у окна. За окном — пустырь, дальше река в снегах, за рекой — церковь с тонким, длинным шпилем. Над шпилем в сером небе вьется галочья стая. Место незнакомое. От сумерек, от тонкой иглы, от галок, от пустыря, еще от чего-то до то-

го грустно и тоскливо, что надо сделать усилие, чтобы не заплакать. Нет, никогда не вырваться отсюда, и податься совсем некуда.

Где, когда я видел наяву все это — не знаю.

Но о шпиле, о пустырях я неожиданно и тоскливо вспомнил, увидев в первый раз Петропавловскую крепость.

Сон в руку!

...В чем мое «я» теперь, когда седеют волосы и выцветают глаза?

Это — ощущения, это — страх, радости, горе надежды. Но все больше и больше кажется мне моим «я», его ядром — мое сознание, — Cogito, ergo sum — мыслю, следовательно существую, — сказано стариком. Это заметил кто-то очень верно. В детстве «я» прежде всего в ощущениях. И потому, вероятно, многие детские ощущения сохранились с ослепительной яркостью, а свои мысли тогдашние я припоминаю хуже. Теперь же со мной происходит обратное: ощущения все тускнеют, а мысли очищаются...

...Зато какой рой вопросов обуревает ребенка позже, при пробуждении рассудка!.. Прямо податься некуда! Отчего мычит корова? Почему у петуха красный гребешок? Отчего видятся сны и где я бываю, когда сплю? Почему у собачки четыре ноги, а у меня две? Почему на небе звезды и можно ли их достать, если к ним лезть, все лезть до самого верху? Почему деревья выше человека? В каком месте кончается свет и что есть там дальше, где свет кончается и где ничего нет? Можно ли видеть невидимых ангелов? Отчего я родился и что я делал, когда еще не родился, и что было, когда еще ничего не было? Все это требует безоговорочных и окончательных ответов. Дети — величайшие метафизики. А ответов-то и нет. Старшие все знают, но они чаще всего отделываются шутками, либо ссылаются на то, что им недосуг, или говорят: подрастешь — узнаешь. А может быть и взрослые не

все знают?.. И это непорядок, и неизвестно, как же быть?..

... Лежу в кровати с тяжелой и горячей головой. Сохнут губы. Знойно. Хочется долго и много говорить. Закрываю глаза, и стоит мне о чем-нибудь подумать, это подуманное легко воплощается в образ... Груня... И из тумана выступает ее простое бледное лицо, покорные серые глаза. Она что-то говорит, но я не понимаю ее слов... Довольно о Груне... Лучше о Шарике... Шарик выглядывает из конуры, эдакий хитрец, он косит глаза, а сам ждет от меня подачки, знаю я тебя, знаю!.. Именье Унковских... Вот конюшня... Ведут на водопой лошадей. Одна, каурая, взбесилась, что ли!.. Вырвалась!.. Скачет, скачет... прямо на меня несется... не надо... и нету... Как все странно... стоит подумать — и является.

— Нет, мамочка, ничего не болит, мне только жарко...

Не говорите — иногда приятно хворать, это когда жарко и мамина прохладная рука дотрагивается до лба, а в гостиной еле внятно отец играет на гитаре... Вот, если бы и в жизни так было: подумал бы — и явилось... перестал думать — и сгинуло.

... Сумерничаем в столовой. Отец лежит на диване. Я примостился между отцом и спинкой дивана. В темноте большие, глубоко запавшие отцовские глаза влажно светятся. Нос заострен; во впалых щеках — тени. Волосы покоятся на подушке, рассыпались. Папа мой хворый, ему надо ехать лечиться, а денег нет, приход бедный. Все это мне известно. Отец похож на Бога, распятого на кресте, такой он худой и длинноволосый. Отец рассказывает тихо:

— За горами, за долами, за сыпучими песками, в неизвестном царстве, в неизвестном государстве жил-был царь с царицей.

Стараюсь представить царицу. Утром на опушке леса видел я молодую Унковскую. Белая женщина сидела боком на серой лошади с хлыстом в руках, около бегали две собаки, поджарые, с острыми мордами. Должно быть, царица похожа на дочь генерала Унковского. Я спрашиваю:

— А у царицы собаки большенные были?

— Были. Не мешай рассказывать.

...— Говорит царь сыновьям: «Возьмите по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные стороны: на чей двор стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичья терема; пустил средний брат — полетела стрела к купцу на двор и пала у красного крыльца, и на том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая; пустил младший брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила его лягушка-квакушка.

Буду жениться — возьму тоже каленую стрелу: может и мне на долю выпадет лягушка-квакушка. Хорошо, если она обернется Василисой премудрой, а если этого не случится?.. Сяду за обед, а лягушка-квакушка тут как тут: лезет погаными лапками в тарелку... Сказке я верю. Меня уже приучили к мысли, что есть мир видимый и есть мир невидимый; в мире невидимом все возможно, самое необыкновенное.

Отец рассказывает не спеша, ровным голосом, и все теребит курчавую и негустую бородку. А в окнах уже темно, давно пора засветить лампу. В доме тихо и только из кухни доносятся неясные голоса.

— И говорит Ивану-царевичу баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос: — «Трудно, Иван-царевич, Кащея одолеть: смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кащей как свой глаз бережет...»

Сказку я слушаю не впервые, и все же с интересом. Однако позавчера отец ее рассказывал по-друго-

му: тогда Иван-царевич в чистом поле встретил серого волка, а не медведя; селезня тоже не было, а был ясный сокол.

— И все это неправдычка, — возражаю я отцу и вздыхаю. — В спальной ты говорил мне по-другому.

Я точно излагаю поправки. Отец треплет меня по плечу, улыбается:

— Это, дружок, сказка, ее можно баять по-разному.

— Нет, сказки надо рассказывать только по правде, — сурово обрезаю я отца, сердитый и разочарованный карабкаюсь через него: в кухне зажгли огонь, надо посмотреть, что там делается; пора придти со двора работнику Павлу, он обещал свить кнут, пастушинский, взаправдашный...

... Искусство не терпит ничего, что вызывает сомнения даже в мелочах, и, пожалуй, больше всего именно в них. Искусство всё в этих мелочах.

На дворе у дьячка Николаича играю с сынишкой его Сергунькой, однолетком. Очередь ловить за Сергунькой. Двор невелик, заставлен телегой, санями, дрожками; в углу преет навоз. Около кухни лоханка с помоями всклянь*) Колодезь с журавлем и длинным корытом для скотины. Сруб колодца старый, низкий. Я бегаю то вокруг телеги, то вокруг колодца. Сергуньке все не удается меня запятнать. От этого у него пропадает охота к игре, и, чтобы его подзадорить я, пятясь назад, поддразниваю: — «Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь»... Вдруг я лишаюсь опоры, ударяюсь пребольно головой... куда-то лечу, разверзается темный мешок... Обо всем этом я не успеваю даже подумать и уже захлебываюсь водой. Я упал в колодезь. Вода леденит кости, внутренности, жжет кожу. Захлебываюсь, бью по воде руками. Около меня плавает мертвая, вспухшая лягушка с белым брюхом;

---

*) Льющийся через край.

я хватаю ее руками в поисках опоры, ухожу с головой под воду, поднимаюсь на поверхность. Неожиданно пальцы находят твердое, ломая ногти, я цепляюсь сперва одной, затем другой рукой. Из сруба выступает немного одно стропило в мокрой плесени, за него-то я и хватаюсь. Я продолжаю барахтаться, запрокидываю вверх голову и кричу ужасным, нечеловеческим голосом. Брызги кипят вокруг меня, отвратительная вода заливает рот, уши, ноздри. Темно, сыро. И высоко надо мной квадрат темно-синего неба, несказанно желанного. Небо дрожит, дробится от всплесков воды. И так хочется очутиться наверху, и так остро, жадно я чувствую: там тепло, солнце, жизнь, а здесь мрак, ужас и смерть! — И мне уже не холодно, а жарко, и я весь горю. Горло сжимают спазмы. Плавает мертвая лягушка белым брюхом вверх, с распластанными лапками; стараюсь, чтобы вместе с водой она не попала мне в рот, и содрагаюсь от отвращения. Неизвестно, какое проходит время. Наверху показывается голова в лохмах, в бороде. И голова и плечи кажутся огромными. Я нахожу еще силы подумать: Берендей. Берендей, держась за бадью, раскорячив ноги и упираясь ими и ручищами в углы сруба, спускается вниз ко мне.

Берендей, дьячок Николаич. Спустившись, он долго не может оторвать моих пальцев от стропила и, когда справляется со мной, в моей руке все же остается гнилушка. Наверх нас вытягивают соседи. Еще и в избе я не выпускаю из рук той гнилушки, покудова совсем не прихожу в себя. Матери моей сергунькин отец, между прочим, позже сказал:

— Дивиться можно, матушка, как это он сумел зацепиться за сруб. Я опосля осмотрел колодезь: сруб-то весь гладкий да склизкий, только в одном месте и есть за что ухватиться, и то не взрослому... И вот, поди ж ты, это самое место и нашел. Живуч будет мальчонка-то, право мое слово!..

Спустя несколько дней мы сумерничали с отцом. Он стал было рассказывать сказку про лягушку-квакушку. Я хмуро и решительно перебил отца:

— Про лягушку-квакушку не надо. Рассказывай про другое.

— Почему же не хочешь? Ведь это твоя любимая сказка.

Я упрямо и кратко объявил:

— Не надо...

...Отца, по личной его просьбе, перевели в другой приход, где не было реки. Это ему не помогло и он умирал от чахотки. Он уже почти не поднимался с дивана, и сквозь подрясник плечи его выпирали сиро и жалко, а на пальцы его я боялся смотреть: до того они высохли. Иногда отец сажал меня около себя, тихо гладил по голове, перебирал пряди волос, а я не знал, что ему сказать и что делать с собой. Ночами он, прислонясь к спинке дивана, усердно молился, читал кафизмы и акафисты, и лампадка в переднем углу теперь теплилась день и ночь. Вечером, однажды, я слышал: после обычных молитв отец, пристально глядя на иконы и задерживая истово на лбу трехперстие, через силу шептал:

— Даруй мне, Господи, скорую и легкую кончину, призри и не оставь сирот моих без попечения и милости Твоея.

Я понял: отцу худо, и он нас, меня и Лялю, очень любит; в тот вечер я не отходил от отца и старался развлечь его шумными играми. Отец пытался улыбаться. В кухне мама часто плакала. Плакали и Груня, и кухарка. Глядя на них, и я плакал. Меня жалели и называли «горемышным», и мне было жалко себя.

После соборования отец попросил привести меня и Лялю. Он полулежал, откинувшись на горку подушек. Его изнурял пот, грудь высоко и неровно вздымалась; в ней что-то застревало, свистело и шипело.

Отец долго молча на нас смотрел. Я держал Лялю за руку. Мы тоже молчали. Отец, сделав движение головой, будто ее приподнимая, еле слышно вымолвил:

— Какой ты еще крохотный! Совсем мальчик-с-пальчик! А Ляля и того меньше. Жить тебе придется без меня, дружок. Лялю не обижай, не забывай ее. Помни, одна у тебя сестрица. Сироты вы оба. Надеяться вам не на кого...

Я с готовностью сказал:

— Нет, Лялю я не забуду. Я и тебя не забуду, когда помрешь, буду ходить к тебе на могилу. — Подумав, деловито прибавил: — Зимой, пожалуй, в могиле холодно; ты тулуп свой возьми.

Мать толкнула меня в плечо.

Отец взял наши головы, мою и лялину, заглянул глубоко в глаза, перекрестил нас трясущимися руками, поцеловал в лоб и отвернулся к стене.

Мама прошептала:

— Иди на кухню играть в коняшки.

Я побежал на кухню и играл там в коняшки.

Ночью отец скончался.

В гостиную, где он лежал, нас не пускали. Забывали во-время кормить. Мы испуганно и подавленно следили за старшими. Перед выносом мама приодела и вывела нас к панихиде. По середине гостиной стояли два сдвинутых стола и на них — обитый черной материей длинный, безобразный ящик. В ящике лежало что-то очень изжелта-белое и неподвижное. Я понял: это мой мертвый отец. Нос чуждо и нелепо задирался кверху. От гроба и от белого отца источалась тошноватая тишина, и она не смешивалась ни с тихим и сдержанным разговором причта, родных и знакомых, ни с позвякиванием кадила, ни с плачем матери. По обеим сторонам ящика стояли подсвечники, затянутые белым ситцем, и в них желтели огоньками свечи. Комнату убрали хвоей, и запах ее смешивался с синим и постным запахом ладана. Все это было страш-

но, но я не поверил смерти. Мне дали свечу. Стоя и слушая панихиду, я вспомнил, что скоро Рождество Христово, придут из села славить, затем уберут елку, развесят хлопушки, разные подарки, а на самой верхушке под потолком заблестит вифлеемская звезда, та самая, с какой путешествовали волхвы. Хотелось, чтобы мне подарили пистолет и книгу с раскрашенными картинками.

На лбу отца что-то было наложено. Что бы это такое? Я сделал два, три робких и неполных шага туда, где в ризах служил священник. Мама потянула меня за рубашку назад. Лежавшее на лбу у отца не давало покоя, и я стал думать, как лучше и скорей мне приблизиться к гробу. Старшие часто опускались на колени, и я стал тоже делать земные поклоны и понемногу и незаметно стал подвигаться к причту. И опять мама за рубашку одернула меня. Я не сдавался и вновь, кланяясь, двигался вперед. Груня взяла меня на руки, и я увидел, что лоб отца обвит бумажкой и на ней золочеными буквами что-то написано. Отец лежал враждебный, до странности спокойный, сдвинув ноги пятками вместе, очень длинный. Один глаз, правый, был приоткрыт, и отец будто подглядывал, что кругом делается. На него страшно было смотреть, и в то же время он притягивал к себе. Я отворачивался, но жуткое любопытство заставляло меня опять на него взглядывать. И я желал, чтобы отца скорей похоронили. И глядя на мертвое тело, я с особой остротой чувствовал себя живой личностью в огромном безбрежном мире, который мне противостоит.

В церкви я с отвращением приложился к холодным, синим губам мертвеца, а Ляля, когда ее поднесли к нему, громко закричала, спрятала свое лицо в плечо Груни и не простилась с отцом.

Когда ящик спустили в могилу и на его крышку посыпались мерзлые комья, мама бросилась в яму, ее схватили за руку и за бархатную шубейку.

Вечером я спросил старших, что будет с отцом. Мне сказали: настанет время и отец воскреснет.

Я нашел, что так и должно быть и иначе быть не может.

Несколько ночей я боялся засыпать без старших и спрашивал, крепко ли прибита крышка к отцовскому гробу гвоздями.

II. Дедовская Русь

Деда увидел я впервые после смерти отца. Привезли меня к нему зимним деревенским вечером. Два дня мы ехали на розвальнях. Стояли крещенские морозы и заснеженные, завьюженные поля терялись в нелюдимых, безымянных просторах. Колокольчик звенел дальним, бессильным и одиноким звоном. Казалось, мы навсегда завязли в синих, сыпучих сугробах и никогда не будет конца путям и перепутьям. Мы запоздали, ехали в лесу. Седобородый ямщик Никифор, низко подпоясанный широким красным кушаком, рассказывал матери о северных скитах староверов, куда доходил он в поисках работы и хлеба. Чудилась безгласная таежная глушь, заболоченный край, неведомые тропы, смолистый бор, не тающий сумрак и в полночь, в час страхов и баснословных былей, в час сказочных свершений едва заметное мерцание огня в лесной глубине, островерхая ограда во мхах и в плесени, запушенная снегом, сторожевая башня из толстых дубовых бревен с темными бойницами; там гнездятся желтоглазые филины. За оградой, внутри келий — закопченный потолок, ярый воск свечей, тени и мрак по углам, древние лики святых. В кельях — бородачи-староверы. У них сухие, мертвенные щеки. Глаза ушли глубоко под лоб. Женщины с окаменев-

шими лицами ступают неслышно и полы их черных одежд распахиваются, точно крылья ночных птиц. Они все «спасаются». Нашинского Бога староверы не признают, и это очень дурно, но они не признают также ни исправников, ни урядников. Староверы — бегуны; иногда на них нападают солдаты, они уходят дальше в заповедные леса, а если им некуда податься, то сжигают себя живьем в срубах. Это жутко, но староверы храбрые, и у меня к ним скрытое сочувствие.

— Они бунтуются? — спрашиваю я у Никифора.

Никифор с облучка скашивает глаза:

— Ишь какой вострый! Подрастешь, до всего допытаешься. — Помахав кнутом, прибавляет: — Ах ты, сосунок махонький! Все слыхал. А я думал, ты спишь... Эй, поштенные... — И он начинает длинно и ворчливо корить лошадей.

Я глубже прячу лицо в тулуп. Он славно пахнет дубленой кожей и шерстью. Непонятно, почему рано спрашивать про староверов, бунтуются они или нет. Правда, я еще не взрослый, но умею уже считать. Сколько мне лет? Раз, два, три, четыре, пять... А колокольчик все звенит себе и звенит. Теперь у него почему-то добрый, домашний звон. На сани осыпаются звонкие хрустальные лепестки; это звенят падающие снежинки... Да, я умею недурно считать: один, два, три, девять, двенадцать, пятьсот. Динь, динь, динь! И вот странное и блаженное состояние — я не сплю еще и плечами чувствую спинку саней, мать, Лялю. Сквозь закрытые отяжелевшие веки будто наяву я даже вижу и снег, и лошадей, и Никифора, но меня во всем этом больше нету. Или вернее: и снег, и сани, и лошади, и тулуп, и небо — это и есть я сам, но «я» сам стал себе посторонним, другим, и это так отлично, что мне хочется: пусть это мое чувство продлится как можно дольше. Затем все исчезает, остается одно ощущение теплоты, и тоже меня нет и есть только теплое и уютное, и теплое это — я, и я себе — посторонний, дру-

гой... Поднимаюсь, все поднимаюсь по высокой и крутой лестнице, прямо к небу, к золоченым облакам, и чем выше, тем отраднее и легче; несут крылья... я большой, огромный... и все чудесно и непонятно... я добрый... и все...

... Заснул я так крепко, что по приезде меня долго не могли растолкать, и мама даже перепугалась: быть может я замерз... В тулупчике, в платках я походил на узел. Меня раскутали, и я увидел деда. Высокий, костистый, худой, он шевелил нависшими бровями и руки держал за спиной. На нем обвисал полотняный зеленый подрясник: в белой бороде пробивалась желтизна. От деда крепко пахло нюхательным табаком. Валенки, пожалуй, были выше меня. Я ждал, что дед подойдет меня приветить, но он лишь угрюмо рассматривал меня. Я часто замигал и поправил ременной поясок.

— Здравствуй, дедушка! — прошептал я еле слышно.

Дед засунул руки в карманы.

— Здравствуй, — пробормотал он небрежно, круго отвернулся и направился к выходу. Сутулая его спина заняла двери почти во всю ширину, дед наклонил голову, чтобы не коснуться перекладины.

Я обиделся, тогда-то у меня родилось подозрение, что дед из староверов. Строгий, угрюмый, он тоже «спасается». Заснул я с твердым решением проверить свои подозрения...

... Дед мой в то время уже находился за штатами. Свою младшую дочь Анну он выдал «со взятием», с приходом, с домом, с землей. Зять его, Николай Иванович, отделил деду и бабушке угловую комнату, но строптивый и неуживчивый дед бабушку скоро от себя выгнал, она спала в темной передней, не решаясь к деду даже заглядывать. Деду пошло уже за седьмой десяток и с семинарской скамьи он не прекращал пить горькую. По семейным преданиям, вполне досто-

верным, дед отличался незаурядными способностями, и после семинарии его назначили в духовную академию, о чем за него хлопотал сам владыка. Едва ли не в первые дни своего в ней пребывания дед упился и пьяный с поленом гонялся за инспектором, изрыгая непотребные слова и пытаясь изувечить начальника. Деда немедленно из академии исключили и отправили простым дьячком в глухое село. Женившись и получив кое-как приход, дед продолжал запивать. Пил он угрюмо и одиноко, ни к кому из соседей не ездил, не ходил и редко кого принимал, разве только прихожан-грамотеев, да и то с большим выбором. И родных и духовенство дед открыто презирал. Сам я был свидетелем, когда он вмешивался в разговоры старших, если речь заходила о науках и искусствах. Лохматый, хмельной, он неожиданно появлялся в дверях, громко и грубо обрывал и своих и гостей: — «Болтуны, скудоумцы!.. Не дано вам, скорбные главою, помыслить об этом и... нечего зря языком трепать!..» — Он круто оборачивался, хлопал дверью. Про деда говорили, что он знает древних и новых философов и творения отцов церкви.

По селу и среди нашей родни ходило также довольно рассказов о пьяных причудах деда. С Николаевских времен в селе жили евреи, выходцы из черты оседлости. Права свои они получили солдатами в турецкой войне. Около базара, на задах, евреи заселили целый порядок. Они ссыпали хлеб, знали ремесла. Православное купечество жаловалось на еврейское засилье: у евреев было больше смекалки, торговых связей, да и крестьян они обвешивали меньше. Дед с купцами не ладил. Купцы считали его гордецом, пьянчугой, мрачным чудаком и самодуром. Чтобы досадить купечеству, дед свои обходы на Рождество и на Пасху начинал иногда... с евреев. В облачении он, дьякон и псаломщик истово славили Христа у Хазанова или у Канторовича. Хазановы и Канторовичи деда

принимали и, подобно волхвам, не скупились на сильные дары. На «чистую половину» дед, впрочем, к евреям не заглядывал, а скромно ограничивался кухней, где подпускал к кресту православных, кухарку и работника, хозяевам же говаривал: — «Шмуль, рабов твоих и рабынь я приобщил благодати. Ты же ее не достоин, ибо обрезан и употребляешь мацу. Однако разумей: куличи и опресноки не вера, а жалкое суеверие». — Неизвестно, что отвечали деду Шмули и Абрамы, но крещенные купцы, созерцая предосудительные обходы из окон своих домов или с крыльца, зеленели от обиды и унижения. Дед это знал и, заметив на улице кого-нибудь из местных тузов и добродеев, совершенно наглядно показывал им преогромный кукиш и, несмотря на изрядное подпитие, твердо и вовсеуслышанье через дорогу возглашал: — «На-ко, выкуси, стяжатель и спесивец! Раньше четвертого дня не приду, не жди!..»

Дед пил с утра, но не гнушался пить и вечером. Бабушка прошла с дедом путь поистине скорбный. Дед не был семьянином, хотя и прижил девятеро детей. Хозяйством он тоже не занимался. Между тем приход доходностью не отличался, к тому же дед многое и пропивал. Дети, кухня, хлебопашество, сад, огороды лежали на бабушке. Она обучала детей грамоте, помещала их в бурсу, в эпархиальное училище, готовила приданое, выдавала замуж, женила, нянчила внучат, упрашивала духовное начальство не давать ходу пьяным делам деда. В мое время бабушка вся согнулась, голова, руки, ноги у нее тряслись, и в глазах, глядевших в землю, застыла вековая забота, безрадостность жизни, оставшейся позади, усталость, великая усталость до самого конца дней. Точно рубцы ран, секли ее лицо крупные и глубокие морщины, и в бескровных, поджатых, дрожащих губах таились терпение и никому не высказанная горечь. Бабушка не умела и не могла сидеть сложа руки и с самого ран-

него утра неутомимо пересыпала муку, перебирала картошку, сушила сухари, сажала овощи, полоскала белье, топила печь, громыхала ухватами и чугунами. Пережила она деда лет на двадцать и в день смерти своей, хватаясь за столы, за стулья, за комоды, шаря руками по стенам, она вползла в кухню помогать младшей своей дочери. Холодеющими пальцами что-то пыталась делать и только скупо пожаловалась, что вот к глазам «подступила темная вода» и ей все «притчится словно бы в тумане». Спустя какой-нибудь час, она лежала бездыханная.

Дед редко выходил из своего логова. Там в шкафу у него стояла заветная посудина, тарелка с черным хлебом, с грибами и кислыми огурцами. Дед шагал, скрипя половицами, шумно вздыхая и густо откашливаясь. Если шагов его долго мы не слыхали, он, следовательно, читал; если хождение прекращалось не надолго, это означало: дед «подкреплялся». В шкафу, сложенные как попало, покоились книги в кожаных старинных переплетах. Страницы у них коробились, а буквы «т» и «ш» походили друг на друга. Читал дед книги с толстыми очками на носу в железной оправе, откинувшись к спинке неуклюжего, но добротного кресла, шевеля сумрачными бровями и не выпуская из рук табакерки. Заметив, что я наблюдаю за ним в приоткрытую дверь, он неохотно поднимался, я убегал из передней в столовую, дед запирал дверь на задвижку. Я боялся, что при встречах дед за подглядывание осрамит меня или даже «поучит» за ухо, но дед меня не замечал.

...Мы поселились от деда через дорогу, в невзрачном, с большой русской печью, домишке, похожем на простую избу. Мать заняла место просфорни. Место это нас троих еле кормило. Деда я стал видеть реже. Догадка, будто он из староверов, меня не покидала. Его одиночество, почти одичалость, загадочность подтверждали подозрения. Подозрения уводи-

ли в новые домыслы. Верил я им вполне или нет — решить трудно, но времени им я уделял довольно...

...В детстве мир раскрывается двойным бытием: он ярок и свеж, он овеян чистым и непорочным дыханием жизни, отпечаток непререкаемой подлинности, полноты, роста лежит на нем. И в то же время мир окутан выдумками, наполнен призраками, чудесным гулом незримых видений, звездным волшебством. Эти восприятия, полярные для взрослых, у ребенка живут по-братски, не угашая друг друга. Античный мир, мир человеческого детства, прелестный именно этим наивным сочетанием вымысла и действительности. Мы переживаем это теперь лишь на пороге бытия; позже сущее и возможное (или невозможное) теряют и свою непосредственную силу и свою наивную сопряженность...

...Мне представлялся дед уже не только старовером. По ночам он неслышно, тайно от домашних уходит на кладбище, где в голых, мерзлых ветлах страшно гудит и воет ветер, а по могилам стелется и дымится злая позёмка. Дед бормочет заклятья; встают в саванах мертвецы с пустыми черными впадинами глазниц, встают убиенные, умученные, встают нераскаянные грешники, отринутые людьми и Богом. Они скрежещут зубами, стучат костями, с воплями несутся над погостом, над полями, а дед все стоит и шепчет заклинания и наговорные слова. Седые пакли волос у него растрепал ветер. Мертвецы, вурдалаки, утопленницы готовы на деда наброситься, но ничего не могут с ним поделать: дед чернокнижник и старовер. Никто не знает о ночных странствиях деда. Знаю о них один я. Пусть взрослые считают меня маленьким, я хранитель ужасной тайны.

Исподтишка я следил за дедом глазами, должно быть, странными, и бабушка меня спрашивала:

— И что это ты, малый, все смотришь на деда, будто на чудо-юдо или на заморского турка?

Я скрытничал, я боялся — не догадались бы старшие о тайне...

Родные и мать ушли однажды в гости. Я с Лялей остался на попечении бабушки. Бабушка уложила Лялю спать, дала мне растрепанную «Ниву». Сама же отправилась к черничкам на село. Я шуршал в столовой листами и косился на дедовскую дверь. Дед — колдун; вот выйдет и схватит меня. От страха я уже не решался ни дотронуться до книги, ни даже пошевелиться... Дед и впрямь вошел в столовую.

Я замер и зажмурился.

— Скучаешь, или спать захотелось? — услышал я хриплый голос.

— Нет, ничего, — пробормотал я упавшим голосом.

— А ты петь умеешь?

— Нет, я петь не умею; меня не учили.

Я поежился от холода, повел пальцем по скатерти и через силу взглянул на деда. В голосе его я не услышал обычной суровости, скорее дед ко мне был даже расположен. Он держал табакерку и, рассеянно забирая табаку, задумчиво на меня глядел.

— Да, браток, — промолвил он и зашагал по столовой, зачем-то он трогал рукой стулья, стол, стены.

Походив, дед скрылся в своей комнате и подкрепился, после чего вышел опять и опять зашагал, скрипя половицами. На стене ходил маятник, качались гири. Неожиданно неглубоким басом дед запел песню об одиноком развесистом дубе. Я слышал деда поющим в первый раз и с первых же слов освободился совсем от страха. Дед поет при мне без взрослых; в этом увидел я к себе доверие. Слушая однообразный, старинный мотив, я пожалел деда хорошей детской жалостью. Мне тоже захотелось петь, и я неуверенно подтянул деду, выдумывая слова и удивляясь собственной смелости. Дед довел песню до конца,

подошел, положил ладонь на стол, похлопал ею, негромко спросил:

— Сказки знаешь?

— Сказки я знаю.

— Какие знаешь сказки?

Одним духом я пробормотал:

— Сивка-бурка, вещая каурка, стань предо мной, как лист перед травой...

— Ладно, ладно, — похвалил дед и полез в подрясник за табакеркой. — Ты петь учись! Человеку без песни, запомни, нет жизни. Без песни человек звереет, душегубом делается.

— А староверы, дедушка, тоже поют песни?

— Какие староверы?

Потупившись я ответил скороговоркой:

— Никифор маме рассказывал про староверов. Они спасаются в дремучих лесах.

— И староверы поют... — молвил рассеянно дед и стал опять шагать по комнате.

Походив, он затянул песню о «Вещем Олеге». Я вторил, старательно глядя деду в рот. Иногда я сбивался с тона, дед хмурился, но все же был терпелив. Пришла бабушка, дед точно обо мне забыл, ушел к себе. Укладываясь спать, я осудил себя за ошибку: дед на погост не ходит, мертвецов не вызывает. Он не колдун и не чернокнижник, но все же он — из староверов. Это, впрочем, не страшно.

С тех пор само собой повелось: как взрослые уходили или уезжали в гости, дед учил меня петь. Я обнаружил себя учеником не лишенным способностей, к сожалению, однако, скромных. Дед моими успехами был доволен, хотя наглядных одобрений почти никогда не выражал. Церковных песнопений он не любил: если у бабушки собирались чернички и начинали петь духовные молитвы, дед бурчал: — «Ну, заголосили!» — и плотнее прикрывал двери. Уважал дед старинные русские песни: про заросшие стежки-дорож-

ки, про ягоду-калину, про белые снега, про горе-злосчастье, про дивные терема. Знал он веснянки, масляничные песни, егорьевские, песни семицкие, свадебные, купальные. Но не они, не эти песни поразили тогда мое воображение. Этот старик, пьянчуга — поп в истертом подряснике, с трясущимися руками, с опухшим лицом и грязными паклями седых волос, певал еще много буйных и вольных песен про лиходеев и разбойников. И так свежо вспоминаю я и по сию пору необыкновенные дедовские песни и зимние вечера с ним, будто было это не сорок с лишним лет тому назад, а совсем недавно, и будто время не имеет никакой силы над прошлым.

...Окна запушены снегом, покрыты толстыми кромками льда. От лампы на льдинках тускло-зеленые отсветы. За окнами нетронутые сугробы, всепоглащающая ночь. Мир точно отсутствует и мы одни повисли в черной, в слепой бездне. Вещам у деда неприютно, никак не могут они у него обжиться, да их и немного у деда: деревянная кровать простой работы, без затей, облезлый шкаф, стол, кресла. В переднем углу, затканном паутиной, Никола Мирликийский, Георгий Победоносец, Сергий Радонежский. Чудится, они следят за мной. Дед все ходит и ходит в огромных валенках.

— Про Кудеяра.

Господу-Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Нам в Соловках ее сказывал
Инок, честной Питирим.
Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан.
Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу,

Вождь-атаман из-под Киева
Вывез девицу-красу...

В горнице бродят тени. Крупная голова деда расплывается в полутьме. Подрясник обвис, дед рассеянно теребит бороду. Поет он негромко, вразумительно. Мой голос сплетается с его басом подобно плющу вокруг старого, дуплистого дерева. Русь, старина, глушь, зеленая чудь... Церковный сторож медленно выбивает поздний час; удары колокола теряются в одичалых полях. Добрый очаг и ночлег всем странникам, бездомникам, всем, кто в пути, кто терпит от стужи и вьюги!.. А в расписных санях лихой разбойник мчит девицу-красу, прижав ее крепко к широкой груди. Взметая серебряные вихри, несется птица-тройка. Золотом, каменьями самоцветными горит при луне упряжь; сибирские меха запушены снегом. Темные девичьи косы свесились из саней... Но зачем нужна Кудеяру красавица? Говорят, добры молодцы целуют их. Меня тоже иногда целуют, и я целую родных. Приятного в этом мало. А Кудеяру-разбойнику и совсем не пристало миловаться с девицами: до них ли лихому человеку?.. В ночь-полночь округ Кудеяра бродят окровавленные тени. Леса ли то Брынские шумят, или то стонут души погибшие, души усопшие, отравленные, умученные, с черными зияющими ранами, с проломленными черепами, растерзанные, поруганные, молодые, старые? Много нагрешил Кудеяр!.. Много и долго надо замаливать ему злодейские дела!.. Уже не разбойник Кудеяр, а отшельник. Простым ножом по обету пилит он дуб в три обхвата: не спилить ему дуба до самой кончины. Трубят в лесу рога... Пан Глуховской... Пан похваляется перед Кудеяром своим богачеством, привольной жизнью, дородством, пан издевается над холопами. И Кудеяр забывает про обет... пан лежит в крови, и лежит рядом с ним дуб в три обхвата... Бог простил Кудеяра... — и взял

его на небо, точно пророка Илью, — мысленно прибавляю я от себя... Хорошо бы узнать у деда про девицу-красу и зачем ее целует Кудеяр! Но что-то мешает спросить об этом...

— Дедушка, на иконах Кудеяра-разбойника пишут?

Дед перестает ходить, с удивлением на меня глядит, хмурит брови, трет грудь.

— Чего это ты, малый, мелешь?.. Разбойников на иконах не пишут.

— Нет, пишут, — возражаю я уверенно. — На крестах пишут; рядом с Христом. — И лукаво гляжу на деда.

— Глупец, — отвечает сердито дед. — Тот разбойник Богочеловеку облегчал страдания смёртные и в него уверовал, когда его мучили. — Дед поднимает руку и, указуя пальцем на небо в окне, вразумляет: — Ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя... Разумей...

Спросить или не спросить, зачем Кудеяр лобзает девицу-красу? Не поворачивается и не поворачивается язык!.. Но, между прочим, непонятно, почему разбойника на кресте писать можно, а Кудеяра нельзя: Кудеяр, по-моему, лучше разбойника; недаром он зарезал пана Глуховского. Когда подрасту, обязательно тоже зарежу какого-нибудь злого пана, и мне простятся все мои грехи и я уйду в отшельники.

— Дедушка, какие бывают отшельники?

Дед стучит скрюченными от старости и водки пальцами по табакерке.

— Не дорос еще понимать такие дела... — Запахнув плотнее подрясник, он опять шагает по горнице и, как бы забыв обо мне, вслух размышляет:

— Одному и свет цельный мал бывает. И в столицах, и по заграницам шныряет, и по морям плавает,

и на горы взбирается, повсюду мыкается, а видать — ничего не видит. Мир через него, как вода через сито... От таких людей добра не жди... Обманет, продаст, надругается; такому все нипочем, потому — мир для него мертвый... А другому и клочка земли премного довольно: хорошо и в лесу под сосной. Прозрение имеет и в кусте зеленом, в звериной норе больше видит того, кто неприкаянным по миру шатается. В малом раскрывается ему такое, что сто лет пиши — не опишешь. Все ему — в радость, в утешение и в поучение. Такому по свету слоняться незачем. И зла никому не сделает... Жизнь чувствует... Думаешь, отшельники в одних кельях коротают сроки да в монастырях? Повсюду они, и в городах, и в весях, и среди нас, грешных... не лезут только наперед; мразь еще разная над ними похваляется... Это бывает, на этом мир держится... Мразь, она, брат, живуча, она сраму не имеет.

— Дедушка, а ты не из отшельников?

Дед жует жесткими губами, закрывает глаза, затем, странно на меня взглянув, медленно говорит:

— Какой же я отшельник... простым попом всю жизнь проторчал... Только и всего...

Деду будто хочется еще что-то сказать, но он воздерживается, подходит к шкафу, одним глотком опорожняет стопку, берет корку хлеба, нюхает, кладет ее обратно и вытирает рукавом рот. Я не верю деду: он отшельник и только со мной хитрит...

Еще поем мы песни, — поем про молодца, как загубил он жизнь свою из-за дворянской дочери, — про одинокий утес Степана Разина, — про удальца, которого покинула румяная и белая красавица, ушла к купцу в хоромы, и лихачу-кудрявичу осталась одна лишь дорога на каторгу в Сибирь; поем про девицу, — страшно ей выезжать из дому: за лесом сторожат разбойнички, а певень бьет крылом, предвещает беду; поем про Волгу: не спеши ты, красна девица,

постой, дай мне радость побеседовать с тобой; Волга-матушка бурлива, говорят, — под Самарою разбойнички сидят, а в Саратове дивчины хороши... — За окном — древне-русская, ушкуйная ночь, ночь кровавых озорных дел, последних смертных счетов, поножовщины, ночь бездомовых шатунов. Может быть, вон там, в роще, в камышах — замкнули они пути-дороги, ждут запоздалых путников... Сейчас стукнут в окно, звякнут щеколдой, ударят топором в двери... а село вымерло, огней не видать, избы занесены снегом, кричи, не докричишься. Деревня грезит русскими повидками-сказками... С надеждой гляжу я на деда: он не даст в обиду... Нужно скорее вступить в шайку разбойников, тогда меня самого будут бояться. Одна беда: худо расту. Завтра смеряю себя дома у притолки: там угольком сделана отметина. Бывает, за ночь вытягиваются на целую четверть... А дед один уж напевает: — Но, увы, нет дорог к невозвратному, никогда не взойдет солнце с запада... — Ах, дедушка, дедушка! Охотно подошел бы к тебе и прижался, но очень уж суровый ты такой!..

Разбойники не давали покоя. Однажды я спросил деда:

— А Христос тоже был из разбойников?

Страсти Христовы, рассказанные бабушкой, поразили меня; несколько дней я о них только и думал. Я решил молиться одному Распятому, возненавидел саддукеев и фарисеев, но и тут ухитрился понять все по-своему.

На мой вопрос дед опешил, долго качал головой:

— Это откуда же ты узнал об этом?

Я обстоятельно ответил:

— Христос водился с блудницами, блудницы все разбойницы.

— Почему же блудниц ты считаешь разбойницами?

Слушая в церкви и дома евангелие про блудниц, я долгое время недоумевал, чем они занимаются, и

решил, что они блуждают, убивают и грабят. Поэтому я сказал:

— Блудницы шатаются с оборванцами. У них у всех вострые ножики... Христос с ними водился, за это его и повесили вместе с разбойниками. У него тоже была своя шайка, в нее входили мытари и апостолы.

Дед подошел ко мне вплотную, я съежился; он наклонился, постучал мне в лоб небольно костяшкой пальца:

— Дурень ты этакий, право, дурень!.. Вавакаешь, что попало.

— А что не попало? — не утерпел я ввернуть словцо.

Дед отступил на шаг и погрозил мне, без особой, впрочем, строгости.

— Не перебивай старших дурацкими вопросами. Постигай: и мене древом крестным просвети и спаси мя... Означает: страданием, мукой за других, а не себялюбием, не сытной жизнью спасены будем... А ты что болтаешь?..

Сбитый с толку и разочарованный в своих догадках я молчал.

— Иди и помолись на сон грядущий; попроси у Бога прощения!

Дед подошел к шкафу.

... Я научился читать. В руках моих уже побывали: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Братья-разбойники», «Юрий Милославский», «Князь Серебряный», «Ванька-Каин», «Орлиха», «Танька-наездница», «Тарас-Черномор», повесть о том, как солдат спас Петра Великого, приложения к «Родине». Представлялись Кремлевские стены, царь-пушка, царь-колокол, пытошные башни, лобное место — и рядом — повольщина, ушкуйники, разбой... Я обладал чутьем находить нуж-

ное и даже «Жития святых» ценил потому, что иногда в них рассказывалось о грабителях и душегубах. Мать, бабушка, дядя Николай хвалили меня, когда видели за «Житиями святых». Поощрения я принимал охотно, но лукаво помалкивал и уж, наверное, втихомолку посмеивался над старшими.

Вставали крутые волжские обрывы, покрытые дубняком, соснами. По тропам и проезжим дорогам раскиданы дозоры и заставы. От ночной тьмы Волги не видно. Ударит хвостом щука, да трутся бортами боевые челны и струги, да влажно плещется и струится вода. Зловеще гукает филин. Куда взглядом ни кинь, повсюду первобытный мрак, ни огонька, ни запаха человечьего жилья. Волга!

Волга-красавица, кормилица, поилица, матушка, укрывательница, пособница! В поволжских просторах раскидывались кочевья скифов, оседали сарматы, слышался гул от чугунной поступи гуннов; хозары и болгары уводили неисправных данников; от набегов половцев и печенегов тянулся смрадный черный дым, полыхали оранжевые буйные пожарища. Татары, чуваши, черемисы, башкиры, вятичи, поляне, северяне, калмыки, карелы, мордва, вотяки, казаки, ненцы шли ордами, утверждали себя в непрерывных, в кровавых побоищах, в резне, теснясь, прибивались к Волге, сбрасывали друг друга с круч в мутные, в непокорные воды, отгоняли побежденных в степи, в пески, в леса, в глухомань. Здесь собирались вольные дружины, шайки, ватаги, искатели мужицкой правды, сектанты, кабацкие завсегдатаи, бегуны от правежа, от владетельных и жалованных самодуров, от службы царской, от крепостной недоли. Гремели мятежами, восстаниями Некрасов, Булавин, Степан, Емельян, угрожая самой Москве. Волга обросла поверьями, сказаньями, преданьями, обвеяна песнями, былями. Непокорство, бунты, разгул, злоба, месть! — Сарынь на кичку!.. Гей, соколы!.. Запал трави!.. Тащи его бородатого, сымай

кафтан!.. За хрестьянство честное, за волю, за долю!.. Поминай лише Москву, гуляки и бражники!.. Эх ты, правда государева, правда пытошная, под батогами, под длинниками, под линьками, подлинная правда, правда подноготная, когда вгоняют гвозди под самые ногти!.. Велики российские земельки, широка мать Волга, не объять ковыльных степей, не пройти лесов заповедных, да коротка разбойная песня: сколь ни гуляй, ни кружись, ни вейся коршуном, а от судьбы не уйдешь, судьба же родная — она качается на перекладине либо рубит голову напрочь...

Ночь над Волгой... В рудо-желтых отсветах костров, в потаенном мерцании огней, скрытые от продажных царевых глаз, от строчил и доносителей черными уснувшими дубравами, коротают беспокойные часы отверженные «великия, и малыя, и белыя Руси»!.. Кто примостился на бревнах, на пнях, на корягах, кто валяется на траве, кто храпит во все носовые завертки, кто ведет тихую беседу. Смех, прибаутки, балагурство, ядреная, круто посоленная речь. Иные уставились на костер, задумались, забылись, руками подпирают головы. Чистят оружие, поют, пьют. Какая пестрота, какая смесь одежд и обличий! Сермяги, зипуны, ферязи, жупаны, рваные полушубки с клоками шерсти, бархатные кафтаны с чужого плеча, посконные рубахи, плисовые шаровары, парча, шелк, кожухи, поддевки, синие, красные кушаки, стрелецкая одежа — обувка, лохмотья, шапки меховые, шапки запорожские набекрень, непокрытые кудлатые головы с волосами колтуном, самоцветные камни на пальцах, заскорузлых от грязи, скатной жемчуг, сафьян на ногах и — рядом стоптанные лапти, другие и совсем босиком. Топорища, пики, кривые сабли, ятаганы, ломы, самопалы, вилы, косы, кинжалы с узорчатым серебром, пистолеты, клинки, кистени, шкворни, дубины... Сброд, лиходельники, отпетые души, песельники, мрачные отступники, смутьяны, шатуны, висельники, воры, головорезы,

смирные, обиженные мужики, бродяги, дворовые людишки, кандальники, враги щепоти. Старики, молодые, пожилые, степенные... Успели отведать батогов, железных наручней, ошейников, колод, биты и перебиты, рваные ноздри, позорные клейма, обрезанные уши, головы, бритые наполовину, рубцы, раны, болячки. На бочке поп, старик-пьянчуга с табакеркой в руках, в зеленом подряснике. Валялся он по кабакам, по базарам, а теперь правит ворью церковный круг... Вино, мед, хмельная брага. Возы со снедью... Брешут лисицы, поднимается над лесом месяц-серебряные рога, бродит чудь...

— Знать не в радость в тот век жизнь народа была, коль бежал человек из родного села... — Ни родных, ни близких сердцу... И помянет ли кто добрым словом после лихой смерти-расправы, или будут проклинать ежегодно с амвонов в церквах да пугать детей, да думать с удивлением, с отвращением и ужасом: бывают же вот от обыкновенных и справных отцов и матерей люди — не люди, а изверги и изуверы, пропащие головы!

Забушуй же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка,
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку!..

... Не было, понятно, в те годы у меня этих слов, но свое восприятие старой Руси, надеюсь, передаю я достоверно. Я видел разбойников во сне, думал о них, едва просыпался. Играл я тоже чаще всего в разбойников...

... Вспоминаются мне также, и именно с дедовскими песнями вместе, зимние супрядки в кухне: что-то мирное, деревянное и домовитое, стародавнее, родное, простодушное. И были мне милы и убогость кругом, и неторопливость, и успокоительная скука... От старой-престарой русской печи с лежанкой, с печурками

и загнеткой идет ровное, духовитое, хлебное тепло. Пахнет нагретой глиной, кирпичом, колбасой из свиных кишек с гречишной кашей. Дивную колбасу делала бабушка! Давным-давно с детства не едал я такой колбасы... Бабушка за прялкой. За прялкой и странница Наталья, а у стола замешивает тесто кухарка Татьяна. Тесто пыхтит, фыркает, как древний кухонный бог. Кухня скудно освещена; по стенам, по столу бродят тараканы, полати заняты николаевским «кавалером» Иваном. Он свесил ноги, кряхтит, что-то бормочет. Наталья, в который раз, рассказывает мне сказку про Аленушку-сестрицу и про братца Иванушку: — Горят в лесу костры горючие, кипят котлы кипучие.... — По просьбе Татьяны, она повторяет материнский заговор сына от тоски в чужой стороне:

— Стала я среди леса дремучего, очертилась чертою призорочною... А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким укрыт от силы вражия, от нечистых духов, сбережен от смерти напрасныя, от горя, от беды сохранен, на воде от потопления, на земле от сгорения. А придет час твой смёртный, и ты вспомяни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про нашу соль-хлебушко, обернись на родину, ударь ей челом, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным...

...Жужжат веретена, долог зимний деревенский вечер... Синим цветом загораются в лесу кусты папоротника, дикого хмеля. Огни вспыхивают, исчезают, вновь зажигаются, движутся, призрачно мелькают в чащобах меж деревьев. От топких болот тянет тонкими, ядовитыми и дурманными испарениями. Серебряным звоном звенят из-под земли колокольчики. В глыбах ночи едва-едва выступают мохнатые, мшистые ветви, кто-то выглядывает дикими озорными глазищами. Все насторожилось тревожно. Вот-вот содеется страшное, смертельное, невозможное. И в кухне бродит сказка.

Гудит однообразно колесо прялки, вьется, сучится белая нить, кудель похожа на древнюю лунь. Колдует печь, рогачи, ухваты, кочерга, чугуны, таганцы, полати, загнетка. На полу, выгнув спину, серый котенок играет клубком. Ушастая, пузатая лохань, допотопное чудище, добродушно распялила хайло... Шуршат за печью тараканы, охает Иван... Нето явь, нето сон, и живем мы будто не настоящей жизнью, а прошлой... И так хорошо незаметно для себя и для других уснуть. Сонного перенесут на кровать, и смутно будешь чувствовать, что тебя раздевает и накрывает одеялом заботливая мамина рука, и тогда опять придет желанное забвенье...

О, русские повидки!..

...Прошел слух, что в окрестностях гуляет Василий Чуркин. Беглый арестант из-под Богородска, Чуркин сначала орудовал во Владимирской и Московской губерниях, затем перебрался в края, смежные с нашими. По ночам двери в доме Николая Ивановича стали на подмогу щеколдам подпирать кольями; с опаской и с предосторожностями ходили проверять скотину. Мама плотно завешивала окна и закладывала их подушками. Рассказывали, будто Чуркин вырезал больше сорока человек; полицию и сыщиков он дурачил, разбивал целые воинские отряды, менял обличье, ходил неузнанным на базарах, выглядывая очередные жертвы. Не раз ловили Чуркина и сажали под крепкие запоры, но он убегал, и про разбойника говорили, что он знает вещие наговорные слова. Признаюсь, хотя и готовился я в разбойничьи атаманы, но рассказы о Чуркине меня напугали. Я боялся оставаться один в темной комнате, уходить далеко от дома за овины и скирды и, когда, забывшись, я все же забегал дальше положенного и вспоминал тут о Чуркине, то задавал такого стрекача, что ничего не видел кругом себя и сердце колотилось под самым горлом. Я не

был правдив и честен с собой и убеждал себя, будто я боюсь Чуркина «нарочно».

За вечерним чаем дядя заметил, что Чуркину помогают крестьяне-бедняки. В деревнях у него есть соглядатаи и даже есть они и среди полиции. Поэтому-то и неуловим Василий Чуркин. На другой день утром, перебегая дорогу, я встретил старика Питерского. Питерский, бедняк из бедняков, не имел ни лошади, ни даже коровы, жил в хате с раскрытым верхом, вместо стекол в кривых оконцах торчало грязное тряпье. Питерский не сеял, не жал, держал один огород, и непонятно, как и чем он перебивался. Был он к тому же пьяница, пил почти ежедневно и, если не валялся в канавах, у плетня, то выходил на дорогу, задирал проезжих, обличал их и спуску им не давал. Кстати сказать, помер он недавно девяноста трех лет... Расставив широко ноги, босой, в исполосованных дырявых портках и в рубахе без пояса, успев вываляться в грязи, Питерский поносил на этот раз «жеребячью породу».

— Ха, — орал он на весь порядок, мотая головой и разводя руками, точно он плавал. — Ха... служители, старатели перед Богом... Сады развели... в рай нас, мужиков, охота посадить. А я, может, не хочу в рай... Вы у меня лучше кур с нашеста не таскайте да в закрома глазищ своих не запущайте. Я сам хочу драчону есть в красном углу и с полным уважением. Пастыри! На кой лях вы мне сдались? Я сам пастырь, потому сорок пять лет пас коров и свиней! Начхать я хотел на вас, на долгогривых дьяволов. — Питерский смачно плюнул, — А Чуркина, например, не желаете, не ндравится?.. А я может с ним за ручку! Мое почтение, Васенька! Мигну глазом, а Васенька — вот он... укоротит вам космы.

Я старательно обошел Питерского. Ругань его, вчерашнее замечание дяди вызвали новые думы. Чуркину помогают мужики; недаром Питерский хвалится

знакомством с ним. Значит — мужики сами разбойники, либо сродни им. Чуркин за мужиков, мужики за Чуркина. Чуркин грабит богатых, делится с мужиками награбленным, а мужики его хоронят. Одна шайка. Напрасно искал я разбойников в заповедных лесах. Они здесь, около меня. Но каков есть человек разбойник? Образ двоился. Порой казалось, разбойники — простые головорезы и душегубы. Им любо мучить людей и убивать их. Но вставал смутно образ народного мстителя, беспощадного, со своей правдой. И подобно тому, как раньше вглядывался я украдкой в деда и подозревал в нем то старовера, то чернокнижника, искал я теперь в мужиках разбойных людей. И я уже не верил тому, что видел, а верил тому, чего никогда не видал. Село тянулось кривыми порядками и проулками. Нищие избы, полусгнившие риги, мокрые скирды, ометы, овины, ветлы. Село прело и гнило в болотах и в непроходимых трясинах, в камышах, в осоке, в кочках. Насмерть увязала в них скотина, и после дождей на улицах не вытянуть было ноги из липкой и жирной грязи, а на базаре даже в июльские жары никогда не просыхали гнойные и зловонные лужи. Жизнь тоже была грязная, болотная, задремавшая на старой завалине. Известно, что будет завтра, спустя месяц, год. И ждать словно бы и нечего. Недалече погост, от него не уйдешь, как не уйдешь от земли, пашня требует к себе мужика, его досуг, его все помыслы; а радость, а счастье — где оно? За горами, за долами. Старые люди верно говорят: хорошо там, где нас нет. И говорят еще те же старые люди: не в свои сани не садись, не нами заведено, не нами и кончится... А может быть все это и неправда? Солома — не солома, хата — не хата и мужики — не мужики... Сосед, Иван Петров Ветелкин, хитрит, утверждая, что порезал руку косой, взаправду же ему тяпнули по ней, когда он с товарищами грабил коробейников или прасолов. Многое не видится по-настояще-

му с первого взгляда: в болоте за домом будто одна вода, кочки да камыш, а присмотришься — и утку-кубанку увидишь, и бученя, и коршун взметнется.

...Принято думать: воображение уводит от жизненной правды. Да здравствует трезвая наблюдательность, число, мера и вес! Что и говорить — превосходные, бесспорные вещи, но не надо забывать, что опыт связан с воображением. Когда эта связь нарушается, опыт обескрыливается, воображение теряет почву. Истина постигается в опыте, но с помощью воображения. Однажды человек помыслил, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг солнца. Человек пришел к такому выводу, руководствуясь новым кругом наблюдений, но мог ли он придти к открытию, не обладай он творческим воображением? Нет и нет! Воображение для опыта то же, что семена для растений: без него опыт не дает ни цвета, ни плодов. Сплошь и рядом воображение предвосхищает истину, и наш опыт был бы жалким, он был бы обречен на крохоборство, если на подмогу ему не приходило бы наше могучее, беспредельное, вдохновенное воображение. Человек поднялся с четверенек, когда он нечто вообразил...

В далеких моих детских домыслах, навеянных песнями деда, рассказами, книгами, много было наивного, невероятного, и все же в них, в этих выдумках, прозревалась некая правда. Искони низовая Русь шла бунтами, мятежом, расколами, буслаевщиной. «Подлая» Русь укрывалась по сечам, по степям, по лесам и горам, по скитам и кабакам, жила в разбое, в расправах над боярами и купцами; в самозванстве, в подметных грамотах, в отложениях и восстаниях. И когда даже все казалось спокойным и холопы покорно терпели ярмо, — даже и в ту пору народная Русь жила в тихом и непрерывном бунте... И так прочно укрепились во мне детские мои вымыслы, что и потом, в возрасте более зрелом, никогда не воспринимал я на-

род безропотным и смиренным. Я не верил прекрасным нашим писателям, умилявшимся мужицкой покорностью, кротостью, незлобием. Озорник, забулдыга, пропащий бродяга, забубенная голова были мне ближе Платона Каратаева. Смутно я чувствовал, народ живет своей сокровенной правдой и правду эту хоронит до времени, до общего клича и вселенского набата!..

...В старой нашей церкви, у правого клироса, на низком поставце угрюмо и зловеще темнела большая икона Черного Спаса. Толстую доску источили жуки и черви, краска потрескалась, облупилась. Икону густо покрывали въевшиеся копоть и пыль. Лик Черного Спаса, полустертый, был мрачен и грозен. Из густой, древней тьмы неясно выступала огромная голова, изборожденная гневными морщинами и обрамленная волосами с мужицким ровным пробором. Темная позолота нимба едва-едва просвечивала. Иисуса обычно изображают синеглазым, но глаза у Спаса были черны, смотрели тяжело, в них чудилась осенняя бесприютная ночь, мрак, готовый хлынуть сплошным потоком и поглотить собою. Неподвижные глаза приникали прямо к сердцу, от них было некуда скрыться. Они не прощали ни предательства Иуды, ни моления о чаше, ни позорного креста. Брови нависали подобно каменным сводам подземелий, таили в себе лесные чащи, таежные дебри и лоб напоминал грозовую тучу. Ни одного намека на христианское милосердие, на жалость, на любовь, на снисхождение; только на правой щеке пролегал след, точно от высохшей, от скупой и едкой слезы, но и он лишь усиливал беспощадную решимость закаменевшего лица, когда уже все испепелено, кроме воли к отмщению. То был настоящий Черный Спас, земляной мужицкий Бог, Бог курных изб, черствого хлеба, полатей, лучины, русской печи, Бог тяжкого труда, страды, мужицкого гнева, вил и дреколья, топора и кистеня, темный Бог деревни,

воплотивший в себя безымянную, скрытую в глубине веков, орошенную потом и кровью историю народа русского...

...Перед иконой Черного Спаса в обедни и всенощные жарко горел густой венец свечей; горела лампада зловещего, темно-зеленого цвета. Икону часто «поднимали» на поля и в избы. Со страхом глядел я на нее и взял себе за правило перед уходом из церкви непременно к ней прикладываться; я просил Черного Спаса на меня не гневаться и помочь стать неуловимым и страшным разбойником.

...Дед скончался от удара. В первые дни болезни меня к деду не пускали, и, чтобы его увидеть, я все вертелся в прихожей, стараясь заглянуть в дверь, когда ее открывали. Наконец бабушка сказала: надо проститься с дедом, и я, старательно обдернув рубашку, с опаской переступил порог его комнаты. Два зайчика дрожали и гонялись друг за другом на стене. Дед лежал под пестрым стеганым одеялом, широко и безвольно раскинув ноги. Крупная его голова, в желтых разметавшихся по подушкам лохмах, была откинута назад. Я увидел закрытый глаз, другой, большой и круглый, упирался в потолок. Меня дед будто не заметил, его окружало пустое, тяжелое молчание. Рот у деда перекосился, лицо еще больше оплыло, борода стала чужой. Круглый глаз стеклянно, по-птичьи, не мигая, все смотрел в потолок, правая бровь была удивленно приподнята. Не в силах больше вынести безмолвия, тихо, с дрожью я спросил:

— Дедушка, что с тобой?

Дед остался безучастным, точно заключенный в некую невидимую тюрьму, которая отделяла его и от солнечного зимнего дня, и от меня с бабушкой, и от всего мира. В столовой за дверью мерно и звучно ходил маятник, и его тиканье почему-то казалось страш-

нее и несноснее всего. Пересохшим голосом я прошептал:

— А я, дедушка, катался с горы на ледяшке. Ледяшку мне сделала Прасковья.

Дед слабо пошевелил пальцами, с мучительным усилием повернул голову, круглый глаз задержался на мне. С него точно спала тонкая пленка, он стал осмысленным. Медленная судорога исказила лицо деда, отвалилась нижняя челюсть, и в открытом рту я увидел язык, лиловый, толстый, он лежал там лишним обрубком. Что-то захрипело, заклокотало в горле деда, на лбу выступила испарина от усилия, дед замычал, а язык попрежнему не двигался.

— Аля... ля... Аля... ля... — выдавил дед, наконец, из себя через силу.

Меня потряс этот лепет, невразумительный, нечеловечий, жалкий.

— Аля... ля... Аля... ля... Аля... ля..., — силился что-то вымолвить дед и шарил руками по одеялу, будто ими он искал нужные слова. Слова не находились, и дед упорно твердил этот единственный, еще не потерянный им звук...

Я не сводил глаз с языка... Ах, дедушка, не петь нам больше разбойных песен долгими вечерами!.. Все живое жаждет ходить, бегать, кричать, говорить. У меня есть солнце, снег, игрушки, книги. А у деда ничего этого больше нету. Он умеет теперь только мычать. И это и есть смерть.

И я испытал острую радость, что я живу, и превосходство над дедом. И сейчас же мне стало за это чувство стыдно. Дед находился во власти некоей темной и беспощадной силы. Я сделал движение горлом, чтобы удержаться от плача. Дед, видимо, это заметил,

он еще больше повернул ко мне голову и, повторяя свое: Аля... ля... Аля... ля... Аля... ля... — пристально смотрел на меня одним глазом. В этом взгляде он собрал тоску, страдание и надежду. Дед ждал от меня, ребенка, помощи и молил о пощаде. Я весь содрогнулся от ужаса.

— Дедушка, ты еще будешь здоров! — пролепетал я, отвечая на его нестерпимый взгляд. Не зная, чем помочь, и жаждая помочь, я наклонился к деду, взял его за руку, теплую, рыхлую, словно лишенную костей, и трепетными губами ее поцеловал.

— Аля... ля... Аля... ля... — ответил дед на своем птичьем языке.

Бабушка тронула меня за плечо и вывела из комнаты.

Дома я забрался на лежанку и долго плакал. Вечером сказал матери:

— Я никогда, мама, не помру.

— Все помирают, дурачок, придет смерть, и помрешь.

Я упрямо объявил:

— А я никогда не могу померереть. Придет смерть, а я ей не поддамся.

Дед скончался ночью.

На похоронах мне вдруг почудилось, что дед не умирал, а отпевают кого-то другого. Чувство это было настолько сильное, что я не мог больше с собой совладать, незаметно продвинулся ближе ко гробу и заглянул в него. Дед лежал на белой жесткой подушке, с черными ноздрями. Я отодвинулся от гроба. Но опять я усумнился в смерти деда и во второй раз приблизился ко гробу, долго и упорно вглядывался в

труп и, когда возвратился на место, все же не верил, что в гробу мой дед, тот самый, с которым мы певали песни.

После похорон меня занимал вопрос, куда пойдет дед: в рай или в ад. Выходило — в рай. Дед был священником. Правда, он много пил, но он стоял за бедных, за разбойников. В каком виде, однако, дед попадет на тот «свет»: молодым, средних лет или стариком? Я спрашивал об этом старших, но им было не до меня, про себя же я решил: деду жить на том свете, примерно, тридцатилетним: старикам и в раю не сладко, «маленьким» тоже часто неважно живется, попадает от старших.

Я узнал о деде много новых подробностей. Деда мужики переносили лучше, чем других попов из округа, он ни к кому не подлаживался и ни к кому не подслуживался: начальства, и светского и духовного, терпеть не мог, ни разу не явился в епархию к архиерею и был там на плохом счету не столько из-за пьянства, сколько «из-за гордыни». Помещики деда тоже не любили, считали его грубияном, строчили на него доносы и даже подозревали в крамоле. Говорили еще родные, что быть бы деду не простым захолустным попом, а ученым, да сгубила его среда да русское зелье. Я охотно запоминал эти разговоры о деде, но удивлялся, почему его хвалят после смерти и почему его осуждали и не берегли, когда он был живым.

Могила деда находилась поблизости, за оградой, в церковном саду. Весной и летом я часто заглядывал туда с Лялей. В солнечные дни от цветных окон алтаря на сочную и мягкую могильную зелень ложились кружки, синие, желтые, красные, дымчатые, веселые, живые. Я закрывал глаза, и от солнца делалось горячо векам, меня целовала полуденная красавица. Я вспоминал песни деда, может быть, единственное после водки, что доставляло ему отраду. Шагах в пятнадцати, под высокой грушей, темнела чугунная плита с

надписью: — «Здесь покоится тело купеческого сына и степенного гражданина...» — Я не люблю ни этой мрачной плиты, ни этой надписи, и был доволен, что на могиле деда лежит простой, горючий камень, едва обтесанный, и что дед не степенный. Я играл с Лялей в несложные детские игры; мы ловили божьих коровок, бабочек, жучков. Я рассказывал сестре небылицы, часто тут же их и выдумывал, пугая Лялю мертвецами. От страха у ней расширялись глаза, она бледнела, на нее глядя, и сам я пугался. Над нами плыло облако, думой-раздумьем плыл вечерний звон, голубело небо, застывшее в необъятном размахе и взлете, такое же непреложное и верное, как и могила нашего беспутного деда.

(«Бурса», из-во «Современная литература», 1933 г.)

А. ЛЕЖНЕВ

Заканчивая свое предисловие к седьмой книге «Ровесники», А. Лежнев пишет:

«Для нас социализм — не огромный работный дом, как это представляется маниакам производственничества и поборникам фактографии, не унылая казарма из «Клопа» (пьесы В. Маяковского), где одинаково одетые люди умирают от скуки и однообразия. Для нас это — великая эпоха освобождения человека от всяких связывающих его пут, когда все заложенные в нем способности раскрываются до конца. Для нас она не окрашена в серый цвет, но наполнена теплом и светом. И мы хотим, чтобы отблеск его проник и в нынешнее искусство, чтобы оно озарялось не только газетными лозунгами текущего дня, но и великими идеями времени. Ибо мы не ожидаем гибели искусства, но думаем, что пора его настоящего цветения только наступает. И мы полагаем, что уже сейчас надо начать работать над этим большим и радостным искусством, которое полным голосом сумеет повторить слова Бетховена: «Какое счастье прожить тысячу раз жизнь!»

Лежнев, наперекор всему, абсолютно верил в действительный и действенный социализм, долженствующий освободить не какое-то отвлеченное человечество, а каждого отдельного человека «от всяких связывающих его пут».

А. Лежнев — литературный псевдоним Абрама Захаровича Горелик. Родился Абрам Захарович в 1893 году. Он выходец из Белоруссии, из среды бесправной еврейской бедноты, ютившейся на окраинах России. Его преданность социализму не случайное увлечение, — заветную мечту освобождения человека он принес из самых глубин своего безрадостного детства. Еще до революции он примыкал к меньшевикам, но затем остался на всю жизнь беспартийным марксистом.

Лежнев, несомненно, принадлежал к вымирающей ныне категории людей с больной совестью, для которых в вопросах добра и зла не существовало никаких компромиссов и полутонов.

Выглядел он значительно старше своих лет. Низкорослый с болезненно бледным цветом лица, с голым, лишь слегка обрамленным венчиком седеющих волос, угловатым черепом. Гла-

за темные, в которых чувствовался быстрый, острый ум и в то же время какая-то девичья стыдливая страстность.

Таких людей, каким был Абрам Захарович, в общежитии принято считать чудаками. В нем совсем не было какого-либо корыстолюбия, ни даже авторского честолюбия. Когда после своих критических работ, в 1930 году, Лежнев впервые принялся за художественные очерки, он волновался, как ребенок, бесконечно советовался с Катаевым, Зарудиным и Слетовым. Жаловался, что, повидимому, у него нет никакого дарования для художественного письма. Читая отрывки из своих «Белорусских очерков», он просил своих соратников по «Перевалу» судить его работу совершенно беспощадно.

К вопросам нравственной чистоты, морали и особенно ко всему, что касалось справедливости личной и общественной, он был болезненно чуток, отсюда его страстность в полемике с представителями ВАПП'а. Но в своей нервной запальчивости, в своих всегда остроумных и ярких выступлениях Лежнев все же оказался беззащитен, так как из года в год становилось все яснее, что то, что «Перевал», и в частности Лежнев, называл вульгаризаторством марксизма, подхалимством и делячеством, не было явлением случайным, а вполне закономерным результатом внутренней политики большевистской партии.

Нападки Лежнева на бездарные, фальшивые произведения, казенная критика воспринимала как «высокомерное третирование пролетарского искусства». Литературная энциклопедия, которая начала выходить в 1927 году, все статьи о писателях «Перевала» дает с резким осуждением политических взглядов этой группы, и все же даже у Воронского Литературная энциклопедия отмечает некоторые заслуги, но статья о Лежневе более напоминает донос в НКВД, нежели какую бы то ни было литературную оценку его писательской деятельности. Объясняется это тем, что том энциклопедии на букву «Л» вышел только в 1931 году, то есть ко времени наиболее ожесточенной травли «Перевала».

В статье этой, прежде всего, акцентируется, что Лежнев примыкал к социал-демократам — меньшевикам, даже без упоминания времени, когда это происходило. Его принадлежность к меньшевизму показана следующим образом:

«Воззрения Лежнева на литературу и искусство целиком исходят из меньшевистски-ликвидаторской политики Троцкого — Воронского, в отношении пролетарской культуры, в частности искусства и литературы. Эстетические и литературные взгляды Лежнева эклектичны и в основе своей идеалистичны, поскольку они определены старыми буржуазными (Кант, Шопен-

гауэр, Бергсон) положениями о бессознательном, интуитивном, иррациональном характере художественного творчества. Эти установки приводят Лежнева к крайне реакционным выводам; ратуя за бестенденциозное искусство, Лежнев призывает писателей к искренности. Лозунгом «искренности» Лежнев заранее оправдывает всякое контрреволюционное произведение».

Затем в статье говорится, что «проблему видения» Лежнев полностью воспринял от Воронского. И дальше снова о неблагонадежности, реакционности и антипролетарской устремленности литературных высказываний Лежнева.

«Выступая будто бы против схематизма Лефовской фактографии, Лежнев на деле яростно борется лишь с пролетарским революционным искусством, которому он в целом бросает обвинение в «сальеризме». Он свысока третирует пролетарское искусство.

Лежнев известен как «теоретик» лозунга «нового гуманизма», с которым выступил «Перевал» в 1929-30 году. В период обостреннейшей классовой борьбы этот лозунг объективно выражал сопротивление буржуазных элементов города и деревни развернутому социалистическому наступлению рабочего класса.
Защищая в своих теоретических и полемических статьях реакционные тенденции современной литературы, Лежнев неустанно борется с воинствующей марксистской критикой».

Подобная характеристика в государственной литературной энциклопедии являлась хотя и предварительным, но вполне официальным приговором и никакому обжалованию не подлежала. А потому для Абрама Захаровича оставалось только два выхода: либо принести покаяние и признать свои «преступления», (что тоже далеко не всегда спасало положение обвиняемого) либо смиренно ждать соответствующих организационных выводов.

Лежнев, по всему складу своего характера, не мог признать себя злоумышленником и врагом революции. Он продолжал надеяться на какую-то высшую социальную справедливость, попрежнему объясняя все эти злоключения происками грязных людишек из ВАПП'овского лагеря.

В личной жизни Абрам Захарович был человеком тонкой и деликатной души. К своим соратникам по «Перевалу» он относился с большой нежностью, любовью и доверчивостью. Наибольшей дружбой Лежнев был связан с Воронским и, быть может, еще теснее с Димитрием Александровичем Горбовым, который для него являлся наставником в практической жизни, так как сам Абрам Захарович совсем не умел устраивать свои материальные дела — доставать выгодные заказы, получать ре-

дактирование тех или иных книг, иначе говоря, не умел обеспечить себе достаточный заработок.

Жил Абрам Захарович Лежнев в крохотной квартирке из двух комнат, недалеко от Покровских ворот. Жена его — Цицилия Борисовна, была для него и матерью, и женой, и другом. Были они бездетны, но любовь их за всю длительную супружескую жизнь, казалось, не только не притуплялась, а из года в год становилась все более сильной и нежной. Они боялись расстаться друг с другом на самое короткое время. Ни на одном из литературных собраний, или даже на редакционных совещаниях Абрам Захарович не появлялся без Цицилии Борисовны.

В «Перевал» Лежнев вошел не сразу, он долго присматривался к участникам группы и уже писал о них весьма положительные статьи, но окончательно вступил в содружество только после того, когда близко сошелся с Воронским и понял, что «Перевал» готов отчаянно бороться за честную творческую работу и за чистоту литературных нравов.

Всю свою энергию, все силы, Лежнев отдал «Перевалу». На дискуссиях в Доме печати и в Коммунистической академии он, как блестящий оратор, вызывал восторг аудитории своим остроумием. Он никогда не ограничивался лишь защитой перевальских положений, но немедленно от обороны переходил в наступление и беспощадно вскрывал безграмотность, идейную несостоятельность и просто жульничество представителей ВАПП'а.

Лучшая книга А. Лежнева «Разговор в сердцах» тоже полемическая, злободневная, но в злободневности этой есть подлинное отражение литературных нравов переходного периода советской литературы и в этом ее основная ценность.

А. ЛЕЖНЕВ

ДИАЛОГИ О КРИТИКЕ И ПИСАТЕЛЕ

Первый

Редакция толстого журнала. В одной из боковых комнатушек собралось несколько писателей разных групп и направлений.

1-й писатель. Современный критик не понимает писателя. Он не хочет его понять. Не знаю даже, сумел ли бы он его понять, если б и захотел. А ведь критик должен быть на голову выше писателя. Он должен понимать писателя лучше, чем тот сам себя понимает. Он должен писателю разъяснять его самого. Он должен им руководить, воспитывать, учить его, как писать. А разве нынешний критик в состоянии это делать? Он не только не выше писателя, он даже не одного роста с ним, он зачастую, ниже его на целую голову.

2-й. Надо прямо сказать: критика отжила свой век. Белинских и Добролюбовых нет, и не видно, чтобы кто-нибудь шел им на смену. Нам надоело слушать, как люди, не написавшие сами ни одной строчки стихов или прозы, немощные в творчестве, рассуждают с важным видом знатоков о литературе, рядят вкривь и вкось, дают непрошенные советы, хвалят то, что надо ругать, и ругают то, что следует хвалить. На смену критику должен придти писатель. Ему приходится на практике преодолевать все те трудности мастерства, о которых критик имеет только теоретическое представление. И так как писатель сам создает, так

как он сам переживает все радости и муки творчества, то и чужое произведение он перечувствует лучше, глубже и тоньше и к ошибкам своего собрата по перу отнесется не с бездушным осуждением, а с теплым пониманием. Да, только писатель может, как следует, понять писателя. А та особая порода посредников между писателем и читателем, которая называется критиками, оказывается лишней. Производители художественных ценностей и их потребители смыкаются между собой непосредственно.

3-й. Правильно. Посмотрите, как осторожно и внимательно относились к писателю, даже к начинающему, «сопливенькому», Короленко и Горький. Правили каждую его строчку, писали письма, советовали, ободряли, воспитывали. Вот это я понимаю. Вот это настоящая критика, — критика, которая приносит пользу, а не болтает и твердит зады. И такими настоящими критиками Короленко и Горький могли стать потому, что сами были писателями, знали писательское дело не в теории, а на практике.

2-й. Да, никто не может так тонко, так бережно, так внимательно отнестись к писателю, как свой же брат — писатель.

1-й. Наша критика действует при помощи оглобли. Кое-кто из формалистов сравнивал ее с судебной медициной. Я бы предложил другое сравнение: ветеринария. Она все отпускает в лошадиных дозах: и похвалы и порицания. Или так разбранит, так отделает, что на писателе живого места не останется, или вознесет так высоко, что сам попросишь: нельзя ли пониже?

3-й. Ну, хвалит-то она больше своих любимцев: Сейфуллиных, Пильняков, Бабелей: на нашу долю остается одна брань.

4-й. Или молчанье. Вот тоже замечательный метод критики. Писатель пишет год, два, три, четыре. Критика точно воды в рот набрала. Не замечает его, не хочет заметить. Неверову надо было умереть, что-

бы получить признание. При жизни о нем не только не писали, но и печатали его неохотно. Это Неверова-то, которому прославленная Сейфуллина и в подметки не годится.

3-й. Еще бы! Какое может быть сравнение! А ведь нас и к ней посылают учиться. Да, даже к Сейфуллиной, серьезно! Интересно все-таки знать, чему можно поучиться у этой писательницы, лишенной какой бы то ни было художественной культуры, у этой сочинительницы дамских романов, которую, право, недаром эмиграция назвала «советской Вербицкой».

5-й. Это, знаете, слишком лестный для нее титул! Вербицкая, по крайней мере, была грамотна. А Сейфуллина не знает русского языка. «Отбились», «надавали обещаний», «война настоящая разгорелась» — разве это по-русски?

Голос из угла. А почему собственно не по-русски?

5-й (величественно). Мне кажется, и доказывать не надо — почему... А ее крестьяне? Ведь это только сосуды, в которые автор переливает интеллигентские чувства — половое влечение и т. д.

Тот же голос. Интересно знать, как же размножаются крестьяне: почкованием, что ли?

3-й. Ну, вы известный защитник Сейфуллиной. Одному удивляюсь: как это поклонники Сейфуллиной, наши почтенные критики и их подголоски, не замечают того, насколько «советскость» Сейфуллиной дутая. Умиляются над предсмертной молитвой «большевика» Артамона. А какова основная идея «Перегноя»? Та, что большевики только навоз, удобрение. Хороша «советскость»!

Голос из угла. Знаете, если этот метод произвольной интерпретации применить не к одной Сейфуллиной, а к любому писателю, хотя бы к вашему любимцу Неверову, можно и не такие ереси от-

крыть. Для этого требуется лишь небольшое желание не понять писателя и скромная потребность его лягнуть.

3-й. Бросьте, бросьте, почтеннейший! Нас этим на мушку не возьмешь. Сравнила Сейфуллину с Неверовым! Возьмите ее лучший рассказ «Правонарушители». Разве могут ее детские типы стать рядом с Мишкой из «Ташкента — города хлебного»! Ведь Мишка — это красота!

Тот же голос. Благодарю вас. Теперь я убежден совершенно. Ваши доводы чрезвычайно сильны. Что может быть неотразимее восклицания!

1-й. Взяли писательницу с маленьким, скромненьким талантиком и раздули в знаменитость. Подумайте, возводят ее чуть ли не к Толстому, к Флоберу. Да тот, кто так писал, сам, верно, не читал Флобера.

3-й. Реклама! Реклама! Сейфуллину, говорят, много читают. Так если б любого из нас разрекламировали так, как Сейфуллину, его бы стали читать не хуже.

5-й. А Бабель? Ведь у нас недавно прямо захлебывались от восторга, говоря о нем. Почти возвели его в гении. Тонкий стилист, необыкновенный наблюдатель, русский Мопассан — какие только определения и лестные эпитеты ни сплетали вокруг его головы в лавровые и дубовые венки. А между тем, это — просто рассказчик еврейских анекдотов.

Голос из угла. И «Конармия» — еврейский анекдот?

5-й. Не еврейский, так армейский. Дальше анекдота он и здесь не пошел.

1-й. Нет, в этом я с вами не согласен. Бабель, конечно, не просто рассказчик анекдотов. Он и больше и хуже. Он — декадент. Он строит свои вещи на противопоставлении, — нет, на смешении, на чудовищном смешении прекрасного с отвратительным. Он мастер

болезненных, патологических эффектов. Его красота, его искусство отдает разложением, гнилью.

2-й. Главное, что он и здесь не оригинален. Все это мы уже видели у Бодлэра. Но Бодлэр — мастер, несравненно более сильный. То, что было, быть может, приемлемо в ту эпоху, невыносимо в наше время. Я не понимаю, как может человеку со здоровым, нормальным вкусом нравиться Бабель. Я не понимаю, что может этот писатель дать широким массам рабочих и крестьян, которые ведь требуют здоровой и питательной пищи, а не гастрономических изысков, не гнилых и острых французских сыров.

3-й. А как он оклеветал Конармию! Буденовцы у него только и делают, что насилуют женщин, грабят, кликушествуют, матершинничают и болеют дурными болезнями. Где пафос гражданской войны, живая страсть революции? Ее нет. Недаром в одном из его рассказов конармейского цикла описывается случка жеребца с кобылой. Жеребец — вот что интересует Бабеля, вот что написано на его поэтическом знамени!

Голос из угла. А «Соль»? А «Письмо»? А Мельников и Тимошенко? Неужели здесь нет пафоса революции?

3-й. Вздор. Это только для отвода глаз. На деле Бабеля интересуют только триппера и изнасилования. Тут он чувствует себя в своей сфере. Вы помните этот его эпизод, когда рассказчик или один из его героев — запамятовал — мочится на череп убитого солдата, или сцену из «Иванова», где буденовцу, больному гонорреей, фельдшер производит спринцевание? Вот это типично для Бабеля, вот здесь он сказался весь.

4-й. Публике это нравится. Вы думаете, я бы не мог так писать? Сколько угодно. Этих вещей я насмотрелся побольше, чем ваш Бабель. Я, если б захотел, такого бы наворочал — ого-го...

Голос из угла. А что же вас, собственно, удерживает?

4-й. Не могу. Душа не позволяет. Я, знаете ли, плачу над своими героями. Раньше стыдился, а потом, когда прочел, что и Короленко плакал, перестал стыдиться. Я люблю человека, жалею его, сочувствую его страданиям. Вот почему и не могу писать, как Бабель. Он не любит, не жалеет человека. Он равнодушен... Эх, друзья! Разве так писали в прежнее время? (Мечтательно): «Едят тебя мухи с комарами! — сказал дядя Митрий и почесал в затылке». Впрочем, знаете, я замечаю, что сейчас начали как будто возвращаться к старине и к дяде Митрию. Особенно рассказы молодежи стали напоминать «Русское богатство».

3-й. Да, пятнадцать лет назад, когда писали Куприн, Леонид Андреев и другие, Бабеля, быть может, и не заметили бы. В лучшем случае считали бы второстепенным писателем. Утверждаю, что он — необыкновенный стилист. Но и здесь он не оригинален. Хотите знать, что такое его стиль? Это — французы (Флобер, Мопассан), к которым прибавлены Юшкевич и Гоголь. Первый — в большой дозе, второй — в малой. Я не скажу, что он бездарен, но талант его очень и очень невелик.

2-й. У нас вообще потеряли всякие масштабы. Возьмите, например, Есенина, с которым носятся, как с писаной торбой. Вам покажется это, вероятно, очень странным, но я убежден, что Надсон гораздо более крупный поэт, чем Есенин.

Голоса. Ну, сказали!

2-й. Уверяю вас. Он честнее, откровеннее, душевнее. Он устарел, конечно, но что будет с Есениным через тридцать-сорок?

4-й. А я, признаюсь, люблю Надсона. Люблю его за мягкость, задушевность, теплоту. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат». Сознайтесь, и вам он нравится, только совестно сказать.

Голос из угла. Терпеть его не могу.

4-й. А что же, современные поэты лучше — механические, бездушные? Маяковский, например?

Голос из угла. Лучше.

3-й. Ну, уж нет. Маяковский-поэт есть функция большого роста Маяковского-человека. Я говорю о росте не в переносном, а в буквальном смысле, о физическом росте. Пушкин и Лермонтов были людьми среднего, даже небольшого роста. Можно представить себе приземистым Шекспира. Но приземистый Маяковский невозможен. Если б Маяковский был ниже на голову, он бы не был поэтом. Он весь эстраден. Его поэзия такова, как она есть, только потому, что у него высокий рост и зычный голос. Он изучил тот эффект, который производит с эстрады, и пишет и действует так, чтобы производить этот эффект. Он — прима-балерина русской литературы. Посмотрите, как он кокетничает с публикой, как он говорит ей дерзости, которые ей нравятся, как он внимательно следит за тем впечатлением, которое производят его слова на аудиторию! Как он демагогически и недобросовестно спорит!

Голос из угла. И это вы называете литературной оценкой?

3-й. Называйте, как хотите. Я убежден, что пройдет каких-нибудь лет пять-десять, и Маяковского забудут совершенно. Уже и сейчас он перепевает себя и живет за счет того литературного имени, которое составил себе прежде. По существу он поэт не сегодняшнего дня, а вчерашнего. Правильнее было бы называть его не футуристом, а пассеистом, так как не будущее русской литературы представляет он, а ее прошлое.

Голос из угла. Рано его хороните.

3-й. Не рано. Я вообще думаю, что время стихов прошло. Удельный их вес в общей массе литературы все больше и больше падает. Их почти перестали читать. И поделом.

Голос из угла. Прозу читают тоже не очень хорошо. Иностранный автор вытесняет русского — факт, достаточно общеизвестный. Ведь и вам как будто современная проза нравится не больше, чем стихи. Сейфуллину и Бабеля вы уже разделали под орех. На очереди Леонов, Пильняк, Всеволод Иванов. Я думаю, вы и с ними справитесь без особых затруднений.

3-й. У вас только и свету в окошке, что попутчики. Но ими, насколько я знаю, русская литература не исчерпывается. Да, мне не нравится Леонов. Это еще подросток, мальчик, которого слишком рано сделали большим писателем. И притом из той породы шустрых детей, что очень быстро и ловко перенимают манеры взрослых. Кому он только не подражает, кого он только не имитирует! Лескова, Горького, Достоевского, Л. Андреева...

1-й. А его «Барсуки»? Какой шум подняла критика вокруг этого романа! А ведь в нем не сведены концы с концами — ни идеологически, ни композиционно. Чего стоит одна присочиненная «советская» развязка!

5-й. Зарядье взято напрокат у Боборыкина. Помните его «Китай-город»? Весь Леонов литературен, искуственен. Нет, какой это писатель! Способный имитатор — и только.

2-й. Я уже предпочитаю Пильняка. Тот, по крайней мере, оригинален.

3-й. Ну, хороша оригинальность! Андрей Белый да Ремизов — вот вам и Пильняк. Только Белый — человек культурный, а Пильняк некультурен и вдобавок порнограф.

1-й. Что за мученье читать Пильняка! Как он ломается и манерничает! Какое у него отсутствие простоты! Какая растерзанность формы! Точно он задался целью сделать свои романы возможно более неудобочитаемыми. Повсюду у него полыньи, дыры, трясины, в которые читатель проваливается и вязнет.

5-й. Идеологическая его убогость поразительна. Он все строит на одной антитезе: XVII и XX век, волки и машины, которую разрешает с замечательным однообразием и неубедительностью. Я отказываюсь видеть ту эволюцию к коммунизму, которую отметили в нем не в меру зоркие критики. По-моему, он просто ломака и фокусник.

3-й. Не он один ломается. Когда говоришь о Пильняке, по ассоциации вспоминаешь Всеволода Иванова. Почитайте его «Экзотические рассказы». Как они вычурно и странно построены! Каждый раз задаешь себе вопрос: что хотел этим автор сказать?

5-й. А крестьяне Иванова, — разве они не плохая выдумка? Разве партизаны-мужики могут взять винтовку только потому, что кто-то пролил самогонку? И разве не такая же плохая выдумка его коммунисты, этот знаменитый Лейзеров из «Хабу», очкастый, нелепый и комичный, похожий на карикатуру в не меньшей степени, чем одна горошинка похожа на другую? Не может человек с большим талантом написать такую вялую, тягучую и бесконечно-скучную вещь, как «Голубые пески».

1-й. Ну, мне пора.

2-й. Вы куда?

1-й. В издательство «Не пускай на порог». Надо уладить кое-какие недоразумения по договору.

3-й. Зачем связались? У них ведь чорт знает какие условия: 5-летний срок и т. д. Шли бы лучше в «Числом поболее, ценою подешевле». Там хотя платят меньше, зато нет этих жестоких условий. Через год вы свободны, как птица.

4-й. Вы знаете, в скором времени организуется наше собственное издательство, группы писателей «Долой грамотность». Туда будут приниматься все без разбора и на самых льготных условиях.

1-й. Ну, когда еще это будет!.. А мне надо идти. До свиданья.

2-й (вслед уходящему). Написал большой роман и считает себя гением. Критика подняла роман на щит, а в нем — только потуги на большой стиль.

3-й. Бывают певцы, которым от природы отпущен небольшой голос. Хорошо, если они поют своим естественным голосом: пусть негромко, зато приятно. А вот иногда случается, что такой певец захочет петь громче, чем ему позволяют его голосовые средства. Он начинает форсировать звук, кричать и, наконец, срывается. Слушателю мучительно и неловко. Вот так и наш романист хочет выкричать себе большой голос. Напрасные усилия! Большой голос не выкрикивается, а дается от природы.

2-й. Его фигуры неестественны. Его язык напряжен. Нигде люди не говорят так, как говорят его герои. Мы не знаем таких женщин, таких рабочих, таких партийцев.

5-й. Погодите, не пройдет и года — он лопнет, как мыльный пузырь. На следующий роман у него уже не хватит голоса.

3-й. Скажите, почему это происходит, что в прежнее время писателю было трудно пробиться, но, пробившись, он уже прочно занимал известное положение в литературе, а сейчас пробиться писателю очень легко, но зато трудно удержаться?

4-й. А это опять-таки вина критики. Она сразу, после первой же вещи, захваливает писателя, производит его чуть ли не в гении, а потом видит, что поторопилась, что гении маргариновые, и запоздало кается в своей торопливости (Смотрит на часы.). Ну, пора и мне. Заболтался я тут с вами (Уходит).

3-й. Ведь он уверен, знаете, что он — последний осколок героической русской литературы, преемник Некрасовых, Успенских, Короленки, а на деле он всего-навсего эпигон, народник из «Русского богатства»,

пережевывающий жвачку, трижды изрыгнутую предыдущими поколениями. От Короленки он взял многословный и наивный лиризм описаний. От Успенского — неуменье строить вещь, от раннего Горького — неуклюжую напыщенность афоризмов. Он составлен из недостатков всех предшествующих писателей, как мозаика из отдельных камешков. В этом смысле он, действительно, потомок героической русской литературы. Он старается увековечить ее недостатки и заставить забыть о ее достоинствах.

По коридору проходит редактор. Несколько писателей, в том числе и 3-й, устремляются к нему.

2-й (указывая на уходящего 3-го) Зависть делает его красноречивым. Он слеп к достоинствам писателя, он не различает их, как дальтонист не отличает зеленого цвета от красного. Но он приобретает дар речи, меткость глаза, остроту суждений, как только дело касается недостатков писателя. Его хула — почти удостоверение в талантливости, потому что он хвалит только бездарностей. Он к ним относится с какой-то трогательной заботливостью, с каким-то нежным вниманием. Так иногда не очень красивая девушка старается окружить себя дурнушками-подругами, чтобы выгоднее оттенить свою наружность. Он бы хотел обратить литературу в приют для дефективных писателей. Среди бездарностей он бы показался талантом.

5-й. Прозаики считают его поэтом, поэты — прозаиком. Читатель не считает его ни поэтом, ни прозаиком. Читатель прав. Он пишет прозой так же плохо, как и стихами. Он страдает неразделенной любовью к литературе. О, страсть без взаимности — самая губительная страсть! Обычно поэт-неудачник становится критиком. Удивляюсь, почему и наш друг не пошел по этому пути. Заблуждение, в котором упорствуешь почти до сорока лет, превращается в болезнь.

Один из писателей (поднимаясь). А ну вас к чорту! И не надоело вам перемывать косточки и судачить, как старым бабам? Стоит кому-нибудь выйти, как вы накидываетесь на него со сладострастием. И как только у вас хватило слюны оплевать всю русскую литературу!

(Уходит. 2-й и 5-й остаются вдвоем).

5-й. Скажите, пожалуйста, как разорался! Нельзя уж и по душам поговорить. А сам он, думаете, мягче в своих суждениях? Как бы не так!

2-й. Бирюк. Тоже скороспелая знаменитость. Нельзя отрицать, известный талант у него имеется, но как можно так ломаться? Типографские ухищрения, треугольники и ромбы из букв — чего только он не пускает в ход для эффекта!

5-й. Думаешь, трудно добиться такого эффекта? Вот я разденусь голым и в таком виде пройдусь по Москве — тоже получится эффект.

2-й. Положим, этим ты уж никого не удивишь... А как он коверкает русский язык! Он его не знает, он его не любит. Ему удаются только опустившиеся матросы да махновцы, босяцкая стихия. Он становится беспомощным, когда пытается изобразить сознательного пролетария, партийца. К этому надо прибавить его неумение строить вещь. Она получается рыхлой, расплывчатой, расползается по швам.

5-й. А вот мне, знаешь, композиция дается удивительно легко. Ты читал мою последнюю повесть?

2-й. Читал.

5-й. Не правда ли, крепко построена? Как твое мнение?

2-й. Мое мнение: тебе десять лет учиться — и то не выучишься писать как следует. Разве твоя вещь построена? Она сшита — белыми нитками.

5-й. Ты чего ругаешься?

2-й. Не ругаюсь, а откровенно высказываю свое мнение. Ты ведь сам и просил. Мы тут говорим о на-

стоящем, подлинном художнике, — да, каковы бы ни были его недостатки, он — настоящий художник, — а ты выскакиваешь со своей композицией. Терпеть не могу хвастовства. Можно говорить о его недостатках, но нельзя говорить о твоих недостатках, потому что недостатки предполагают достоинства, талант. У тебя же таланта ровно настолько, чтоб не быть графоманом, и слишком мало, чтоб стать писателем. Вот ты и остановился на промежуточной ступени.

5-й. Послушай, не говорю же я о том, что твои стихи запоздали лет на десять, что их никто не читает, что они бесцветны и кисло-сладки. Не говорю просто из деликатности. Никто не требует от тебя лести и комплиментов. Но надо ведь иметь хоть немного человеческой чуткости, такта. Держал же я несколько лет под спудом свое убеждение, что ты бездарность. (Уходит.).

2-й. Чудак. Обиделся. Сам ведь спрашивал, — что же мне оставалось, врать, что ли! Неудачники всегда обидчивы... (Молчит.). А все-таки никто не может так тонко, так бережно, так внимательно отнестись к писателю, как свой же брат — писатель.

Второй

Строгий читатель. Ваш диалог вызовет недоуменья. Вы вложили в руки противника слишком сильное оружие. Вы не ответили на ряд серьезных возражений. Пусть писательская критика плоха, но вы не доказали, что профессиональная критика лучше. Ее ошибки зияют, ничем не прикрытые. Их нагота обнажена и подчеркнута. Читатель поймет вас так, что наши писатели плохо пишут, а критики не отвечают своему назначению. Это, может быть, и согласно с действительностью, но вряд ли входило в ваши расчеты.

А в т о р. Постараюсь поставить точки на і. Хороша или плоха наша критика? Вопрос этот чаще всего ставится писателем, — и неудивительно, что он ставится именно им. Между писателем и критиком ведется многовековая тяжба, и я боюсь, что не нашему времени суждено ее разрешить. Ее причина — в самом существе отношений между этими двумя сторонами. Она прекратится лишь тогда, когда писатель перестанет работать на рынок. Не надо представлять борьбу более принципиальной, чем она есть на деле. Только книжники и лицемеры могут не увидеть чисто-обывательских причин недовольства критикой. Непринятая рукопись, отрицательный отзыв или отсутствие отзыва — вы близки к писательскому миру и знаете не хуже меня, какую роль играют эти мелкие факты, в какие обобщения преломляются они в сознании писателя.

С т р о г и й ч и т а т е л ь. Простите меня, но ваше рассуждение не только неправильно, оно даже просто не умно. Сводить недовольство критикой к возмущению обывателя, которому не удалось выгодно продать товар, — что это, как не та же обывательщина?

А в т о р. Вы не дослушали, а потому и неправильно поняли то, что я сказал о рынке. Я не говорю, что это — единственная причина. Я не говорю, что это — главная причина. Я говорю, что это — о д н а из причин. Видеть в недовольстве критикой одну обывательщину способен лишь злобствующий обыватель, но только прекраснодушный обыватель не видит ее вовсе. Слова о рынке не следует понимать чересчур по-сухаревски. Писатель работает на рынок, в условиях конкуренции. Бухарин утверждает, что писательская конкуренция — факт положительного значения. Это верно, но и положительное явление имеет свою отрицательную сторону. Конкуренция при стесненном сбыте (а он у нас пока что стеснен, потому

что издательские возможности и емкость рынка ограничены) создает среди писателей во многом нездоровую атмосферу — подсиживаний, уязвленных самолюбий и т. д. Это проявляется как в отношении писателей друг к другу, так и в отношении критики. И, конечно, гораздо чаще здесь говорит не карман, а самолюбие, то писательское самолюбие, о неумолимости которого писал еще Чехов.

Строгий читатель. Я думаю, что вы преувеличиваете. Но вы сами говорите, что это — одна из причин. Каковы же другие?

Автор. У нас неправильно подходят к критике. Требуют от нее больше, чем она в состоянии дать. Критик не может и не должен вовсе учить писателя, как писать. Тот, кто подходит к критике, как к прикладной алгебре искусства, всегда уйдет разочарованным. Быть может, в будущем искусство будет настолько познано и рационализировано, что его произведения станут создаваться так же просто и согласно немногим точным правилам, как сейчас школьники решают математические задачи. Не знаю, хотя и не думаю, чтоб это было так. Но во всяком случае теперь искусство и искусствоведение еще не находятся в таком состоянии, чтобы критик мог обучить писателя его ремеслу, дать ему точную рецептуру, а ведь именно рецептуры требуют от него. Формалисты, быть может, и имеют успехи потому, что молодежи кажется, будто они дают точные сводки правил, как надо писать. Но то, что они дают, на деле так обще и бессодержательно, что при помощи этих указаний нельзя ничего построить.

Строгий читатель. Что ж, вы отрицаете необходимость воспитания писателя критикой?

Автор. Не отрицаю, но хочу указать на его пределы. Писатель — не маленький ребенок, а критик — не нянька. Тем более не кормилица, долженствующая вскармливать молоком его младенческую

беззубость. Говорят, что критику следует быть на голову выше писателя. Что за заблуждение! Разве Белинский был на голову выше Пушкина, Лессинг — Гете, Добролюбов — Тургенева? Дело не в том, чтобы быть на голову выше, а в том, что голова у критика другая. Писатель так же мало может заменить критика, как критик — писателя. Соединение того и другого в одном лице хотя и бывает, но довольно редко. Человек, не написавший ни одной строчки стихов, ни одного рассказа, в состоянии бывает разобраться в явлениях искусства, в его законах гораздо лучше, чем тот, кто всю жизнь писал стихи или рассказы, потому что для этого нужен другой склад ума, более приближающийся к научному, чем к художественному, или, по крайней мере, находящийся посредине между ними. Вот почему так наивны требования поставить на место критика писателя. Простите, я говорю общеизвестные вещи, но иногда их приходится поневоле повторять. Когда господствует кривая, перевернутая истина, когда парадокс становится правилом, тогда самая старая «избитая» истина начинает казаться оригинальной, неслыханной, правило становится парадоксом.

Строгий читатель. Хорошо, предположим, что вы правы и что писатели предъявляют к критике несообразные требования. Но станете ли вы отрицать, что наша критика, действительно страдает серьезнейшими недостатками?

Автор. Не стану. Но пора перестать говорить о критике, как о чем-то едином. У нас — не единая критика, а ряд критических школ и направлений. Не следует грехи одного из них сваливать на другого. Я упомянул сейчас о любви к парадоксу. Этот порок культивируется у нас формалистами. Они ищут истину, которая обладала бы теми же качествами, что и подруга мимолетных встреч: молодостью и пикантностью. У нее должны быть подведенные глаза и накрашенные губы. Но истина — не девушка с панели. Только Мак-

симилиан Волошин может думать, что предельный возраст истины — возраст водовозной клячи. Это — обычный грех субъективистов. Тот, кто ищет красивую истину, находит лишь парадокс. Единственное ее мерило — соответствие действительности. Истина, раз доказанная, не исчезает из культурного арсенала человечества. Она претерпевает удивительные метаморфозы: она сжимается, становится маленькой или, наоборот, внезапно вырастает. Изменяются рамки, сфера действия, но пребывает зерно, частица абсолютной истины*). Нет, истина далеко не всегда молода, и потому, должно быть, фланеры ее не замечают. У нее часто старомодное платье и выговор порой звучит немного странно и чуждо.

Но даже не неверность, не парадоксальность общих положений ставлю я в вину формалистам. Она настолько очевидна, что не может не броситься в глаза. Скверно то, что формалисты вытравили в себе живое, читательское восприятие, способность переживать художественные произведения. Она им кажется наивной так же, как пресыщенному старику наивными кажутся естественные ласки молодежи. Потентность всегда наивна в сравнении с изобретательностью бессилия. Но дети-то рождаются именно от этой наивности, и критика может быть только тогда творческой, когда в основе ее лежит читательское восприятие.

Обратным недостатком отличается часть нашей марксистской критики. Чтение не всегда идет впрок, и начетчик напоминает скорее схоласта, чем ученого. У нас существуют люди, полагающие, что при помощи

---

*) «Человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания» (Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм»).

нескольких общих положений можно разрешить все сложные и спорные вопросы. Одним ключом они хотят открыть все двери. Но ключ сламывается, а двери остаются на запоре.

Эти критики не в состоянии перейти от общих положений к их конкретному применению. Если писатель — запертая дверь, то надо найти ключ к этой двери. Два английских замка нельзя открыть одним и тем же ключом. Все английские ключи делаются по одному принципу, но каждый имеет небольшое отличие. Оно очень невелико, но если, делая ключ, упустить его из виду, дверь нельзя будет открыть. Наши начетчики не умеют индивидуализировать, не умеют подходить к каждому писателю, как к своеобразному явлению. Поэтому они компрометируют метод, которым пользуются, поэтому они вызывают недовольство и писателя и читателя. Грохот, который они производят, ломая ключи, кажется им творческим шумом, ритмом труда. Но не всякое мускульное усилие есть полезная работа.

И все-таки я бы не стал ставить в вину молодой марксистской критике все ее ошибки. Пионеры не могут не ошибаться. Классиками марксизма было сделано в области критики слишком мало. Нынешнему поколению приходится восполнять проблемы, даже закладывать краеугольные камни. И когда из лагеря пролетарской литературы раздается хихиканье по поводу отсутствия Белинских и Добролюбовых, — это неумно и недостойно. Почему же тогда не смеяться над тем, что у нас нет Пушкиных и Толстых? Дайте время — будут.

Строгий читатель. Ну, все это известные доводы. Вы все-таки не опровергли те возражения, которые в вашем диалоге сделаны по поводу конкретных оценок. А в них было, по-моему, немало справедливого.

А в т о р. По-моему, тоже, хотя и не всегда. Но истина однобокая перестает быть истиной. У Бабеля есть действительно смешение красивого с отвратительным, но разве этим Бабель исчерпывается? Вы хотите, чтоб я опроверг всю ту массу обывательщины и глупости, которой писатели облепляют друг друга и в печати и в частных спорах. Я полагаю, что этого делать не следует. Я полагаю, что достаточно ее собрать и выставить на показ.

(«Современники», из-во «Круг», 1927 г.)

Д. ГОРБОВ

Известно, что Димитрий Александрович Горбов родился в 1894 году, где-то и чему-то добросовестно учился. Свободно владел основными европейскими языками, знал латынь и греческий. Был человеком широкой эрудиции и обладал четкой памятью. Но даже общие контуры его биографии и весь его внутренний мир оставались загадочными и непроясненными для самих перевальцев. Был он женат и бездетен. В обществе обычно появлялся без жены. Ходили слухи, что мадам Горбова из «бывших» людей, из титулованных, но все это лишь догадки, а толком никто и ничего не знал.

То обстоятельство, что Димитрий Александрович Горбов, видимо, исключительно из соображений правового и материального благополучия был членом коммунистической партии, плохо вязалось даже с его внешним обликом. Худой, на длинных тонких ногах, с острым клювом, вместо носа, напоминал он какую-то экзотическую птицу, не то фламинго, не то марабу.

В конце первого периода советской литературы, а именно в 1928 году, издательство «Федерация» выпустило сборник критических статей Димитрия Александровича Горбова «Поиски Галатеи». Книга открывается статьей «К вопросу об отношении искусства и действительности». Здесь Горбов полностью приводит стихотворение Баратынского «Художник» и, с необычайной для советских исследователей смелостью, утверждает, что весь смысл писательской работы — в неустанных поисках сокровенной богини Галатеи:

«И только «предугаданная желанная» встреча с ней делает просто писателя — художником. Ибо задача художника не в том, чтобы показывать действительность, а в том, чтобы строить на материале реальной действительности, исходя из нее, новый мир — мир действительности эстетической, идеальной. Построение этой идеальной действительности и есть общественная функция искусства, отличающая его от всех других видов общественного творчества. Именно идеальная, эстетическая действительность, создаваемая художником, именно этот мир «сокровенной богини» Галатеи есть та особая форма общественного

бытия, раскрытием которой целиком и без остатка поглощен художник.

Предметы и факты реальной действительности, «изображенные» или «показанные» на страницах искусства, не имеют самостоятельного значения. Ведь их нельзя понимать буквально. Втянутые художником в мир Галатеи, они получают иное, нереальное значение: они предстают там знаками некоей идеальной эстетической системы, созданной замыслом художника».

Затем, развивая и доказывая необходимость претворения действительности, как материала, в действительность эстетическую, идеальную, Горбов приводит строки Пушкина из его сонета «Поэту», «Ты царь, живи один» и т. д. и дальше он утверждает:

«Формула Пушкина — одна из тех обязательных формул, не усвоив которых органически, ни один писатель не может стать художником. И наших пролетарских писателей нужно прежде всего учить вот этой пушкинской высокомерной строгости к себе, учить уменью не слушать никаких «социальных заказов». Ведь только перестав прислушиваться к ним, только уйдя слухом в себя, только творя за свой собственный страх и риск, только сам «высокомерно» неся всю ответственность за свои падения и подъемы, может любой художник, в том числе и пролетарий, — наилучшим образом, то есть наиболее честно, глубоко и правдиво выполнить подлинный заказ, который дается ему его классом и его эпохой»...

«А вот другая формула — продолжает Горбов, — данная уже не Пушкиным, а художником гораздо меньшего роста, да к тому же не классиком, а общепризнанным «упадочником». Я назову имя, которое должно вызвать здесь возмущение. Я говорю о Федоре Сологубе. Он написал: «Беру кусок жизни грубой и бедной и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт». Спрашивается, можно ли взять эту формулу Сологуба и положить ее в основу художественного воспитания нашей пролетарской литературы? Ответ на этот вопрос чрезвычайно ответствен потому, что утвердительный ответ означает здесь возможность для пролетарского писателя учиться не только у классиков — якобы сплошь представителей восходящего класса, но и у символистов, выражавших так называемую «разлагающуюся буржуазию». И вот я утверждаю, что на этот вопрос должен быть дан утвердительный ответ: да, эта сологубовская формула подлежит усвоению каждым молодым писателем, в том числе и пролетарским. Учите пролетарских писателей претворять простой и грубый материал жизни в сладостную легенду! Учите их открывать легенду в действительности! В легендах больше

жизни, чем это кажется на первый взгляд! В иной сладостной легенде больше горькой правды жизни, чем в голом показе жизненных фактов»...

Трудно поверить, что подобные мысли мог свободно высказывать в печати подсоветский литератор, да к тому же еще не какой-нибудь случайный попутчик, а член ВКП(б).

Не в пример Лежневу и Воронскому, которые, каждый в своем роде, были монолитны, Горбов не был цельной натурой. Характер его состоял из, казалось бы, несовместимых противоречий. Сарказм уживался у него с тончайшим лиризмом, типичные навыки кабинетного исследователя с большим опытом в практической жизни, боевой задор с осмотрительностью. Прямота и смелость суждений соединялись с уменьем прекрасно ладить с людьми, которые совершенно не разделяли его убеждений. Горбов не был карьеристом и никогда не пытался пролезать в правления каких-либо литературных организаций, не состоял членом ни одной редакционной коллегии и тем не менее постоянно имел самые выгодные заказы, которыми охотно делился с Лежневым. На всякий случай он постоянно поддерживал связи со многими большевистскими сановниками, но его отношения с ними не были слишком явными для окружающих и потому крушение одного или другого высокого авторитета никоим образом не отражалось на его партийной репутации.

Вапповцы пытались кричать, что Горбов только прикидывается коммунистом, но уличить его в антипартийных высказываниях им не удавалось. После выхода книги Горбова об эмигрантской литературе — «У нас и за рубежом» — те же вапповцы напечатали карикатуру, где Горбов изображался в офицерском мундире и с георгиевским крестом на груди. Литературная энциклопедия кратко, но весьма определенно утверждала: «Горбов Д. — литературный критик, член ВКП(б). Считает себя марксистом, «учеником классиков марксизма», что не соответствует действительности!» И дальше: «Марксистское положение, что «произведение данного художника является показом его классового бытия», объявляется Горбовым «детской болезнью», которую надлежит «изжить».

Однако, Горбов имел не только смелость мыслить вне специально заготовленных для советских литературоведов большевистских штампов, но, обладая несравненно большей культурой, нежели все вместе взятые оппоненты его, умел не только высказывать, но и горячо отстаивать свои совершенно еретические, с точки зрения ВАПП'а, утверждения.

При всем своем вольнодумстве, Горбов был в достаточной степени дипломатичен и, никогда не акцентируя обязательного для члена партии, марксизма, в конечном результате сводил логический баланс своих выступлений настолько искусно, что на руках у его противников не оказывалось ни одного прямого доказательства его отхода от генеральной линии партии.

В книге «Поиски Галатеи» примером блестящей защиты Горбовым своих литературных позиций служат его статьи: «Галатея или купчиха», «В защиту эстетики» и «Под резцом «марксистской» метафизики». Отдельные цитаты из этих работ, конечно, не могут передать всей остроты полемического дарования Димитрия Горбова, так как основная сила их в общей композиции доказательств и в тех, поистине свободных интонациях, каковые впоследствии были окончательно вытравлены из советской литературы.

В «Перевале» Горбов был самым верным другом А. К. Воронского, любил и всячески опекал Лежнева. С живым интересом относился он к творчеству Ивана Катаева, ценил некоторых перевальских поэтов, но в своих суждениях об остальных художниках «Перевала» был настроен все же весьма скептически. Его явно шокировало легкомыслие Ник. Зарудина и о нем он не без основания говорил, что Зарудину гораздо легче писать, нежели читать книги других авторов, хотя бы и классиков, что он бесспорно талантлив, но в то же время недоучка и пенкосниматель. Борис Губер, по его мнению, был чрезвычайно трудолюбив и столь же самоуверен, сколь безнадежно скучен в своих литературных упражнениях.

На собраниях «Перевала» Димитрий Александрович появлялся часто, говорил немного, но всегда оригинально, спорил остроумно и весело.

Горбов не мог оправдывать неудачные и слабые произведения только потому, что авторы их были его соратниками по «Перевалу». И, видимо, поэтому в его книгах и статьях «Перевал» упоминается лишь мельком. Однако, во время наиболее ожесточенных сражений за «Перевал», он, вместе с последними членами содружества, открыто и смело выступал на диспутах в Коммунистической академии и в Доме печати.

Д. ГОРЬБОВ

ГАЛАТЕЯ ИЛИ КУПЧИХА?

Замоскворецкая купчиха была, как известно, очень храброй женщиной: она боялась одного только слова — «жупел». Когда я шел со своим докладом «Поиски Галатеи» к ВАПП'овцам — руководителям нашего пролетарского литературного движения, я полагал, что они храбрее замоскворецкой купчихи. Я ошибся: они оказались боязливее этого хрупкого создания. Руководители ВАПП'а боятся не только слова «жупел», но и многих других слов.

Когда в их среде произносишь слово «идеальный», — они в панике: им почудилось — «идеалистический». Когда говоришь «эстетика», они не дослышав или не поняв, идут в бой против «эстетизма». Что же касается «сокровенной богини Галатеи», — эта особа окончательно сводит их с ума: они не могут успокоиться, пока не будет выяснено ее социальное происхождение. Мобилизуя все свои познания, точнее всю свою нахватанность в цитатах, столь характерную для невежественных начетчиков, они громоздят Оссу на Пеллион, чтобы по этой шаткой конструкции, в которой воспринятое по наслышке учение Канта непостижимым образом соединено с критической работой непрочитанного Скабичевского, а эта последняя — с непонятным символическим творчеством Ф. Сологуба, — подняться на недоступные высоты философийской мысли, откуда было бы удобнее всего подвергнуть обстрелу непонятное, а потому ненавистное явление.

Невежественное бессилие порождает ярость, не останавливающуюся ни перед чем, раз дело идет о «разъяснении факта», смысл которого остается непонятным. «Галатею» нужно уничтожить во что бы то ни стало — не мытьем так катаньем. Людям типа Авербаха катаньем, понятное дело, действовать легче всего. И они действуют. Приглашая меня сделать в ВАПП'овской среде доклад по вопросу об отношении искусства к действительности, они гарантируют мне «товарищескую форму полемики», — условие, без которого я, разумеется, к ним бы не пошел. Не пошел бы не потому, чтобы нетоварищеская «форма полемики» могла меня испугать, — я слишком привык к формам полемики, которая свойственна Авербаху и его друзьям, — а потому, что теоретическая бесплодность дискуссии была бы в этом случае очевидна заранее.

Предложив мне эту гарантию (без всякого с моей стороны настояния, по своей собственной инициативе), они получили моё согласие выступить в их среде. Как же они выполнили своё слово? Они выполнили его ... по-авербаховски! Немедленно после окончания прений в закрытом заседании, они перенесли полемику по еще неопубликованному докладу в широкую печать, обильно и «по-приятельски» цитируя работу, которую никто не мог прочесть в целом виде, чтобы иметь о ней самостоятельное суждение. «Товарищеские приемы полемики» этим не были, однако, исчерпаны.

На основании разбора моей неопубликованной, т. е. для читателей не существующей работы, Авербах весьма «товарищески» говорил на страницах «Вечерней Москвы» о необходимости снять с меня «марксистский мундир», который-де, является для меня либо «защитным цветом», либо «преходящим увлечением». Читательский слой, обслуживаемый «Вечерней Москвой», очевидно представляется Авербаху наиболее подходящей инстанцией для решения подобных вопросов. Это любопытное обстоятельство лишний раз

объясняет нам истинную природу теперешнего «вождя» пролетарской литературы.

Но как бы ни были подобные приемы естественны для Авербаха, нельзя все же не признать, что гарантия «товарищеской полемики» выполнена ими ... как бы это выразиться «по-товарищески»? ... не на все сто процентов!

Все эти факты говорят о том, что спорить с ВАПП'овским руководством совершенно бесполезно. Ведь спор по любому вопросу может принести результат лишь при наличии элементарной добросовестности у собеседника. И отнюдь не для продолжения спора с Авербахом и его друзьями, — спора, который не может не быть бесплодным именно по указанной причине, — а только для того, чтобы отнять всякую возможность у этих любителей «товарищеской полемики» искажать мою позицию, — я хочу убрать те «жупелы», которые дали Авербаху возможность инсинуировать по моему адресу.

Нужно ли говорить, что я делаю это отнюдь не с целью самооправдания, но с единственной целью устранения клеветы. Авербах называл меня идеалистом, иронизируя по поводу того, что я нахожу в себе храбрость открыто сознаться в этом. Ирония непонятная... Да, я настолько смел, что будь я идеалистом, я сумел бы заявить о своих идеалистических убеждениях! И я желаю такой храбрости товарищу Авербаху. Но я также достаточно смел для того, чтобы ударить по руке инсинуатора, который хочет пришпилить мне ярлычок, выгодный для него, но мне попросту ненужный. Авербаху нужно объявить меня идеалистом, чтобы сделать «соответствующие выводы» вполне определенного характера. Я отвожу его руку не потому, чтобы «соответствующие выводы» останавливали моё внимание, — я слишком хорошо знаю цену выводам, на которые способен Авербах, и я знаю также, какого названия они заслуживают. Я отвожу его руку только

потому, что идеализм ни в какой мере не является ни основой моего миросозерцания ни предпосылкой моих рассуждений в «Поисках Галатеи».

О чём идет речь в этой статье? Речь там идет об отношении искусства и действительности. Искусство есть двусторонний процесс. Искусство есть наиболее углубленное и полное выражение связи между субъектом и объектом. Искусство, — и в этом вся его суть, — есть процесс субъективно-объективный. Между тем, вся работа в ВАПП'е протекает под знаком того, что искусство рассматривается лишь как объект. Об объекте хлопочут здесь и в смысле показа действительности (искусство есть средство показа объекта) и в смысле результата показа (искусство есть прежде всего художественное произведение или сумма художественных произведений). ВАПП'овцев интересует в искусстве действительность, отображенная в произведении, и самое художественное произведение как результат показа. Искусство здесь — лишь объект.

Но в искусстве имеется и другая сторона — субъективная. Любое явление действительности, попадая в сферу притяжения искусства, перестает иметь значение только явления действительности, но в то же время становится знаком внутреннего мира художника. Если мы так ставим вопрос, это вовсе не значит, что мы отрицаем объективное значение отображенных в искусстве фактов. Говоря об искусстве, как о процессе вбирания действительности, мы не отрицаем того, что оно использует элементы реальной действительности, которые не утрачивают своего объективного значения.

Несомненно, однако, что весь смысл искусства не в материале, который оно вбирает в себя, не в используемом объекте, а в том, что объект этот предстает здесь преображенным, преломленным, превращенным в образ внутреннего мира художника. В научном трактате или публицистической статье материал играет решающую роль. Там объект, взятый из действитель-

ности, является именно тем, ради чего пишется само произведение. Всестороннее освещение объекта — единственная задача, которая стоит перед автором научного или публицистического труда. Всё мобилизуется здесь для этой цели.

Отнюдь не так — в искусстве. Объект (та или иная черта, то или иное явление действительности) здесь не цель, но средство. Он сам должен послужить к разрешению основной задачи художника: раскрытию того, как художник переживает материал. Ибо художник имеет основной задачей раскрытие через объект своего собственного субъективного содержания в восприятии объекта.

Эта специфика искусства — острое ощущение переходности этого процесса от объекта и через объект к субъекту — особенно очевидна в лирике. Причины этого явления столь понятны, что на них решительно нет нужды останавливаться. Но именно этим обстоятельством и вызвано то, что я иллюстрировал свою мысль лирическими стихотворениями Баратынского и Пушкина, написанными как раз на эту тему, а так же словами Федора Сологуба, взятыми из произведения, которое должно быть названо лирическим стихотворением в прозе. Во всех трех цитатах с предельной отчетливостью выдвинут именно конечный смысл художественного творчества, — смысл всегда субъективный (что отнюдь не значит индивидуалистический, — неужели это нужно объяснять?).

Но возникает вопрос: в формулах Пушкина и Ф. Сологуба этот субъективный смысл искусства не дан ли в индивидуалистическом заострении? Субъект не возносится и здесь над объектом, творческое я художника не попирает ли здесь действительности? Да, безусловно, это так. В обоих случаях ясна и социальная причина этого явления. Относительно пушкинской формулы она с предельной отчетливостью сформули-

рована Плехановым. Относительно формулы Сологуба её найти столь легко, что нет никакого смысла останавливаться на этом в работе, имеющей совершенно другую тему.

Авербах говорит вздор, заявляя, будто я «несмело полемизирую с Плехановым». Он недобросовестно спекулирует понятиями, когда провокационно называет свою статью против меня словами — «Долой Плеханова»*), ставя их в ковычки и тем самым как бы приписывая их мне. Всё, что я говорю в «Поисках Галатеи», не только не противоречит марксистскому искусствоведению в той его концепции, которая дана Плехановым, но строго согласовано с ней. Как бы выгодна для Авербаха ни была поза защитника Плеханова, он становится в эту позу совершенно зря. Моя мысль бьет не по Плеханову. Она бьет по Либединскому-Авербаху. А ведь это не одно и то же. И если рука Авербаха протягивается к Плеханову, то в действительности вовсе не затем, чтобы защитить Плеханова от несуществующих нападений, а для того, чтобы по возможности приспособить Плеханова к защите Авербаха.

В полном согласии с Плехановым я заявляю, что Пушкинская формула индивидуалистична, в ней отчетливо звучит гнев поэта на свою социальную среду. Желание уйту от неё и замкнуться в мире «звуков сладких и молитв». Совершенно тот же характер имеет и формула Сологуба. Причины обоих явлений, разумеется, не тождественны, но очень сходны. Можно ли, однако, утверждать, что в обеих формулах нет решительно никакого объективного смысла, никакого ценного для понимания природы искусства содержания? Можно ли утверждать, что они являются лишь полемическими выпадами, написанными в минуту раздражения, и не имеют никакого отношения к существу во-

---

*) См. ж. «На литературном посту» № 20-21 за 1928 г.

проса, о котором в них толкуется: вопроса о творческом процессе в искусстве? Иными словами: можно ли утверждать, что их значение исчерпывается без остатка тем, что они являются историческими указателями конкретной классовой ситуации? Или же, сверх того, в них имеется еще принципиальная характеристика самой природы искусства, только данная в классово-преломленном виде?

Я утверждаю, что ни одна строка Плеханова не уполномочивает нас видеть в формуле Пушкина только классовый показатель. Потому-то ссылка на Плеханова здесь ничего не разрешает. Плеханов занимался попросту другим вопросом. Его интересовало извращение, причиняемое творческому процессу определенными социальными причинами. Меня занимает вопрос о том, каково содержание творческого процесса за вычетом извращений, причиняемых ему той или иной классовой ситуацией. Как же мог я совершать нападение на Плеханова или вступить с ним в противоречие, когда я разрабатывал совершенно другую тему, хотя бы и на том же самом материале?

Одно дело — заниматься вопросом о том, в силу каких социальных причин диалектика Гегеля «стоит на голове», т. е. является идеалистической. Совершенно другое дело — задаться целью «поставить ее на ноги», т. е. сделать марксистской, материалистической. Две эти задачи не только не противоречат друг другу, но, наоборот, являются одна для другой естественным дополнением.

Совершенно то же и в данном случае. Плеханов ставит себе задачу показать, в силу каких причин Пушкин придает своему творческому процессу индивидуалистическое толкование. Я же ставлю себе задачу извлечь из индивидуалистической формулы Пушкина здоровое, нужное, необходимое зерно: самое содержание творческого процесса, индивидуалистически-извращенное гениальным художником в силу определен-

ных социальных причин, разъясненных Плехановым. Иными словами: Плеханов объяснил, почему творческий процесс в формуле Пушкина «стоит на голове». Я же, исходя из объяснения Плеханова, в полном согласии с этим объяснением, пытаюсь «поставить» этот творческий процесс «на ноги». И это я хочу сделать для того, чтобы молодая пролетарская литература не проходила мимо самого существа творческого процесса, оправдываясь тем, что он-де дан у Пушкина в индивидуалистической, определенными социальными причинами обусловленной формулировке и потому теперь не нужен.

Но почему же я всё-таки выбрал формулировки столь исключительно индивидуалистические, почему не предпочел обратиться к другим, где отношение между субъектом и объектом искусства дано в более гармоническом, а следовательно и более приемлемом для материалистического миросозерцания виде? Смею уверить, я поступил так отнюдь не из пристрастия к индивидуализму, эстетизму, идеализму и т. д., и т. д., а по совершенно другим причинам.

Дело в том, что индивидуалистическая формула показательней. В ней существо вопроса выступает хотя и в искривленном (и это отрицательная сторона дела), но вместе с тем и в выпяченном виде. Последнее обстоятельство делает такого рода формулы очень ценными, как иллюстрации. Ведь и психику здорового человека мы очень часто понимаем лучше, наблюдая отдельные ее свойства подчеркнутыми в психике больного. Формула Пушкина (а также и Сологуба) болеет определенной социальной болезнью. Это ясно мне не менее, чем моим оппонентам из ВАПП'а, а они попросту попадают пальцем в небо, когда стараются открыть мне на это глаза. Глаза мои не только открыты, но они еще видят немного дальше, чем глаза Авербаха и его друзей. Они видят не только болезнь приведенных мною формулировок, но и здоровый организм, ко-

торый этой болезнью болеет. Они видят также, что в этой болезни многие особенности организма выступают наружу более отчетливо, чем когда он здоров.

Двусторонний, субъективно-объективный характер искусства в произведении реалистическом выступает наружу менее отчетливо, чем в произведении индивидуалистическом потому, что в первом случае субъект искусства — художник не склонен рассуждать о своем отношении к объекту, ибо гармоническая связь между тем и другим предстает ненарушенной. Она дана непосредственно. В случае индивидуалистического творчества субъект искусства, чувствуя, что гармония нарушается, начинает над ней задумываться и это свое раздумие вкладывает иной раз в очень четкие формулировки. Как бы формулировки эти ни искажали связь между субъектом и объектом, они не только искажают, но и раскрывают её. Поэтому из них можно извлечь не мало полезных сведений об этом столь существенном для искусства явлении.

Это одна причина, которая побудила меня обратиться к указанным формулам. Есть и другая. Она не менее существенна. ВАПП'овские работники привыкли к штампам и приучают к ним литературный молодняк. Одним из штампов является тот, согласно которому есть жизненное искусство и упадочное искусство, коллективистическое, индивидуалистическое и т. п., и т. п., причем между хорошим (т. е. жизненным, коллективистическим) искусством и плохим (т. е. упадочным, индивидуалистическим) — непроходимая грань. Этот схоластический, из голов привнесенный разрыв в деле, которое имеет и другую, принципиально-единую сторону, приучает мысль к рутине. Упадочное, индивидуалистическое? Значит ненужное, не подлежащее внутренней проработке. Между тем, живая мысль должна уметь в искривленном находить здоровое зерно. Она должна уметь «ставить на ноги» то, что «стоит на голове». Ведь в этом и заключается усвоение культурно-

го наследства, переработка его на пользу сегодняшнему дню.

Спрашивается, что труднее, но и полезнее: внешнее усвоение приемов толстовского письма, техники Толстого, или переработка всего его художественного миросозерцания, уловление в этом миросозерцании способов отношения субъекта искусства — художника к его объекту? Разумеется, второе и труднее и полезнее. Только проделав эту работу, пролетарский художник выйдет обогащенным не только, как техник, но именно, как художник, в смысле творческого мировоззрения. В искусстве только трудное действительно нужно и полезно.

Но еще трудней и еще полезней отыскать здоровый, нужный, полезный корень в том растении, ствол которого искривлен неблагоприятными внешними условиями. Именно таким растением являются приведенные мною формулы Пушкина и Сологуба. Да, единый, здоровый, нужный корень творческого процесса — воля субъекта к образному выражению своей глубокой, интимной связи с объектом — дал здесь искривленный ствол. Причина этого — в определенных условиях «почвы», «атмосферы», «климата» и т. д., то есть в определенных социальных явлениях, в случае Пушкина совершенно правильно установленных Плехановым. Самый же корень искусства здоров и здесь: корень этот — воля субъекта к образному раскрытию своей связи с объектом — и в данном случае, как всегда, — глубоко общественен, коллективистичен, социально ценен. Его нужно уметь отыскивать за всеми искривлениями, причиненными организму художественного акта условиями среды и эпохи — классовой обстановкой современной поэту действительности. Одна из причин, побудивших меня прибегнуть к формулам Пушкина и Сологуба, заключается как раз в намерении вызвать у молодых пролетарских писателей желание отыски-

вать смысл искусства на затрудненном материале и тем пробудить в них волю к самостоятельной мысли.

Штамп усыпляет мысль. А усыпленная мысль в искусстве губительна, как во всяком живом общественном деле. Деление искусства на хорошее (не индивидуалистическое) и плохое (индивидуалистическое) в той форме, в какой оно преподносится в ВАПП'е — мертвит мысль, успокаивает заранее данной, а потому ложной сортировкой явлений, отнимает волю к самостоятельным поискам, без которых не может быть искусства.

Да, мы обязаны давать себе каждый раз ясный отчет в характере того или иного произведения, должны расценивать его с точки зрения того, насколько ствол и крона этого дерева выражают здоровую коллективистическую природу корня. Мы не имеем право утверждать, что все деревья одинаково прямы на том основании, что у всех у них общий — здоровый коллективистический корень. Смазывание различий, отказ от классификации — грубая ошибка, вредная и в общественном и в эстетическом отношении. Мы не имеем право проходить мимо индивидуализма в мышлении того или иного художника и его чувствовании объекта. Каждое явление искусства мы должны уметь воспринять во всех его особенностях и дать ему четкую общественную оценку.

Кому придет в голову спорить против этого? Речь идет о другом. Речь идет о том, что, определяя особенности данного «растения», классово объясняя происхождение этих особенностей, давая им общественную оценку, мы обязаны всё время помнить, что за всеми этими особенностями находится принципиально единый корень, общий у всех тех «растений», которые мы называем произведениями искусства. Познание принципиально единого корня искусства, скрытого за всеми особенностями организмов, этим корнем порожденных, не является ли одной из основных задач, стоящих

перед каждым работником искусства, перед пролетарскими писателями и критиками-марксистами в первую очередь? Не поставив себе этой задачи и не научившись разрешать её, не научившись отыскивать в каждом произведении искусства (даже самом индивидуалистическом) единую основу творческого акта — волю и умение субъекта выражать свою связь с объектом в образах, нельзя построить пролетарской литературы.

Пролетарскую литературу не может построить мысль, изурудованная штампами, успокоившаяся на готовых определениях, попросту отметающая одни произведения прошлого на том основании, что они индивидуалистичны и упадочны, а потому целиком вредны, и старающаяся перенять у других одну внешность, технику, как будто технику искусства можно оторвать от существа искусства. Для того, чтобы построить пролетарскую литературу (точнее, способствовать ее органическому росту), нужно воспитывать молодых писателей в атмосфере непрестанных поисков, будоража их внутреннюю активность, вызывая в них волю к самостоятельным поискам смысла искусства, воспитывая в них умение отыскивать смысл искусства в любом, самом затрудненном материале, а не приучая их отмахиваться от затрудненного материала успокоительными фразами о том, что этот материал индивидуалистический, вредный, и благовоспитанному молодому писателю из порядочной пролетарской семьи не след с ним знаться. Институт благородных девиц — плохая обстановка для воспитания общественных навыков и творческой мысли, хотя бы это был институт для пролетарских благородных девиц под названием ВАПП. В институтах для благородных девиц учат одной внешней благопристойности: «Нельзя говорить об этом. Ну, знаете, о таком... О неприличном... Индивидуализм, эстетизм, идеализм. Какой ужас! Вспомните, ма шер, ведь вы девица благовоспитанная, как можно себя так компрометировать?»

И девица себя не компрометирует. Она твердо зазубрила правила поведения. В приличном обществе — на каком-нибудь «творческом» вечере ВАПП'а или на большом балу, вроде ВАПП'овского съезда, она умело поддерживает благопристойный разговор: два слова о погоде (живем, дескать, в обстановке строящегося социализма), потом о музыке (кого вы предпочитаете, милочка, Толстого или Тургенева? Терпеть не могу Достоевского, такой гадкий упадочник!), потом что-нибудь острое, этакую невинную шпильку — (взгляните, как плохо сидит мундир на этом военном, ему бы лучше в штатском).

Но жизнь не исчерпывается бальной болтовней. И благородной девице приходится жить и даже работать. Вот тут-то и бывает на нее проруха, вроде Молчановской истории с «изысканным жакетом», который оказался привлекательней женщины-друга и товарища в борьбе или Жаровского требования уважать молчащего поэта, то есть девицу, которой опротивела бальная болтовня и которая желает найти другие, более достойные живого человека слова.

Разумеется, неблагонадежная девица получает по заслугам. Ей делают строгий выговор, грозят посадить на хлеб и воду, а то и вовсе выкинуть из института: паршивую овцу из стада вон. Болезнь ведь заразительна. Ведь благовоспитанным институткам нечего противопоставить «жакетному» уклону Молчанова...

Впрочем, жакет не так страшен. На худой конец пусть себе болтают об «изысканных жакетах», лишь бы жакеты эти были выкрашены в красный цвет. Вот Жаровский культ молчания хуже. Где же это видано, чтобы благовоспитанная девица молчала на балу? Она должна мило и беспечно щебетать, непрерывно обнаруживая свои разговорные таланты и полное довольство окружающим. Молчаливая бальная девица нарушает общее настроение. Одним видом своим она зарождает тревогу: значит не так уж всё благополучно

на этом балу, коль находятся люди, среди «светского» лепета затосковавшие по настоящему правдивому слову, в котором человеческая личность сказалась бы в полной мере. Бальная девица хочет стать человеком! Какой скандал: сюсюкающий вапповский агит-поэт задумался о настоящем искусстве! Есть отчего забить тревогу. Ведь это компрометирует вождей, это нарушает линию руководства, это заставляет все вопросы пролетарского литературного движения расценивать по-новому. И, прежде всего, это властно вынуждает задуматься о природе искусства, о месте пролетарского художника в общем строительстве, о его обязанности понять субъективную сторону того двустороннего процесса, которым является искусство, вопреки мнению вождей, искусству чуждых, а потому неизбежно его вульгаризующих до уровня репортерского «показа» действительности, как бы ни отрекались они на словах от лефовской теории «социального заказа».

Но субъективную сторону искусства, которую можно отсечь не иначе, как уничтожив самую жизнь искусства, нельзя понять, не подняв вопроса об эстетике, о претворении материала реальной действительности в систему образов, — в систему действительности идеальной, нельзя понять ее без той «Галатеи» — или как ее ни назови, — которая так напугала замоскворецкую купчиху, руководящую ВАПП'ом. «Галатея» — единственный аккумулятор эмоциональной энергии, способный поднять работу пролетарских писателей на высшую ступень, превратив их произведения из «человеческих документов» в явления эстетические, явления искусства. Можно и должно ставить вопрос о содержании пролетарской эстетики, — кто станет об этом спорить? Но ВАПП'овская купчиха, открывшая пансион для благородных девиц, видит во всем этом «сконапель истуар» — и только. А ей пуще всего хочется, чтобы всё шло чинно, как в настоящих благородных домах. И вот, когда ее воспитанницы говорят,

что им нужно высморкаться, она делает большие глаза и требует, чтобы они не сморкались, а «обходились при помощи платка».

На такой лицемерной и трусливой фальши в искусстве далеко не уедешь. Эстетика есть эстетика. Как её ни назови, она необходима искусству, как воздух. И надо ставить о ней вопрос прямо, во весь рост. Только поставив его так, можно подойти к вопросу о том, какая же эстетика нужна пролетарскому художнику, какой стиль имеет та идеальная действительность, которую он призван творить. Это вопрос огромного значения и огромной сложности. Ответ на него не может быть дан отдельным работником. Он будет дан всем развитием пролетарского литературного движения, в его тесной связи с развитием литературы руководимых пролетариатом классов.

Отдельный работник не может дать на него ответа. Но он обязан будить внимание к этой стороне дела, а не усыплять его. Он обязан звать пролетарскую литературную молодежь к проработке самого затрудненного материала под этим углом зрения. Он должен воспитывать в этой молодежи чувство искусства, как особого внутреннего процесса. В противном случае, он уведет эту молодежь в сторону от того дела, в котором она работает и этой работой служит своему классу.

Замоскворецкая купчиха, пропитанная жиром «хорошего тона», вся обросшая этим дрянным мелкобуржуазным жирком и выдающая свою рыхлую полноту за здоровые и крепкие рабочие мускулы идеологической выдержанности, неизбежно уведет нашу литературную молодежь в сторону от искусства. Замоскворецкая купчиха, руководящая ВАПП'ом, мешает пролетарской молодежи создавать свою собственную подлинно живую литературу. Опасность весьма реальна. И её надо сигнализировать. Каким путем можно избежать этой опасности? Только одним: не слушать

заказа ВАПП'овской купчихи, которая выдает свой групповой заказ за «социальный заказ» рабочего класса. Я говорил о высокомерной строгости к себе. Утверждаю, что единственным условием успешной работы пролетарского художника является эта высокомерная строгость к себе. Именно она поможет пролетарскому художнику найти в самом себе социальный заказ своего класса, предстоящий не как нечто извне данное, ВАПП'овской бонтонной купчихой натвержденное, а как живой факт собственного внутреннего мира художника. От этого подлинного социального заказа художник не должен отрываться ни на минуту. После того, всю свою творческую энергию должен он направить на прислушивание к нему, на выражение его. Пролетарский художник не может быть индивидуалистом. Он должен быть всегда со своим классом. Но он обязан идти субъективным путем, не удовлетворяя ни одного требования, пока оно не вошло в его внутренний мир, пока оно не стало его внутренним жестом. Здесь пролетарский художник должен быть пушкински высокомерен. И прежде всего он должен дать себе ясный отчет в том, с кем он хочет быть:

С Галатеей подлинного искусства?

Или с жирной купчихой ВАПП'овского благополучия?

Если с Галатеей, — ему предстоит пережить много творческих тревог, которые, однако, неминуемо приведут его к созданию подлинного искусства, столь нужного нашей эпохе.

Если с купчихой, — «житие тихо, мирно и безгрешно» ожидает его, но искусство с ним распростится навсегда.

Выбор должен быть сделан.

(«Поиски Галатеи», Москва 1929)

НИК. ЗАРУДИН

В силу исключительной страстности и многогранной талантливости своей натуры, Зарудин, почти с первых же дней существования литературной группы и до самого конца ее, был основной, ведущей фигурой, среди художников «Перевала» и, как никто другой, с полным правом мог бы сказать о себе: «Перевал — это я».

В советской литературной общественности всякое упоминание о литературном содружестве «Перевал» невольно влекло за собой, прежде всего, имя Александра Константиновича Воронского и тут же обязательно Николая Николаевича Зарудина. Происходило это совсем не потому, чтоб Зарудин был лучшим писателем Содружества. Его художественная проза была хаотична и безудержна. Во всех его писаниях ему недоставало чувства меры. В стихи он, попросту, никак не мог поместиться. И в поэтических опытах своих напоминал оратора, которому ограничили время, а сказать хочется еще очень и очень многое. В то же время Зарудин был несомненно самым ярким человеком в «Перевале».

Родился Николай Николаевич в 1899 году. Учился в Нижегородской гимназии. В детстве он носил другую фамилию. Его отец — Николай Эдуардович и дед — Эдуард Эдуардович Эйхельман были потомками немцев, давным давно переселившихся в Россию. В 1914 году, во время войны, отец Николая Николаевича официально переменил фамилию Эйхельман на Зарудин.

Родители Николая Николаевича были людьми интеллигентными. Семья была большая — пятеро сыновей и дочь. Жили не богато, но все же с полным достатком. Отец был человеком замкнутым и строгим, но справедливым. Политические взгляды его были весьма либеральны.

Свой безудержный оптимизм Николай Николаевич воспринял от матери, которая являлась душой всей семьи. Бытовой уклад в доме Зарудиных, несмотря на протест против своего германского происхождения, носил явные следы старых немецких традиций. Патриархальный дореволюционный быт и душевную атмосферу своей семьи Николай Николаевич Зарудин

прекрасно показал в романе «Тридцать ночей на винограднике», и, быть может, это самые сильные и трепетные страницы во всей его художественной прозе.

С первых же дней Февральской революции в семье Зарудиных наметились некоторые противоречия. Вечная проблема — отцы и дети, в это время, стала по-новому острой.

Николай Эдуардович хотя и принял революцию, но совсем не так бурно и безоговорочно, как его подрастающие сыновья, а после большевистского переворота он окончательно протрезвел. Пытался Николай Эдуардович вразумить детей, но почувствовав, что это не в его власти, замкнулся, замолчал, сурово и неодобрительно посматривая на сыновей, из которых наиболее страстно ринулись в стан победителей — Николай, Георгий и Владимир. С отцом остались только двое: старший сын — инженер и самый младший — десятилетний Александр.

Николаю Николаевичу едва исполнилось семнадцать лет, когда он ушел добровольцем к генералу Корнилову, но вскоре перешел к большевикам, вступил в партию и был политическим комиссаром сначала в красной гвардии, а затем и в красной армии. Романтику фронта он пронес в себе через всю жизнь.

От своего отца унаследовал Николай Николаевич широкие густые брови, тонкий овал лица и энергичный мужской подбородок. К началу тридцатых годов Ник. Зарудин выглядел уже значительно потрепанным. Волосы его поредели, наметилась явная лысина и, без того высокий, лоб казался еще больше. Был Николай Николаевич худощав, роста выше среднего. Во всей фигуре его, в эти годы, уже чувствовался не прежний юношеский пыл, а устоявшаяся манера наигранной молодой беспечности.

О полысении своем он говорил так же весело и шутливо, как о своих любовных похождениях.

— Смотрю в зеркало, вижу, а вот не верю, не могу поверить! — и, с задумчивой усмешкой, добавлял, — может быть, лет через пять, сидя в первом ряду кресел в Большом театре, услышу чудесный женский голос, который, откуда-то сзади, шепчет: «Вон там, видишь, рядом с этим лысым, видишь девушка»... Посмотрю я и вдруг пойму, что это о той самой девушке, что рядом со мной, значит это я — лысый!.. Вот тогда, может быть, поверю...

И тут же, в утешение себе, цитировал стихи Клюева:

Пусть мы некрасивые,
Старые, плешивые,
Но душа, как сон.

Все же, несмотря на некоторую поношенность, был он

весьма хорош собой. Портил его разве только, хотя и безупречной формы, но чересчур маленький нос, да еще черствые складки около большого с тонкими губами рта. Глаза были у него разные: один глаз карий, другой серый, но заметить это можно было лишь при ярком свете. Постоянно расширенные зрачки создавали впечатление больших темных глаз. Взгляд этих глаз был настолько острым, что не сразу удавалось уловить в нем даже общее душевное настроение. Пытливая наблюдательность соединялась в этом взгляде с твердой уверенностью в правильности и непоколебимости собственных устремлений.

Переубедить Зарудина в чем-либо было почти невозможно, но увлечь, удивить, заразить любой новой идеей, выдумкой, лирической настроенностью, было легко. И тогда в тех же глазах, из-под высоко поднятых густых бровей мелькала озорная удаль русского рубахи-парня, либо добродушно сквозило по-мужицки хитроватое одобрение. В народность его, в глубокую связь с рабочей и мужицкой Русью, о которой он пытался говорить в своих стихах, трудно было поверить. Но в живом душевном облике его это психологическое родство с рабочим людом, окончательно осознанное и понятое им самим на вшивых вокзалах, в красногвардейских теплушках, в бродяжничестве и голодовках 1918 года, — бесспорно чувствовалось.

Зарудина многие не любили; была тут, несомненно, и доля зависти к тому, что он умел, если уж не быть, то во всяком случае выглядеть всегда и всюду первым и лучшим.

В самом «Перевале» отношение к Зарудину было, хотя и с полным признанием его способностей, и все же осторожное.

Димитрий Горбов, как мы уже упоминали, утверждал, что Николаю Николаевичу легче писать, нежели что-либо читать.

Писал Зарудин, действительно, легко. Друзья его недоумевали, каким образом, никогда не бывая дома, посвящая все свое время общению с приятелями и различным развлечениям, вроде охоты, перманентно влюбленный, он все же ухитрялся достаточно обильно печатать стихи, рассказы и под конец выпустил целый роман.

Однако, устные выступления давались Зарудину еще легче, чем писательская работа. Когда он рассказывал свои замыслы — всегда получалось несравненно богаче, красочнее, нежели то, что впоследствии было положено на бумагу.

Однажды случилось ему по каким-то делам, а быть может и просто для того, чтобы поохотиться в заволжских лесах, приехать в Нижний Новгород. Местные литераторы предложили Зарудину, в Нижегородском педагогическом институте, рассказать о работе писателя. Позднее нам довелось слышать более чем

восторженные отзывы учителей и особенно учительниц об этом его выступлении:

— К нам не раз приезжали из Москвы такие писатели как Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Сейфуллина, Лидин и многие другие, но впервые мы поняли, что такое настоящий писатель, только при встрече с Зарудиным. Он весь не такой, как другие. В каждом слове его чувствовалось, что перед нами подлинный поэт и огромный художник. Все современные литературные фигуры рядом с ним казались жалкими и серенькими обывателями. Рассказывая о самых казалось бы обыкновенных вещах, он поднимался на высоты, недоступные обыкновенному человеку, и в то же время это была не отвлеченная поэзия, а реальная и даже жадная любовь к человеку и к земле...

И надо сказать, что в подобных отзывах, хотя они исходили преимущественно от женщин, была значительная доля истины. Весь внешний облик Николая Николаевича был именно таким огненным и крылатым. В любое общество он приносил с собой эту заряженность идеями, замыслами, чувствами, а потому невольно прощалось ему многое такое, что в других людях казалось совершенно неприемлемым.

Кроме того, не один Зарудин, но большинство перевальских художников не имели твердых этических устоев, значительно отличаясь этим от теоретиков «Перевала». Воронский, Лежнев и Горбов несли в себе понятие совести в том виде, как оно существовало до революции. У Зарудина, Губера и Слетова, так же, как у большинства современных советских писателей, если и была так называемая совесть, то имела она такие безграничные допуски, что едва ли, в какой-либо степени, соответствовала данному понятию. Но несмотря на безмерное честолюбие и крайний эгоизм, внешне, в «Перевале», все же шла игра в высокое благородство чувств и характеров. Во всяком случае это целиком относится к Зарудину, Губеру и Слетову. Катаев, как мы увидим дальше, был человеком иного душевного склада.

Ярким примером распущенности нравов, столь характерной для быта литераторов тридцатых годов, служат постоянные супружеские разводы и легкомысленные связи в советской артистической среде. Но тут Зарудин, как самый ярый противник всяческих законных браков, оказался неожиданным исключением. Проповедуя холостяцкую жизнь и свободную любовь, он, не в пример всем остальным художникам «Перевала», был женат всего один раз. Он не бросил свою, влюбленную в него, с самых гимназических лет, Веру Петровну. Но никакой заслуги или рыцарской доблести в этом, конечно, не было. Пользуясь всем комфортом возлюбленного супруга, он совершенно открыто изменял жене, на каждом шагу. Иногда Зарудин исчезал из дома на не-

сколько месяцев — это означало, что он путешествовал где-то с очередной своей поклонницей. Но сердце Веры Петровны было настолько любвеобильным, что она все прощала своему Кокочке и даже гордилась его любовными победами. Сама она неизменно хранила верность и воспитывала дочь, которую Николай Николаевич, хотя и любил, но никаких отцовских обязанностей на себе не чувствовал.

Не только в недрах собственного семейства, но всюду в практической жизни Зарудин умел устраиваться с предельным комфортом. Он не любил говорить о гонорарах, но никогда не испытывал нужды в деньгах. Во время продовольственного кризиса 1930-32 года, из всех перевальцев он первым был прикреплен к самому лучшему закрытому распределителю «Литер А». Одним из первых он раздобыл себе новенькую пишущую машинку, что в те годы считалось большой роскошью. У него были первоклассные охотничьи ружьи. Его писательские командировки были всегда оформлены так, что при минимальной работе он получал возможность самых широких развлечений. Таким образом он охотился на Алтае, на Чанах, в Сибири, в ветлужских и нижегородских лесах, отдыхал с любимой девушкой в винодельческом совхозе Абрау-Дюрсо, бывшем удельном имении. В течение четырех месяцев он наслаждался гостеприимством Армении и многое другое в том же роде.

Широко известная эпиграмма на Сергея Михалкова в неменьшей степени подошла бы к Зарудину.

Что другим не доставало,
Все он мигом доставал,
Самый ловкий доставало
Из московских доставал.

Разница с Михалковым заключалась лишь в том, что Николай Николаевич никогда не хвастался своими доставаниями. Всё это делалось у него как бы само собой, так же неприметно, как успеваемость его в писании рассказов, без какой бы то ни было усидчивости, без видимого напряжения сил. И тем более удивительны были эти его всевозможные достижения, что в карьере Николая Николаевича Зарудина, к этому времени, уже наметились явные для окружающих трещины.

Будучи в прошлом своем политкомиссаром в красной армии и членом ВКП(б), Зарудин, по окончании гражданской войны, не был демобилизован, военную форму не носил, но был обязан работать в военной газете «Красная звезда». При первой же вспышке троцкистской оппозиции он решительно и открыто примкнул к левой фракции. Партийная ячейка газеты «Красная звезда», в резких выражениях, пыталась вразумить его. В ответ на партийный выговор Зарудин, на виду у всех членов ячейки,

разорвал свой партийный билет. На другой же день его исключили из партии, демобилизовали и убрали с работы. Оставаться вне партии для Николая Николаевича первое время было тяжело, но зато демобилизация и возможность быть свободным литератором его, конечно, радовали. Эта смелая выходка сошла Зарудину безнаказанно, так как Троцкий оставался еще некоторое время у власти. Затем казалось, что о Зарудине забыли, да и сам он в дальнейшем не давал повода считать себя активным троцкистом. Но все ближайшие его приятели знали, что над письменным столом Николая Николаевича попрежнему висит портрет Льва Давыдовича Троцкого и что его отношения с Воронским не ограничиваются только литературными интересами. Чем дальше и ожесточеннее шло преследование оппозиционеров, тем менее устойчиво должен был ощущать себя Николай Николаевич. Но, до конца понимая, что надеяться ему не на что, он и тут сохранял свой обычный оптимизм и продолжал исповедывать свою верность революции и даже партии, в которой уже не состоял.

— Выкинула меня партия и, вероятно, была права, — говорил он с лирической грустью, — и если даже совсем уничтожит, я тоже скажу, что права и что дай Бог ей здоровья...

В начале тридцатых годов внутри «Перевала», вернее, среди основных участников содружества, при закрытых дверях, зачастую возникали горячие споры о генеральной линии партии, о Троцком, о сталинской диктатуре. В подобных беседах Зарудин яро защищал Троцкого и беспощадно издевался над новым полицейским режимом.

Иван Катаев хмурился и, не возражая по существу, говорил:

— Конечно, Сталин деспотичен, похож на дворника, но, очевидно, именно такой дворник, с метлой и даже с начищенной медной бляхой на груди, сейчас более необходим стране, нежели любые отвлеченные теоретики.

Борис Губер охотно соглашался с Катаевым, Слетов помалкивал.

Абрам Захарович Лежнев беспомощно разводил руками и недоумевал:

— О каком же социализме в таком случае можно мечтать?.. Неограниченная власть полицейских и дворников!.. А где же человек, освобожденный от всяких связывающих его пут?.. Где же те идеи, которые представляют драгоценное завоевание человечества?!..

Споры о диктатуре и о путях социализма в завуалированном виде отражены в романе Зарудина «Тридцать ночей на винограднике». Книга эта, хотя и называется в подзаголовке «роман в восьми повестях», но фактически является своеобразным

автопортретом Зарудина. Тут видны все его чаяния, ощущения, симпатии и антипатии. Написана она тем же, что и его «Древность», витиеватым языком и до предела насыщена метафорами, сравнениями и сложнейшими стилистическими образами. Подобное письмо дает Зарудину возможность быть более откровенным и миновать свирепые цензурные рогатки. Но зачастую не только цензор, но и читатель не в силах разобраться в идейной направленности всего этого бурлящего многословного потока мыслей, чувств и ощущений.

Первую свою книжку — сборник лирических стихотворений — Зарудин выпустил в Смоленске, в 1923 году. Называется она: «Снег вишенный». Стихи эти чрезвычайно беспомощны, в них чувствуется психология наивной гимназической романтики.

Приезжай, невеста пишет
Юноше с бледным лицом.

Вторая книга стихов «Полем — юностью» (издательство «Круг», 1928 год), более зрелая, но и тут содержание его лирики смутно и расплывчато.

Наиболее доброжелательная критика отмечала, что Зарудин пытается создавать «философскую», вне времени и пространства, лирику. Вапповцы обвиняли Зарудина в подчеркнутом национализме, в поэтизации всего «русского». Они утверждали, что его стихи реакционны, и видели в них идеализацию старой деревни, разочарованность, тоску и упадничество.

Но все эти мотивы, которые, действительно, чувствовались в лирике Николая Николаевича, не были присущи ему органически. Скорее это была стилизация и поза, более серьезная нежели «юноша с бледным лицом», но, очевидно, того же происхождения.

Своими учителями в поэзии Зарудин считал Тютчева, Аполлона Григорьева, Уитмана и Бунина. Многие перевальцы, в том числе и А. К. Воронский, воспринимали Бунина как самого крупного мастера слова и лучшего художника наших дней. Зарудин был одним из самых страстных поклонников Бунина, ему удалось достать почти все его эмигрантские издания. Некоторые бунинские мотивы слышны в его стихах, но в прозе Николая Николаевича чувствуется не столько Бунин, как Борис Пильняк. Живое и непосредственное влияние Пильняка, с которым в тридцатых годах близко общались перевальцы, сильнее всего сказалось на Зарудине. Николай Николаевич, не имея законченного образования и не утруждая себя изучением каких бы то ни было источников, кроме своих непосредственных впечатлений, так же, как Пильняк, питался преимущественно багажом всевозможных энциклопедических словарей. Он насыщал свои рассказы и осо-

бенно свой роман неожиданной и легковесной эрудицией, что разумеется отяжеляло и засоряло местами действительно яркую и свежую прозу.

В романе «Тридцать ночей на винограднике» упоминается Кант, В. В. Розанов, тут же введены исторические и этнографические справки, но все это, лишь по наслышке, все взято из словаря и приправлено эмоциональной окраской, случайно прихваченными где-то и от кого-то впечатлениями.

Из всего Достоевского, и то лишь по настоянию друзей, Зарудин прочел «Село Степанчиково». Был он в полном восторге, но дальше дело не подвинулось. Толстого, Тургенева, Чехова, Мопассана и Гамсуна (которого очень ценил) читал в гимназические годы и потом к ним не возвращался. Он читал некоторые книги советских писателей, преимущественно Пильняка и Пришвина, отдельные рассказы Максима Горького и прозу своих друзей — Катаева, Слетова, Губера. Однако его природная одаренность требовала более существенного литературного питания и сам он в глубине души сознавал это, но просто не успевал, времени нехватало. Слишком наполнена была его жизнь всевозможными сторонними увлечениями.

Влияние Бориса Пильняка сказывалось не только в литературных произведениях Зарудина, но и во многих его взглядах и даже в манере держаться. Но в нем всё же не было той циничной разнузданности и обнаженной беспринципности, которые являлись основным тоном в облике Бориса Пильняка. Всяческие заимствования, как в литературе, так и в жизни, Зарудин умел опоэтизировать и романтизировать и потому то, что в Пильняке казалось отвратительным, в Зарудине многим нравилось.

Всё же, несмотря на заимствования и подражания, Николай Николаевич был в достаточной степени самобытен. Он посвоему воспринимал мир, в его произведениях, особенно в прозе, чувствовалась собственная поступь и собственное поэтическое дыхание.

Молодой ленинградский писатель Куклин на вопрос о том, какое впечатление произвел на него Зарудин, ответил:

— Что же, писатель он, конечно, талантливый, яркий. Много блеска, а в общем «искры гаснут на лету».

Подобная характеристика всех литературных порывов Николая Николаевича была столь же беспощадной, сколь исчерпывающей. Но невольно хочется добавить, не в защиту или оправдание, а единственно для полноты общей картины, что, хотя искры действительно гасли на лету, но среди мрака окружавшей его дешевой литературщины и казенной скуки цыганский костер этот все же пылал настолько горячо и живописно, что для неопытного глаза мог казаться подлинным маяком.

НИКОЛАЙ ЗАРУДИН

ДРЕВНОСТЬ

За гранью прошлых дней...
Фет.

Древняя ночь августа. Жарко налиты огнем драгоценности звезд. В их жертвенной, мерцающей яркости безмолвный лес нависает столетним мраком; пропадая во тьме, уходят в тлеющее небо сосновые вышки. Я лежу в заброшенной лесной избушке, — где, когда, с кем — уже позабыл, и смотрю на костер, в груду колкого багрового жара; он сумрачно звенит и покрывается тонким сероватым пухом. Серые тени забвения!..

И первый комар поет песню ветлужских лесов. Тонко поет зеленая глушь, ядовитая, как медянка, зыбко крутит лесным светлым паром, настоем рассветных цветов.

Глушь гниет. Ночь сыра. Сумрачный костер. И толкутся, мешаются тени.

Где я? И — что я? В забытье встают вековые, затененные недра лесов, комариная тьма колодников и еловых боров. Там во тьме старинная река блестит и уходит на низ; она уносит во мглу свои воды и омута, звезды, спящие в застойных ярах, свои пески, черные мореные дубы, запавшие в сладкой тине. Журавли стоят в чародейном тумане. В лугах росисты шиповники. Пахнут миндалем ивняковые круглые кущи. Воды белеют утиным рассветом. Я лежу в курной чадной избе, в глубине заваленных древесной падалью квар-

талов, в гнилом хаосе лосиных болот. Дым кружится и тянется в звездное окошко. Я слышу, как кругом на десятки верст жадно растут, впиваются в землю, шевелятся и гниют лесные трущобные недра.

Комары поют. Они жалят слух тончайшим игольным писком, воспаленно зудят в сыром мраке. Они поют о красном закате костра, о ветлужских еловых кварталах, повествуют о мраке глухариных заказников.

Я засыпаю, сваливаясь в настороженную дремоту. Огонь мигает мне раскаленным звериным глазом. Смешиваясь с потемками, я вижу белоснежное, ласковое, непонятное, затем все потухает, и мне снится древний, торжественный лес, наполненный потемками. Он полон ими, и в них возникают нежно-палевые, непостижимые стволы. Призрачно поднимаются они кверху неисчислимыми бледными полосами, теряясь в густом, нависшем рождественском мире. И вдруг во мгле взрываются огромные угрюмо свинцовые серые птицы. Они рассаживаются наверху, и ломко ходят во тьме их круглые черные хвосты. И большие костяные капли начинают падать с верхушек:

Тэк-э... тэк-э... тэк-э... тэкэ-тэк-те-ре-так...

Играют глухари.

Грань первая

Эти птицы владеют мною с самых отдаленных детских времен. В верховьях жизни, на самых потаенных тропинках встают мои первые ощущения, как бы отдаленные зарева потухших когда-то охотничьих костров. С пожелтевшей гравюры старинного издания Брема посмотрела на меня большая неуклюжая птица, с круглым куриным телом, бородатой головой, такой, с какою теперь уже никто и ничто не бывает... Она сидела на большом хвойном суку, важная, нарисованная с тем манерным простодушием, каким отличаются старомодные охотничьи рисунки. Птица вытянула голову и собиралась лететь; глубоко под нею чернели гористые лесные громады, уходящие в непроходимую даль.

Меня на всю жизнь пленили этот рисунок и особенно то, что лес уходил на нем до конца света... Что-то средневековое было в этих германских дремучих деревах, туманно зиявших глубиною сырых сумрачных дебрей... Они поднимались, обвешенные мхами, вознося кверху целую пучину грозного лесного океана, сливаясь в черную хвойную даль. Эта даль была без конца. Высоко над верхушками сидела старая охотничья птица и смотрела через всю мою жизнь...

Пусть на дворе шумит и крутится вьюга, пусть снег заносит всю землю и шуршит, ударяясь в ставни, — мне сладко часами не отрываться от таинственных, бремовских слов.

... «Она распространена по бассейнам глухих и таежных рек»... эпически замечает древняя книга, пахнущая кожей и кислой стародавностью. ... «Встречается в средней части Европейской России»...

Желтый круг керосиновой лампы начинает темнеть и расплываться. Бородатая птица, сидящая над пустыней лесов, медленно и настороженно приподнимает голову. Непонятная розовая и желтоватая карта, висящая в отцовском кабинете, начинает темнеть; я чувствую, как с нее дует сырой, непроглядный ветер. Вот медленно текут и плещутся свинцовые, студеные реки, уходящие вниз. На них нет ни огонька. Желтые стены сосновых лесов стоят на их берегах; слышно, как ходят, скрипя, отдельные деревья. Снег тяжелыми хлопьями летит на сальную, неприютную воду. И ледяной мрак веет в белые сновидения детства своими хвойными безлюдными пропастями... Как стонут, насквозь продутые, холодные леса! Вьюга обсыпает их колючим снегом и заносит темнотой. А птица сидит наверху, где особенно тоскливо и ветрено, где вершины ходят с пронзительным скрипом, проваливаясь в ночь и снова возвращаясь из мрака, — непостижимая на своем сучке, одна во всем мире...

Просека чуть белеет под ней бледной снежной млечностью, туманное море верхушек набегает седым прибоем. Я прохожу гудящим казенным лесом и слышу, как там наверху кора звенит и лопается от мороза. А деревья стоят прямо и часто, поднимаясь, как хвощ, плотной, черной стеной. Что-то упрямое, ненасытное и тоскливое озаряет глубину сердца. Вершины ходят, наклоняя свои голые, болотно-обреченные, бледные стебли, послушные буре, летящей из глубины таежной Сибирской пустыни. Она проносится над застывшими озерами и просеками, над полями и погостами, над всем миром и над тем далеким, уже ночным моим губернским городом...

Где он, отжелтевший керосиновый свет юности?

Ветер шуршит в застывших кустах сирени, галки дико, чортом срываются в городском саду. На улицах холодно, и холоднее всего от заборов. И пещерно выплывает белеющая снегом улица, скучная, на которой есть кинематограф «Бразильский» и есть фотография, где уже много лет выставлены длинные портреты, люди на фотографиях — с зачесанными писательскими волосами, в сапогах; руки держат они у поддевок, оттопырив — лица у них пожелтели от времени и недовольны. Город старый, либеральный. Тут же ветер обсыпает снежным шелестом черную вывеску с крендельными золотыми буквами:

Кениг и сын

«Д И А Н А»

Я вхожу в подземное царство охотничьего счастья. Его пахучая полутьма нежно блестит витринами с широкими бликами матовых ружейных стволов. Воздух сладко настоен на тревожно-счастливом, волнующем запахе: здесь висят сумки и патронташи из скрипучей шагреневой кожи. В потемках ловит время огромный плюшево-бурый медведь с новенькой двухстволкой на шее и ярко зеленым погоном. Громадная серая птица,

хлопая крльями, с надрывистым свистом срывается с пожелтевшей бремовской гравюры и застывает на пыльном сучке с желтыми сосновыми иглами, рядом с черно-курчавой головой буйвола, играющего яростными стеклянными глазами. У птицы топорщится шея и отливает зеленым серебром. Она наклоняется и широкий хвост ее разворачивается с треском, рисуя на стене пышный японский веер. Дверь старомодно хлопает домашним, отставным колокольчиком.

Старый Кениг выходит из могильного мрака в немецком тугом воротничке, в сиреневом галстуке с булавкой, в манжетах с широкими синими полосками. К его вязаному жилету тесно прижато открытое ружье, тускло отливающие синью и серым глянцевым мрамором. Старик таращит свои сизые, подагрические глаза с красными жилками и говорит, задыхаясь:

— Молотой человек... да хабэн зи эйнэ прахтфолле флинтэ! О!

И ружье, осветясь своими стальными полированными недрами, звучно щелкает, щегольски запираясь ловким гринером; ложе его отливает вишневыми сгустками темного вощеного ореха; широкая прицельная планка кажется сырой и пыльной.

— Э-дуард! — хрипит Кениг-отец. — Молодой человек желает лучши бумажны гильсы...

Зеленые и красные шеренги ровных картонных трубок отражаются на стекле. Бледные лейтенантские руки молодого Кенига поражают огромным бриллиантом.

Он ловко разбивает гильзы на отделения; к ним присоединяются синие пороховые коробки с круглым неподвижным медведем на этикетке, ремни, сетки и те таинственные медные и выкрашенные в лягушечий цвет вещи, которые так аккуратно разложены за ледяными освещенными стеклами.

О, эти стекла и зачарованные гимназические пуговицы!

Во мраке прошлого Кениг-сын передает мне тяжелые, как гири, тщательно перевязанные покупки и блестит костяными отсветами своей нафиксатуаренной головы с надменынм прусским пробором.

Колокольчик звякает, — и с морозным паром счастливое дыхание юности охватывает потемки улицы с ее золотистыми губернскими огнями.

На улице гонит сухую снежную пыль и прохватывает ледяным сквозняком. Это — дует с Волги. Если пройти дальше, миновать Покровку и вечерний, уже занесенный потемками Кремль, с его скамейками и деревьями, тянущими в ночь свои голые, холодные щупальцы, выйдешь на откос. Там совсем пусто, бездомно, ноги тонут в темных надутых сугробах. Огромная черная бездна тускло мерцает редкими огнями, обвевает своим пустынным, снежным и лесным мраком. Губерния уходит в темноту своими лесами, болотами и закрытыми в солому, спящими деревнями. Ветер не доносит ни лая, ни звука. Но я слышу издалека, словно из-под земли, глухой набегающий мачтовый шум; резкий скрип врывается в этот ровный прибой, лес жалобно кричит и плачет; по ночной губернии идет заунывный деревянный набат... Лес набегает грозным, растущим гулом, осыпаемый снегом; по реке, где нет ни души, гоняются друг за другом белые, поминальные вихри.

Здесь, именно здесь, давным-давно, весною, когда заволжские ветра становятся тревожными и влажными, проносился я, минуя гудящие лесные полустанки с их штабелями бревен, пахнущих морем, бесконечные мосты под снежными еще тростниками, семафоры, уездные станции. Березовые рощи уже туманились, опухали резной синей бахромой. Утром кричали грачи нахально, резко. Снег на промелькнувшей мимо сторожке, ярко желтой от солнца, уже распекшего за-

боры, осунулся и посерел. Вечером зеленый фонарик семафора говорил о пустоте березовой рощи, о хрупких сумерках, о России.

Поезд уже грохочет ночью. Я проношусь в притушенном вагоне темным лесным миром туда, на край света, в какую-то давнюю, заброшенную страну. И те же старомодные потерянные слова пленяют память под лязг и громыхание дымного дальнего поезда ... «По бассейнам глухих и таежных рек... в верховьях заброшенных, заповедных речек, в мрачных сырых лесах»... — Вагон, точно приседая, еще стремительнее и страшнее бросается в свой чугунный бешеный и безвозвратный поток...

... «Жизнь этих птиц мало исследована и таинственна. Она спрятана от глаз человека... они не выносят неволи и оттесняются все дальше и дальше от человеческого жилья, туда, где еще сохранились густые чащи, ягодные непроходимые болота, дремучие леса»...

Глухой, отдаленный и грустный свисток паровоза ярко прорезывает качающийся мрак отдаленного, забытого; с шумом проносятся какие-то строения, штабеля досок, вагоны — и все заволакивается влажным темнозеленым шумом.

Какая ночь стоит над миром!

Мы выходим из домика в самый поздний, беспросветный час, и сразу все пропадает в непроходимой, беспредельной темноте. Деревьев не видно. Они слились с ночью и потонули в ней. От звезд, мигающих в смутных бездонных просветах, рябит в глазах. Они играют звериными томительными огнями. Высь уходит головокружительной, роящейся бледностью.

Мы уже идем целую вечность.

Я не вижу лесничего, но смутно чувствую, как покачивается его неширокая сутуловатая спина, как раскачивается подвернутый рукав, закрывающий обрубок

его левой руки. Мне вспоминаются его старческие бритые щеки с лиловыми отеками, его короткие прокуренные усы и худая шея в расстегнутом вороте, от которой мне всегда становилось грустно, неведомо почему; в стариковских шеях столько печального и трогающего, чего никак не выскажешь.

Лесничий останавливается и шепчет тоном старинного сообщника, таинственно и серьезно:

— Ну, теперь шабаш. Вчера... здесь вот, по болоту, двух убил... Как бараны! Стойте-ка... стойте...

И он перестает дышать. Лес звенит чудовищной тишиной; я замираю от ужаса, — так громко стучит мое сердце. Но лесничий говорит уже громко и обыденно:

— А вот медведей стрелять еще интересней, батюшка... Тот, знаете, проворный. А ночь-то, ночь!

Звездное зарево побледнело. Мы идем уже уверенно: во мраке стали угадываться дымные столбы уходящих ввысь сосновых стволов. Лес заредел. Речка глухо отзванивала где-то сбоку, на отлете — ночные сумерки низкого болота встали пред нами серым призраком.

— В самое время! — дышит мне в ухо лесничий, и я ощущаю кислый запах водочного перегара. Боже мой! Он пил всю ночь, милый, седой, заброшенный. — Вы... того — действуйте, — говорит он. — А я послушаю. Только чур: стрелять под песню, идти не торопясь — птица пуганная...

Он исчезает. Я остаюсь один во всем мире, и от счастья мне страшно и невероятно. Тихо. Разве взвести курки? Податливые, шершавые нарезки мягко поддаются пальцу и щелкают. И тут же мне представляется пустой левый рукав лесничего. Что я делаю? Рука нащупывает спуски, — и в тот самый момент где-

то недалеко, вверху, в бледно-звездной темноте верхушек, что-то оглушительно хлопает и обрывается отдаленным громом...

Я слышу, как треснула и упала шишка. Птичка жалобно и тонко пискнула в сучьях. Над болотом тревожно процикал, низкой кожаной нотой, хрипнул вальдшнеп, мелькнув по серому небу, — но я не обратил на него никакого внимания. Сладкое, мучительное страдание стиснуло сердце и легкие. — Раз... Два... Три... — считаю я до ста, с тайной надеждой, что вот тогда все устроится, все прояснится, и я увижу (хотя бы один раз!) то таинственное, уже ставшее для меня страшным в своей необычности и в своем невероятии, что вдруг должно появиться неведомо откуда, из темных, жутких, давно знакомых, но уже исчезнувших дремучих дебрей. Какая смутная, древняя, языческая сила должна привести сюда, в эти звездные сумерки, ее, эту странную громадную птицу, живущую еще до сих пор далеким, древним миром, который может сниться только в неясном детстве?

Заря уже брезжила. Рваные грубые контуры сосен чернели в зеленоватом небе. Болото серело и обнажалось. Мир природы выступал своим зеленым хаосом. Всё молчало. «Всё погибло, — думалось мне. Да и могло ли быть иначе?» И мне уже представился день, будничный дневной свет, мы с лесничим на весенней, светлой дороге. Он с серым прожитым лицом. Как он худ, беспомощен и жалок! «Вы не огорчайтесь, — говорит он, — глухарей все равно найдем». И в его голосе звучат старческие извинительные нотки...

Небо уже светилось. И вдруг, вверху, бесконечно далеко, я услышал слабое, неуловимое шипение. Оно оборвалось, чтобы через несколько мгновений появиться опять, — непохожим ни на что на свете. Неясная лесная жизнь, дальние отзвуки бурлящего родника, забытый разговор потухающих угольков, — тем-

ное, неуловимое, неосязаемое, — едва коснулось слуха — и исчезло. И тотчас я услышал ломкие, костяные звуки, звонко и отрывисто отбившие начало песни; они участились и рассыпались в быстрое и страстное колено...

Я прыгал среди редких туманных сосен и вскоре увидел птицу, черным силуэтом застрявшую между хвойных веток. Глухарь сидел раздутый, раздвинувший свои мощные перья, поводя громадным полукругом раскинутого хвоста, в белых мраморных пятнах. Бородатая голова его приподнималась и опускалась в такт бурлящему горлу... Косматый и черный, он поворачивался в нежном и розовом сиянии, проникавшем в сумеречность сучьев. Древнее, полночное, петушиное было в этом мохнатом призраке, повисшем в рассветном безмолвии дерев.

Задыхаясь, я навел на это черное, ходящее по суку, — и вместе с багровым, гулким, потрясшим весь лес ударом, сразу понял, что все погибло. Громадная птица грузно встрепенулась, ринулась вниз и, круто захлопав и свистя, замелькала среди сизых курящихся сосен. Ружейный дым шел по земле синими, сырыми кругами. Я бессмысленно бежал, спотыкаясь между пней, гнилых сучьев, мохнатых и грозных стволов. Отдаленные звуки и шорохи еще стояли в ушах. И острая предсмертная боль, целый разгромленный мир, погубленный мною, застлали весь лес, сочились горючими, ночными звездами, еще стоящими в глазах; нестерпимо жгучие нависали они, расплываясь горячими, задохнувшимися соснами, стекая палящими солеными жгутами, закрывая все ослепляющим блеском. Разбиваясь в грязные струйки, падали они на мое первое ружье.

— Иван Ми-хайлович!.. Иван Ми-хайлович! — кричал я, цепляясь о сучья, безвозвратно погибая, захлебываясь в диком отчаянии и ужасе. — Иван Ми-хайлович!..

Грань вторая.

В лесной избе было тускло и чадно от густого серого дыма. Серные прокуренные бревна нависали из мрака и, поблескивая мокрой смоляной копотью, грустно отсвечивали рассветом, поздним и сырым. Рассвет еще сеял свои полосы в низкую дверцу. В этой бледности была предосенняя гиблая лесная пасмурность, когда зелень становится чересчур яркой и глядит утомленно.

Зарудин проснулся от душившего его бреда — и с трудом поднял свое тело со сбившегося, колючего сена. От косых и неровных нар тело ныло свинцовой усталостью. Он слез с досок и ползком выбрался из прелой, дымящейся избы. Тусклый, залитый водой, затянутый туманом мир сразу обдал его тысячью своих запахов. Лес парил. Ночной пряный дух поднимался от земли. С лугов душно пахло болотными цветами. Комары тонко и надсадно звенели у зудящего лица, в горле першило. И Зарудину стало сразу не по себе и одиноко на этом усталом лесном рассвете. Повеяло, нанесло откуда-то легким дуновением отдаленного, полузабытого сна. Спускаясь к речке, задевая кусты, окутанные ночными махровыми запахами, он ощутил на сердце звенящую пустоту, и блаженную, и сладкую. Быстротечно пронеслась легкая юношеская тень, повеяло просто и кратко радостью милой памяти... Старичок Иван Михайлович скончался восемь лет назад. Он заброшен, всеми забыт, никем не оплакан. Вода на речке стояла в забытье, осиротелая, почти осенняя. Большие кусты с утиными лапчатыми листьями касались воды, и вода обдавала холодком лесной черной смородины. Славно поплескаться в дикой, заброшенной на краю земли речке, ощутить в себе буйные старинные силы! Поднимаясь по белому от росы косогору, Зарудин ничего уже не помнил: мир жизни охватил его свежей играющей силой.

Огромные коршуны парили над лесом, их дикие крики говорили о пустоте осенних лесов и отлетных стаях.

На тонких московских часиках еще нет четырех. Пожалуй, дождя больше не будет, но лес надолго еще останется и сырым и туманным. Это плохо: глухари не любят воды, и после дождя не будут широко ходить, — с собаками можно пройти мимо самого выводка. А ведь середина августа, — самое время для летней глухариной охоты. Молодые уже выровнялись, заматерились, нагнали крепкое перо. Петушки одели свои распадающиеся, тускло-зеленые воротники, потяжелели на урожайных нынешних ягодниках и, подымаясь, летят с тем надрывистым тяжелым присвистом, который так веселит сердце записного охотника. Выводки прочно держатся своих излюбленных мест. Смешанные глухие перелески у зимних дорог, ягодные боровины, сухие песчаные веретья, поросшие вереском и столетними соснами, осинами и елями, — обычные их угодья, где с хорошими лайками можно всегда наткнуться на этих прекрасных, сторожко-отшельнических птиц.

Изба еще курилась, когда охотники, бросив лайкам последние куски, не оборачиваясь, задевая ружьями росистые ветки, пропали в омуте курящегося зеленого дыма. Старик шел впереди, не торопясь, перелезая через поминутно вырастающие громады павших стволов, ловко мелькая между переплетенных, перепутавшихся и склонившихся друг к другу деревьев, сучьев и кустарников. Изредка он останавливался и свистел собакам, и тогда Зарудин снова и снова с любопытством вглядывался в его странный, непостижимый, таинственный лик.

— Алексей Яковлевич, — хотелось спросить ему, — кто вы: готентот? дикарь с острова Таити? жрец, умерший пять столетий назад? или просто милое человеческое дитя?

Но старик непостижим. Кожаный старый картуз скрывает его длинные покойницкие волосы, падающие прямо и сквозящие коричневой, грязной, старческой плешивостью. Глаза его наивны, сини и поражают своим широко открытым спокойствием. В неровной инородчески-редкой бороде, как всегда, застряли крошки, оброненные его непомерно большими, обвисшими губами, с постоянно запекшейся синевой. Он стоит, вросший в землю, в корни, в буйную густоту зеленых неисчислимых стеблей, в своих серых портяных лохмотьях и кажется обветшалым старинным идолом.

— Х-уть!.. Ху-уть! — хричит он таким тонким и жалобным голосом, что рябчики трескучим веером поднимаются в густом ольшанике за болотом... — Мотик!.. Мотик!.. Ху-уть!..

Мотик серебристой тенью мелькает среди елок, обнюхивает на ходу моховые кочки и бросается, поводя кругами, за болото. За ним вырастает из-под земли черная Кукла, остроухая, с зелено-серыми хрустальными глазами. Она смотрит на охотников и, виляя хвостом, извиняется: «Ну, что же, — говорят ее звериные взоры, — я не виновата... Мне тоже хочется попробовать теплые глухариные кишки, но их нет»...

Зарудину видно, как собака быстро уходит в лес, как она останавливается, вбирает с земли целый мир недоступных человеку запахов и следов. Она ищет тревожно, то поводя носом, то стремглав бросаясь вперед. Зарудин снимает с плеча мокрое ружье и пробует предохранитель: ружье готово...

— Алексей Яковлевич, — шепчет он, — собака-то приметила...

Но старик невозмутим, как всегда, и как всегда, одинаково его лицо в черно-синих угрях и пятнах.

— Не пройдут... — отвечает он тоже шопотом, но просто, обыденно, — собаки-то... Энтот вот помоложе, а способистей. Гляди, и на потку никакую не взлает.

Собак уже не видно. Желтыми и фиолетовыми колоннами стояли сосновые стволы и оливково тянулись в самое небо ветлужские сказочные осины. Ели свисали клочьями синеватых мхов: на них страшно смотреть, в глазах темнеет, когда запрокидываешь голову... Капало, стекало с деревьев. Шагов не было слышно: лапти глубоко тонули в напившемся, пышно-податливом мху, подымавшемся отовсюду мириадами своих ярко зеленых звезд. Лес обволакивал своим душным дыханием, своими дурманными красками, своими шорохами и звуками. Где-то простучал дятел, и далеко отдался его резкий оборвавшийся, пулеметный стук. Желна захохотала в сучьях, зловеще махнув в сумерках хвойных иголок клоунскими радужными перьями... Все влажно дышало кругом, сладко упиваясь росистой ранней свежестью. Черника раскинула свои голубоватые ковры, осыпанные неисчислимыми шариками ягод, затуманенные матовой сизой пыльцой. От ягод голова идет кругом, — синие россыпи их покрывают пни, обомшелые колодники; ягоды лезут под ноги; они поднимаются, унизав высокие кусты, кочки, пригорки, тянутся целыми полями. Руки и губы уже покрыты их лиловыми несмываемыми чернилами. А их все больше и больше. Как, наверно, сладко, вольно и беззаботно пастись здесь лесным птицам, слушая внимательное квохтание большой оранжево-круглой глухарки, встречая каждый день лесные рассветы! Как сладко дремать им, прижавшись к замшелой дремучей ели, высоко под звездами, над мраком хвойных пустынь, когда внизу господствует сумрачная тишина верхушек. А бури, когда лес скрипит и качается!.. А грозы...

Бледное водяное сияние дня становится яснее и прозрачнее. Иногда небо прояснялось, — атласный, вымытый провал его сиял девичьей утренней прелестью; солнце прорезывало золотыми пивными искрами столбы светового тумана, восходящие в лесных

просветах. И на солнце сразу становилось жарко, начинали звенеть мухи. Большие желтые бабочки трепетали, срываясь с широких листьев.

Охотники погружались в мохнатые еловые дебри. Стемнело и засырело. Идти становилось всё трудней от навороченных гнилых колод и вставших корней, потянувших с собой землю, со всем прижившимся к ней зеленым, впившимся в коричневую гнилую труху миром. Ноги проваливались в гниющую древесину, из мрака которой тонко звенел и поднимался столбом комариный окаянный зуд. Голову кружило от сладковатого эротического запаха грибов, разбросанных повсюду. Белые боровые торчали из-под еловых шатров, поднимая свои коричневые замшевые головки. Лес опускался вниз.

«Странно, — думал Зарудин, еле выволакивая ноги из цепких сучьев и пахучей гниющей трухи, — мы привыкли чувствовать лес плоским, растущим на ровной площади. В сущности же говоря, какие это горы, долины, пропасти!»

Ему представилась уходящая в даль, искореженная пнями, морщинистая от повалов, гор и откосов пустая порубленная гарь. Чувство острой жалости охватило его от сознания, что так, именно так скоро оно и будет... Топор и пила обнажат бугристую шишковатую голову земли, состригут, сбреют эти густые пышные зелено-черные кудри. И этот старик, нищий, грязный, звериный... Как он сросся с сизым сумраком этих стволов, болот и гниющего дерева!.. Даже его ружье, — кусок выверенной, сверленой стали, бывшей совершенным американским военным изделием, — приспособились к нему, осторожному, слитому в одно целое с ржавыми, зеленоватыми, серыми красками. Деревенский кузнец приделал к коробке скорострельного винчестера огромную заржавленную стволину с напаянной кривой мушкой. Ружье покрылось глубоким слоем застарелой, навсегда запекшейся ржавчи-

ны. Но сколько прекрасных зверей и птиц полегло под дымными, громовыми ударами этого грубого, почти древнего орудия.

Чорт знает что! Зарудину представилось, как бьется на земле подкарауленный, выслеженный, обманутый глухарь, отливающий на весенней красной заре зеленой амальгамой, кофейным шелком мощной груди, белым атласом подкрылий, тончайшим серым крепом перьев ювелирной работы... Даже кровь, столь ужасная на человеке, прекрасна на его зеленом роговом клюве — висящая сгустком влажного вишневого бархата... В его огромных глазах, округленных золотым ободком, еще живет ужас, он еще помнит огромную кинувшуюся тень, которая склонилась к нему своим коричневым ликом идола, детскими широкими глазами, грязными, затертыми портяными лохмотьями...

Зарудину стало противно, отвратительно, мерзко. Завоеватели! Вспомнились — темная изба, с ее кислым прелым запахом, печь, на которой постоянно сушатся зловонные онучи: девки, тощие, голенастые, с прилизанными коровьим маслом, а поэтому дурно пахнущими головами. Ему припомнилась последняя ночь в той душной, притуленной к печке избе, где этот старик прожил всю жизнь, все радости и надежды: от подушки кисло тянуло тем же прогорклым маслом, всю ночь обжигали клопы... Зарудину сразу стало грустно, одиноко, он почувствовал, что устал, что этот старик, которого он считает своим другом, чужд ему, непонятен и ужасен.

— Переделывать! Переделывать! — шептал он, с трудом волоча ноги, — камня на камне не оставить на этих вонючих вшивых гнездовьях... Вредители! Чудища! Навозный компресс на теле республики...

И старик, неторопливо шагавший со своей огромной кочергой, показался ему большим серым насекомым, забившимся в заношенные складки дряхлого умирающего мира.

В лесу сразу залились, яростно перебивая друг друга, собаки.

Гау... гау... гау... — бросал заунывно, забирая все грознее и переходя в остервенение, Вотик. Гав, гау! Гав, гау!.. Гав, гау, гау... — кидалась с женской страстностью Кукла. Лес зазвенел, зааукал и наполнился громом и треском тяжело подымающихся крыльев... В соснах и елях замелькали косо забирающие, надтреснуто свистящие во все стороны серые глухариные копны. Собачий лай слился в завывающий серебристый набат. Ау, ау, ау, ау, ау, — отдавалось в лесу, заглушая осторожное: куак... куак... куак...

Как в тумане, Зарудин увидел огромную пепельную птицу, севшую прямо напротив него на верхушку одинокой, задранной в самое небо ели. Снимая на ходу ружье, он бросился вперед, рукой сдерживая колотящееся сумасшедшее сердце. С легкостью перемахнул он через скользкую мокрую колоду, продрался через колючие кусты и замер.

Легко, благостно и безбрежно парили в небе пуховые, завитые тучки. Еловые черные лапы, не двигаясь, плыли куда-то в лазурную теплую даль, — непоколебимо, неподвижно разрезывали они белые облака. Тишина и спокойствие опочили на еловых ветках, и белое, воздушно-легкое, перистое, — то, что стояло над верхушкой, — казалось детским и пушистым. В висках звенело, голова уже затекала, небо начинало темнеть, но Зарудин не видел птицы. Он ходил вокруг дерева и все больше и больше убеждался, что глухаря ему не найти. Он чувствовал глухой шум в голове, в виски четко стучало сердечным молотком, знакомое охотничье отчаяние холодком пробиралось за спину.

— Миколай Миколаевич... — услышал он вдруг страстный сияющий шопот.

Он оглянулся. Старик стоял, высоко закинув свою обвисающую пыльными волосами голову, и показы-

вал ему вверх... Не чувствуя земли, спутываясь ногами, перехватывая хриплое дыхание, тот тщетно бродил глазами — и, наконец, увидел: глухарь чуть брезжился низко опущенным хвостом, уплывая вместе с вознесенной вершиной навстречу неподвижности снегового облака... Ружейные стволы на миг закрыли его сливающуюся тень, секунду он задержался между двух стальных полукругов, — и ружейный удар показался особенно гулким, подрезывающим и посадистым. Громадная птица плавно, не задерживаясь, мелькнула в воздухе, безмолвно и мягко стукнувшись темным бултыхнувшим зобом и распавшимся ворохом перьев. Одинокое перышко, крутясь, опускалось в воздухе.

Держа птицу за длинные шершавые ноги в плоских роговых пластинках, Зарудин еще раз ощутил истому дикого, необъятного счастья... Собаки заливались впереди — и это сулило еще то новое, тревожное, острое в своей сладкой и сердечной тоске, которое, он чувствовал, повторится опять, которое было сейчас и которое будет еще впереди без конца... Это без конца было особенно сладостно, и потому что охотничье, древнее всегда поднималось из пройденного, векового, затерянного в забытом, туманится синеватым куревом потухших костров, светивших много лет назад, зовет неизведанными дорогами вперед, — никогда не иссякнут темные, уходящие вдаль неведомые охотничьи дороги, никогда не умрет темное счастье предчувствий, погони, удачи, счастливой охоты...

Он неожиданно понял, как страстно любит жизнь — мучительной, детской, охотничьей любовью. Ему вспомнился смутный и очень давний мир, горящая тьма, ужасные звезды, разгромленный бор, — но полностью всего он уже не мог припомнить... В своем ощущении мучительной влюбленности в этот лес, в этот дикий, неприветливый, почти каменно-угольный

ландшафт, в этого старика, вдруг сказавшего так необычайно, так древне соучастнически: «Миколай Миколаевич»..., когда они стояли под древней, сказочной добычей (сколько веков тому назад!), — в своих ощущениях Зарудин только смутно различал одно: это никогда, никогда не кончится.

...Без конца чернел, уходил, закрывая всё — горы, реки, долины, — тысячи верст, — неисчислимый мелькающий и сереющий сонмами дымных прямых стволов, хвойный и сырой лес. Он стоял, вырастая все выше и чаще, поднимался, как неведомый дикий народ, покоривший некогда райскую зеленую землю бродячими древесными ордами. Нет им числа и имени. Курились болота, тихо шли на низ черные реки, гигантские тени падали на былую землю вольной травы. Валились, гнили на болотах синеватые, погибшие стволы, высокие лесные кремли стояли над гарями, над торфяными топями пустых низин.

Еловый мрак заслонял солнце, играл изумрудный мир несметных жужжащих оводов.

Бор сухо звенел струнами своих натянутых стволов, провевая себя зноем, грея свою заповедную скользкую сушь.

Красный лес, старый лес! Сосны прорастали кладбищами времен, поднимая крестами мириады своих тусклых, серых вершин, хороня свои столетия, тайну былых бизоньих бархатных пастбищ. Лес рос, жадно пил свои соки в темноте земли. Стоячие воды кишели прожорливым, звенящим счастьем бессмертных личинок, кипящих в оцепенелой, великой тайне гниения. Солнце медленно падало, опускаясь ниже и ниже в комарах и мертвых прохладных тенях. Лес синел, подымаясь и опускаясь до конца света — непроходимый, непобежденный. В глубь его уходили охотники. Один

из них, длинный, беспечный в своих лохмотьях и лаптях, с отполированной до сияния, дорогой бескурковкой, был увешен огромными, раскинувшимися до земли птицами, мотающими свои тяжелые древние головы. Он брел устало, но охотно, был весел, иногда улыбался и свистал...

Да ведь это же из Брема!..

Непобедимая древность! Охотники уходили все дальше и дальше.

(«Ровесники», книга 7-я, Москва, 1930 г.)

ИВАН КАТАЕВ

«Боремся мы для будущих поколений, им суждено воспользоваться плодами нашей борьбы. А мы должны бестрепетно принести себя в жертву. И вы, и я — только агнцы заклаемые, и нечего нам добиваться от жизни для самих себя чего-нибудь светлого. Это просто мешает нашему делу».

Так говорит герой из повести Ивана Катаева «Поэт». Мысли эти далеко не случайны для автора. Они являются основным мотивом творческого и жизненного пути Ивана Катаева. С юношеских лет он не сознанием, а каким-то животным чутьем предвидел и ощущал свою обреченность. Это не тяготило его. Все радости жизни принимал он охотно, но без жадности, с видом добродушного снисхождения к человеческим слабостям.

Катаев не искал гибели, но постоянно сознавал, что если не для всего поколения, то для него лично предопределена черная пропасть окончательной трагедии. Он готовился принести себя в жертву, которой будет оправдано все его неуютное, плохо слаженное бытие. Ждал своей гибели, как фанатик сектант ждет торжества самосожжения.

Иван Иванович Катаев был на три года моложе Зарудина, но, по всему душевному складу, вдумчивому и созерцательному, выглядел более взрослым. В бытность его в «Перевале» в нем не было никакого мальчишества, или молодого задора, ни малейшей тени авантюризма. Весь он был погружен в себя, но без себялюбия. И как бы непрерывно, с недоумением, убеждался в том, что он тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо.

Непропорционально большая голова на тонкой шее неуверенно возвышалась над всей его узкоплечей интеллигентской фигурой. Под густой гривой темных волос — вытянутое бледное и ассиметричное лицо с черными глазами и одутловатым безвольным ртом. Белые беспомощные руки с узкими пальцами более всего выдавали его непролетарское происхождение.

Родился Иван Иванович Катаев в 1902 году, в профессорской семье, его мать — урожденная Кропоткина. Из родительского дома Катаев ушел в мальчишеском возрасте. Революцию, со всеми ее ужасами, принял, как первую и единственную на всю жизнь любовь. И пошел служить ей верой и правдой. Под-

ростком вступил в ряды ВКП(б). В красногвардейской походной редакции вел корректуру, писал заметки и стихи. Голодный и озябший, изучал отцов марксизма. Затем, когда остыло бурление военного коммунизма, Катаев работал в Москве, как журналист. С той же алчностью начетчика штудировал он мастеров художественной литературы, постигал философию, историю и языкознание. За каких-нибудь пять лет овладел основами общей культуры.

В 1923 году Катаев оказался в РАПП'е, но вскоре понял, что самонадеянность малограмотных пролетарских литераторов ему чужда. В 1926 году он вошел в «Перевал».

Ораторских способностей у Катаева совсем не было. Он даже не говорил, а, шлепая своими тяжелыми чувственными губами, медленно бубнил, выдавливая немногословные, но зачастую любопытные мысли.

— Все зло на свете — от тесноты, как в Московском трамвае, давят друг друга люди и злятся.

Грезился ему какой-то звериный уют, чтоб по-медвежьи, по-щенячьи засунуть нос в теплую шкуру. Но сам он, повидимому, никогда и нигде уюта не испытывал. Даже семейная жизнь его была пронизана сквозняками. Первая жена — Катя Строгова была журналисткой. Считала она себя умнее мужа. Презирала его «губошлепство» и «интеллигентскую гниль». Говорила, что терпеть не может «все эти телячьи нежности». Разошлись они так же холодно, как жили. Вторая любовь пришла не сразу, а когда пришла — выглядел Катаев таким же неприкаянным, только, вместо обычной обреченности, в глазах — дымка лукавой мечты. Но семейный уют опять не состоялся. Если для первой жены он был «гнилым интеллигентом», то вторая была поэтессой и сама не знала, чего она хочет. Видела в Иване Ивановиче только «грубые животные инстинкты». Через год она родила сына, такого же большеголового и губастого, как сам Иван Иванович. О нем Катаев, не без гордости, говорил: «мой последыш». Но настоящей семьи все же не получилось. Жена оставляла Катаева по целым дням с малым ребенком, не признавала никаких женских обязанностей, где-то и чему-то училась, писала стихи...

Когда навещали Ивана Ивановича его ближайшие друзья и беседовали об искусстве и о политике, из соседней комнаты неожиданно доносился дикий рев «последыша». Проворно выбегал Катаев на этот крик и неловко, как несут кипящий самовар, тащил мимо гостей своего сына. Бубнил:

— Это не ребенок, а водопровод какой-то.

Потом для «последыша» пришлось найти няньку. Понимая, что вторая женитьба оказалась горше первой, Катаев пытался ухаживать за чужими женами, но безуспешно.

С видом мученика появлялся он на собраниях у Бориса Пильняка. Говорил о собачках, которых видел на улице:

— Так сладко прилепились они, одна к другой. Долго я мальчишек отгонял, чтобы не помешали их трепетной радости.

Однажды признался он:

— Люблю бриться в парикмахерской, в которой девушки обслуживают посетителей. Это, быть может, единственное на всем свете место, где еще сохранилась забота и ласка, где нашего брата почистят, поскоблят и даже, проверяя хорошо ли выбрито, нежная девичья рука по щеке погладит... Только там и чувствую, что человек все же не совсем одинок в этом мире.

С партийными обязанностями Катаев справлялся неплохо. По натуре он был меланхоличен и в писательстве своем ленив, но сумел воспитать в себе чувство долга. Дисциплина его не тяготила, а скорее даже была ему необходима, иначе бы он совсем растворился в самом себе.

Первые неполадки в парткоме начались у него только во время антиперевальской кампании. Но и тут он все же долго отводил от себя обвинения в «воронщине». Серьезный конфликт развернулся позднее.

В самый разгар сражений за «Перевал» в Москву приехал молодой Одесский журналист — Игорь Малеев. Кое с кем из перевальцев он и раньше был знаком, а тут сразу завязалась дружба и прежде всего с Иваном Катаевым. Немедленно Малеев был принят в оскудевшие, к этому времени, перевальские ряды. Темперамент у него был безудержный. Оказался он ярым троцкистом и скорее ему было бы по дороге с Зарудиным, но крайности сходятся. И то ли от одиночества своего или потому, что жена у Игоря была очаровательной и ласковой, Катаев очень близко сошелся с Малеевым. Начались веселые попойки, в которых участвовали и Губер, и Зарудин, и Лежнев. Малеев блестяще исполнял блатные одесские песенки.

Игорь Малеев так же, как Катаев, был партийным начетчиком и до того досконально изучал исторические материалы, что знал напамять и мог цитировать не одни общие места из учителей марксизма, а и весьма интимную, личную их переписку

— Сегодня опять Энгельса читал и необыкновенные там, знаете, встречаются драгоценности, — с увлечением говорил он, — в одном из своих писем, например, Энгельс признается, что если б он был богат, то жил бы всегда в Париже и занимался девочками. Значит, революции происходили зачастую только по-

тому, что у теоретиков их недоставало денег на другие, более естественные для них развлечения.

И Малеев громко и заразительно хохотал.

В восьмой книге альманаха «Ровесники» был напечатан его «Рассказ о гуманности».

К этому времени А. К. Воронского отпустили на свободу и он редактировал отдел классиков в Госиздате. В издательстве «Академия» сидел Лев Борисович Каменев. Очевидно, Малеев перебрался в Москву не только для литературных дел. Частенько видался он и с Воронским и с Каменевым. И вскоре был арестован. Катаев сильно переживал горе несчастной жены Игоря. К тому же она сразу оказалась без работы и без средств к существованию. Иван Иванович организовал среди перевальцев сбор денег для помощи ей и для посылок Игорю в Бутырскую тюрьму.

В партийном комитете довольно быстро пронюхали о «недопустимом гуманизме» Ивана Катаева.

Секретарь парткома обратился к нему с ядовитым вопросом:

— Что бы ты сделал, товарищ Катаев, если бы узнал, что кто-либо из членов партии помогает врагу народа, заведомому троцкисту?

Катаев покорно опустил голову и тихо, но четко ответил:

— Я бы голосовал за его исключение из партии.

— Ты сам вынес себе приговор, — торжественно сказал секретарь, — теперь мы обсудим твое поведение и будем голосовать, как подобает честным партийным товарищам.

И все же, принимая во внимание чистосердечное раскаяние Катаева, из партии его не исключили. Ограничились, на первый раз, строгим выговором с предупреждением.

Иван Катаев не был плодовитым писателем. За десять лет своего пребывания в «Перевале» он выпустил в свет всего четыре повести: «Сердце», «Поэт», «Жена» и «Молоко». Писал он медленно и трудно. О своем творческом процессе сам он говорил, что ему легче дрова пилить, чем писать.

— Хожу около рабочего стола и сам себя пробую обмануть, придумываю самые разные предлоги, только бы как-нибудь отложить до завтра.

О его писательской лени даже анекдоты ходили среди перевальцев:

— Встречаю вчера Катаева и спрашиваю: «Ну, как дела, Иван Иванович?»

Он безнадежно машет рукой.

— Плохо, — говорит, — опять весь день пропал!

— Почему же пропал? Что ты делал?

— Работал, новый рассказ писал и даже свежим воздухом не дохнул ни разу. Пропал день!

Но, видимо, мешала Катаеву не одна его лень, трудно ему было писать искренне и чтоб цензура не зацепила. Тем более, что манера письма его была не витиеватая, как у Зарудина, а прозрачная, с открытым забралом. Почти во всех своих повестях он блуждает где-то у самой границы дозволенного, но грани этой не переходит.

Вапповцы поругивали Катаева, но не слишком крепко; они упорно надеялись снова вернуть его в лоно пролетарской литературы.

В основном нападки на произведения Катаева сводились к следующему:

«Героями Ивана Катаева являются коммунисты и советские работники. Но критический анализ быстро устанавливает мнимую коммунистичность его героев. Они считают себя жертвами долга, обреченными жить, работать и умирать во имя других, ради неясного будущего. У них нет сильных волевых эмоций.»

...«Творчество Катаева пронизывает пламенная вера в человека, мелкобуржуазный «гуманизм». Любовь к людям стирает у него классовые грани. Катаев полагает, что пролетариат как класс-победитель есть в то же время «всепрощающий класс».

...«Изображение классового врага несчастным и жалким, в современных условиях обостреннейшей классовой борьбы, демобилизует и разоружает массового читателя.»

Несмотря на примитивность подобных высказываний, в них была доля правды. Но только по близорукости своей вапповцы не поняли и не почувствовали в Катаеве его основного душевного узора, который особенно обнажен в повести «Поэт».

По своему мироощущению Катаев несомненно был человеком религиозного склада, отсюда его всепрощение, отношение к коллективизации, как к духовной соборности и, наконец, так ярко выраженная в нем жажда искупительной жертвы. Во всем отношении его к миру и к самому себе чувствовалась сектантская одержимость. Но, захваченный с детских лет стихией революции, он все свои внутренние силы аскетически подчинил закону атеизма и, быть может, в этом и заключалась вся боль его душевной и духовной неустроенности.

Всепрощающий гуманизм Катаева исходил из жалости и сочувствия к бесправному и необуюченному подсоветскому человеку. Конечно, от подобной жалости до христианской любви еще далеко, но Катаев уже целиком, как основную заповедь, принял утверждение Достоевского: «Все понять — значит все простить».

В конце двадцатых годов случилось Ивану Ивановичу Катаеву впервые навестить автора этих строк. В комнату вошел он уныло, с видом обычной своей потерянности и вдруг насторожился, увидев в переднем углу затепленную перед иконой лампадку, а под ней аналой, на котором лежало евангелие. Старался Иван Иванович не подать виду, что удивлен, даже глаза отводил в сторону и вяло бубнил о книгах, об очередном альманахе «Перевала». От предложенного ему стакана чая отказался, неловко, как «человек из подполья», заторопился уходить. Но у двери не выдержал, обернулся и, показывая одними глазами на икону, недоуменно спросил:

— Что это у вас, для стиля, или серьезно? — И поняв, что серьезно, сурово добавил: — Это хорошо.

ИВ. КАТАЕВ

МОЛОКО

(Рассказ)

1.

Это вы всё, конечно, очень верно и правильно высказали, то есть насчет хорошего-то человека. Не спорю и вполне убежден, — хорошие-то люди, — ну, ласковые там, честные, веселые, — без них, действительно, всё может прахом пойти... Это всё так... Даже про себя скажу персонально, я сам ласку в человеке обожаю и терпеть не могу, скажем, злобной грызни трамвайной или чего-нибудь подобного. Зачем же, на самом деле, я буду на товарища своего, на гражданина трудовой страны, волком рычать? Кому от этого прибыль?

Кстати сказать, и характер у меня сложился спокойный, мягкий, несмотря на все передряги жизни. Без преувеличения скажу вам, — нежный характер. Меня даже в союзе... только это, конечно, антер-нус... в союзе инструктора-коллеги меня, например, Телочкой зовут. Правда, термин-то этот влепили мне после того, как проработал я для периферии новые нормы выпойки телят... Использовал, знаете ли, материал собственных опытов и кое-какие датские параллели... Так вот, отчасти за эту заботливость о молочной нашей смене и окрестили меня. Ну, разумеется, и наружность моя сыграла известную роль, имея в виду розовый цвет моего лица и влажную свежесть во взгляде... Но главное-то дело, я так думаю, в ласковом моем поведении. На прозвище это я не в обиде, а только улыбаюсь да

отшучиваюсь... Впрочем, это все пустяки, я не об этом хочу.

Вопрос тут в одной поправке...

Необходима, по-моему, к безусловно правильным вашим мыслям некоторая поправочка и довольно, я скажу, существенная. Коротко говоря, иной раз случается, что не качества важны в человеке, а важна главная струя.

Какая струя? А самая обыкновенная, общая струя, по которой плывет его отдельная жизнь... Судьба его, если можно так марксистски выразиться... Или, скажем, место его на земле, которое он сам и выбирает... Нет, нет, позвольте, вы не перебивайте, а лучше выслушайте. Чтобы пояснить, я вам лучше всего пример приведу из моей практики. Вот только сейчас эта история передо мной развернулась, и в голове моей, как говорится, кипят впечатления... Как раз времени до Москвы хватит, а вы, если журналист, то продумайте этот факт и даже можете, если хотите, осветить в прессе...

В данный момент возвращаюсь я из инструкторской поездки. Посетил свой новый участок и провел перевыборы в шести молочных товариществах. У нас сейчас как раз перевыборная кампания по всей системе... Нужно вам сказать, что участок этот не совсем для меня новый, я туда ездил года полтора тому назад, потом передал его другому инструктору, и только теперь получил обратно. Так что общая картина была для меня ясна. В центре участка — Дулепово, село волостное, огромное, три фабрики, сильная кредитка, епо, волком авторитетный и прочее там, что полагается... И стоит на самом Ленинградском шоссе. По шоссе взад-вперед автомобили шныряют, вдоль него фабрики гудят, мельница паровая пофыркивает, а два шага по-за гумнами — и лежат снежные целины, сияют под солнцем, и прясла по ним ковыляют голые до самого синего лесочка. Белизна, безлюдье,

мороз румяный. Тишина. Район же Дулеповский имеет, понятно, клеверно-молочное направление с садоводческим оттенком, сильная коровность, но в организационном отношении, то есть по части коллективизации, слабоват.

Ну-с, так вот, просидел я в Дулепове недели полторы, провел пять перевыборов и, надо сказать, очень удачно, с повсеместным выдвижением бедняцко-середняцких элементов в руководящий состав. Конечно, не обошлось без кулацкой бузы, однако встретил полную поддержку от агрономии и сельских органов на местах. Благодаря такому финалу пришел в самое благодушное настроение и эдакий размах наполеоновский в себе почувствовал. Эх, думаю, дайте мне, товарищи, годик — один годик всего-навсего — и будут у меня в районе коллективные дворы утепленные!.. Я вам покажу, как Телочка работает!.. Вот, к весне показательное кормление проведу, а там обзаведемся контрольными книгами, молочный заводик поставим в Дулепове, швинцев-производителей раздобудем... ну, и прочие-такие юные мечты... Короче говоря, наступает день, когда осталось у меня одно только товарищество, перевыборное собрание в шесть часов вечера, потом, думаю, высплюсь как следует, а утром, с семичасовым — в Москву. Возвращусь с полной победой за плечами и с блестящим отчетом для орготдела, как сам, можно сказать, пресловутый Юлий Цезарь...

И вот тут вдруг начинает развертываться удивительная серия фактов. Начинается стремительная история, которая приводит в конце концов... Впрочем, я лучше по порядку. Начало-то истории открылось еще в середине моей дулеповской миссии, на четвертые сутки, в день отдыха, то есть в воскресенье.

День как раз выдался замечательный, ну, прямо-таки праздник снегов и лучей. Мороз, безветрие, розовый воздух, и вся вселенная, как новый цинк, —

сверкает белыми искрами. Сижу я с утра дома, то есть где остановился, — у бухгалтера кредитки товарища Чижова. А дом двухэтажный, с каменным низом, принадлежит вдове состоятельной. Муж у нее не то лавочник был, не то первый председатель волсовдепа, — я так и не дознался хорошенько, — только все ее очень уважают. Самого бухгалтера дома не было, уехал накануне на свадьбу в соседнее село. Так что сижу я в приятном одиночестве, собраний у меня в этот день никаких, и в результате получается полный узаконенный воскресный покой. Печки в доме истоплены, угольки позванивают, тихая теплота, пышками испеченными пахнет, а оттого, что на дворе солнце — в комнате у меня все янтарно, медово, — стены гладким тесом отсвечивают и на перегородке теплится солнечный желтый зайчик. За перегородкой же, в горнице, сидит хозяйка, тоже в одиночестве. Вернулась от обедни и дочку свою отпустила на гулянку, — единственная у нее дочка семнадцати лет, строгая такая и очень оформленная девица, с пушистой косой. Хозяйка сидит, шьет, а я у себя читаю с приятностью книжечку поэта Петра Орешина под названием — Родник.

Я, знаете ли, в свободное время люблю хорошие стихи почитать, и всегда в дорожном сундучке у меня что-нибудь захвачено, — Орешин там или Сергей Александрович Есенин. Последнего особенно уважаю и жалею за горькую судьбу. Вообще из поэтов предпочтение отдаю, как бы сказать... мужиковствующим, поскольку сам я крестьянского происхождения, и просто — доступнее пишут, чем, положим, какие-нибудь пролетарские футуристы.

Так вот, сижу себе и читаю, час и другой, в полном забвении. Хозяйке-то, конечно, чудно, что вот человек не старый, а в праздник сидит дома и так тихо. Добрая она женщина и, наверное, подумала про меня: не скучает ли? — потому что два раза, вежливо постучавшись, окликала меня. В первый раз горя-

чими пышками угостила, а в другой — из-за двери спрашивает ласковым грудным голосом:

— Вам гитару не дать ли, молодой человек? Может, поиграете?.. У меня от покойного мужа замечательная гитара осталась...

От гитары я отказался, поблагодарив, потому что, к сожалению, не обучен, и опять за книжку. Потом слышу в сенях топот, — снег с валенок отряхивают, потом веничком охлестывают, дверь скрипнула, шум и женский голос визгливый. Оказалось, соседка пришла к хозяйке посплетничать праздничка ради. Ну, леший с ними, я сначала не слушал, чего они там тараторят за перегородкой. Но только слышу, уж очень соседка захлебывается, а хозяйка все: «Ах ты, Господи!.. ах ты, Господи!..» Прислушался я немножко, а потом и Орешина отложил. Весьма, скажу я вам, любопытные вещи рассказывала соседка. Кой-чего я недослышал, кое-чего не понял, однако всё-таки по обрывкам составил представление, а некоторые фразы запомнил даже в точности.

Услышал я такую штуку. Только что, будто бы, провезли через село со станции какую-то парочку. Будто бы, жениха с невестой. Оба были закутаны с головами в тулупы, чтобы не увидал невестин отец. Однако, тот увидал или донесли ему, — только он выбежал на улицу и остановил сани. А выбежал он, представьте, с кинжалом. Хотел кого-то убить, хотя, как определила соседка, — не имеет права убить. От саней его оттащили все-таки. Быстро толпа собралась, отца увели домой. Парочка же благополучно уехала куда-то дальше. Из дальнейшего разговора понял я, что этот самый отец — по национальному признаку грузин. Имеет он двух дочерей, старшую звать Меричка, младшую — Тамарочка. Жил он строго, замкнуто, дочерей никуда не пускал, ни в клуб текстилей на киношку, ни даже в лес по ягоды. Совсем их не обряжал, а все больше о своих каких-то банках беспо-

коился, хотя дочери — почти уже и не барышни, а совершенных лет. И вот случилось, что старшей дочери, Меричке, сделал предложение некий Костя. Отец же почему-то восстал против этого брака, строго-настрого его запретил. Тогда дочь, сказавшись однажды, что идет загонять кур, сбежала с этим Костей из дому... Как, что, почему — больше ничего я не понял... Да!.. Еще сказала соседка: слава идет, что Меричка эта уж такая красавица-раскрасавица, — но это зря. Хорошенькая, — говорит, — это верно, особенно издали, — черняевенькая, волос густой, глазки, зубки тоже очень хороши. А вот, — говорит, — обвал лица у нее чтой-то несимпатичный...

Очень я этим рассказом увлекся и хотел потом кого-нибудь расспросить подробней, — об грузине — откуда ж он в Дулепове взялся, и что это за Костя, удалец молодой, похититель невест. Да представьте, — как-то не вышло. У хозяйки неудобно было, — подумает — подслушивал; у Чижова хотел, да он вернулся к ночи, как зюзя пьяный, рухнул столбом на кровать и храп испустил. А на другой день началась опять выборная горячка, и совсем я об этой истории позабыл, — не до этого было.

2.

Затем наступает, как я вам сказал, этот самый последний день, последние перевыборы. Ручьевское молочное товарищество, — село Ручьево от Дулепова верст десять по шоссе. И рядом деревня Ручейки, — к этому же товариществу принадлежит. Полтора-то года назад я в Ручьеве был, дал толчок к организации товарищества и даже подобрал для него доверенного, — одного уважаемого всеми старика-хуторянина, который мне тогда очень понравился и даже, я скажу, приковал мое внимание. Ну, а перед нынешней поездкой собрал я предварительную информацию, и оказалось, что мой старик возложенных

надежд не оправдал, обнаружив кулацкий уклон. По этой причине требовалось ныне освежить состав правления в виду кулацкого обволакивания, — проще говоря — сорвать всю головку и посадить новых людей. У председателя кредитки Будрина был, как водится, и список намеченных кандидатов, согласованный с волкомом партии. Ладно. Хоть и очень жалко мне было своего хуторянина, — а почему — вы скоро поймете, — все-таки, думаю, свалить я его сумею в два счета, — рука у меня для таких операций наметанная. Обтяпаем всё — любо-мило.

После обеда сели мы с Будриным в санки и поехали. Погода в последние дни принахмурилась, завьюживало маленько, а морозы держались. Только выехали за село, — резнуло по лицу ветром, снегом колючим. Крякнули мы, поежились и — носы в воротник. Лошадь пошла шибко, шоссе, как стрела, прямое, ровное, впереди исчезает в снежной мгле. Там, в этой мгле, верст за сто — Москва... Вспыхивают в этот час уличные фонари, летят переполненные трамваи, повсюду предпраздничная суета... Тут мне Будрин и говорит с мечтой в голосе:

— Ты, брат пойми: ведь по этой дороге в оное время сам Петр Великий гонял... из Москвы в Петербург и обратно...

Только он это сказал, — я еще, помню, почему-то про Пушкина подумал, — и вдруг выносятся навстречу нам саночки. Саночки узенькие, хорошенькие, меховая полость, а жеребец в них высокий и сильный, — мелькнули, и нет их. Одно ничтожное мгновение, миг неуловимый, — и темнело к тому же, — и все-таки увидел я. Кто на передке — не разглядел, а вот в саночках... Мелькнуло мне в ветре, в снежной пыли женское лицо прекраснейшее, думные брови широкие, длинные черные глаза. И шапочка котиковая, — снегом запорошена... Больше ничего.

Я, конечно, не интеллигент, дальше трехклассного не пошел, и совсем не донжуан какой-нибудь, однако могу про себя сказать: что значит женщина — понимаю. Подходить к ним — очень часто вовсе не подхожу, нет у меня этого уменья и фасона, но зато смотрю на них пристально. И вот, только и могу констатировать: такой не видал. Точка.

Отмечу только, что на одну-то десятую секундочки, на меньше мига, а все-таки глаза-то ее с моими встретились. Конечно.

Промчались саночки, остался я, точно расплющенный, а Будрин сейчас же локтем мне в бок и говорит ехидно:

— Видал?.. Что, брат, хороша штучка?

— Кто такая? — спрашиваю его сухо.

— А это, — говорит...

И вот тут начинается продолжение воскресной моей истории.

Проехали, видите ли, молодые. Та самая грузиночка, Меричка, вместе с новоиспеченным мужем своим, с Костей-похитителем. Выяснилось тут, что отец-то Меричкин — дулеповский аптекарь. Живет он в Дулепове с незапамятных времен, овдовел давно, но держится твердо кавказских своих порядков. Кабинет у него весь в тахтах и в коврах, и хотя ковры порядочно молью изъедены, — развешано по ним серебряное оружие и портреты геройских предков. Знакомства аптекарь почти ни с кем не вел и пуще всего над дочерьми дрожал — как бы не спутались с русскими. Все собирался с ними на Кавказ съездить, отыскать им женихов из ихней национальности, а не выйдет — пускай в девках сидят. Ну, а из русских, хотя бы там бывший граф или нарком просвещения, — чтобы ни-ни... «Чуть что замечу, — грозился, — моментально секим-башка обоим».

Некоторые из волмилиции, из вика осмеливались упрекать его за эти угрозы: как же это так, гражданин, — тут вам все-таки не аул, а Дулепово смирное, — он в ответ только зубами желтыми скрипнет и отойдет.

Ну, что же, время наше, конечно, не подходящее для таких затхлых пережитков старого быта. Девушки тлели-тлели взаперти, да одна-то и вспыхнула. Где-то увидалась с парнем, где-то перемигнулась, где-то слово было сказано, — и выпорхнула пташка из клетки.

Ждал ее парень за углом, усадил в саночки — живо-два, на станцию, в вагон, и в Москву укатили...

Жили они в Москве недели две и на разных квартирах, потому что парень от своего отца имел твердый наказ — раньше венчанья невесты не касаться. Только по театрам вместе ходили. А цель путешествия, — Будрин объяснил, — понятная: полнейший компрометаж девицы в целях вынужденного согласия родителя ее на этот брак. Родитель, однако, не то чтобы согласие — совсем обратное действие: впал в безумный транс. Все тахты свои порубил шашкой, порвал на себе одежду, меньшую дочку столкнул в темный чулан под замок, аптеку запер и кинулся к властям. Фраза известная, как в романах: отдайте мне мою дочь. А власти что же? Никакого, понятно, внимания на его вопли, — только хохочут все: проморгал, кричат, папаша, — ничего теперь не сделаешь, — пора привыкать к новому быту. Он тогда — грозить. Угрозам тоже значения особого не придали, — старичок-то старенький и из себя довольно плюгавый. Юмористически отнеслись. Только, когда особенно растопался он в кабинете предвика, вызвали мильтона, и тот его, взявши легонько за химку, вытолкнул с крыльца.

Дальнейшее вам известно. Парочка возвращается, и происходит уличный скандал с благополучным

окончанием. Старик как будто бы усмирен, опять стоит за прилавком, разводит свои микстуры, вешает порошки, — никому ни слова, как воды набрал. Парочка же обвенчалась и наслаждается своим мелкобуржуазным уютом.

Это все в подробностях изложил мне Будрин. Я его выслушал, затаив дыхание, и под конец спрашиваю:

— А кто же этот самый Костя? Чей он, откуда?

Будрин же мне в ответ:

— Так разве ты его не знаешь?

— Откуда же, — говорю, — мне его знать?

— Вот тебе раз! — восклицает Будрин. — Так он же Нилова, пятикоровника, любимый сын. Ты, я знаю, летошный год заходил к ним.

Я так и ахнул.

— Так неужели это всё Костя Нилов натворил?..

— Он самый. Вот мы сейчас в Ручьеве его папеньку свергать будем с пьедестала.

Как услыхал я это, так и встали заново у меня перед глазами все эти персонажи. Нилов-старик и Костя его и весь домашний их удивительный строй. И, скажу я вам, втрое занятней стала для меня вся эта грузинская трагедия, потому что уж очень как-то любопытно столкнулись в ней многие обстоятельства.

3.

Нужно теперь кстати как следует объяснить вам про этот мой прошлогодний к Ниловым визит. Тогда понятней вам будет и все дальнейшее. А визит произошел в первый мой приезд в Дулеповский район, летом прошлого года, в июле месяце.

Для организации товарищества приехал я тогда в Ручьево и провозился там цельный день, подбирая кандидатов на должность доверенного и в правление. В сельсовете, в комитете взаимопомощи, указали мне несколько лиц, более-менее подходящих. И осо-

бенно все голоса уперлись в Нилова, Михаила Никифоровича, честного баптиста. Он, дескать, хотя и баптист, и сильно зажиточный, но человек вполне советский, два старших сына пали на красном фронте, ведет цивилизованную жизнь и даже руководит сельскохозяйственным ручьевским кружком. А свое индивидуальное хозяйство поставил как картинку и притом без всякой эксплоатации, исключительно семейным трудом, поскольку в доме у себя — сампятнадцатый. Живет не делившись с двумя сыновьями и с тремя зятьями, которых взял в дом. Пользуется громадным уважением в крестьянстве и, кроме того, имеет большую тягу к молочной кооперации.

Собравши такие сведения, взвесил я и решил, что, хотя как будто бы смахивает на кулака, но не мешает и его учесть, как организационную силу. Одним словом, часов в восемь, пошел я на ниловский хутор, — полверсты всего от села, не больше.

Я свою должность инструкторскую за что люблю: не говоря о самом существе молочного дела, к которому привязан всей душой, больше всего за легкую подвижность профессии своей, за эти вот служебные скитания.

Въезжаешь в новый район, в новую деревню, и всегда сердце чуть-чуть колышется от ожидания. Сейчас увижу какую-нибудь никогда раньше не виданную речку или церковушку старинную или сиреневый палисадник совершенно особенный, — нет ведь в одной волости двух мест, вполне схожих. И главное — ожидаю встреч с новыми для себя людьми. Жажду вглядеться в их жизнь. И всего приятней то, что смотрю я на новые места не как турист мимолетный или какой-нибудь бродяжный босяк, — нет, заложен в профессии моей интерес к самой сердцевине жизни, к хозяйственному ее нутру, к ее, можно сказать, кровеносной системе, — только не кровь для меня обтекает это нутро, — бежит по нём белое молоко. И ве-

село мне наблюдать, как на этом молоке в разных местах разные распускаются люди.

Простите, что отвлекся не на тему, но это всё к тому, что и на хутор ниловский пришел я в таком же радостном ожидании. А уж совсем легко мне стало и вольно оттого, что прошагал я по вечерним свежескошенным лугам, по мягкой тропинке, надышался клеверной сладости, оттого, что расприветливо встал передо мной, за горой в лощинке, чистенький хуторок, сверкнул в клубах зелени белыми оцинкованными крышами.

Миновал я каменную ограду, прошел через широкий двор, окруженный службами. Всё глинобитное, выбеленное, либо кирпичное, ворота у сараев железные, крашены ярь-медянкой. Во дворе чисто, подметено до пылинки — и пусто, ни души. Обошел кругом дома. На задней стороне — терраса, обнесена решеткой из зеленых драночек и вся заросла густым хмелем. И тут, под террасой, вижу, сидит на земле, подле разбросанной косилки, молодой красивый парень в голубой рубахе. Тряпкой протирает металлические части. Увидавши меня, он поднялся и спрашивает:

— Наверное, вы к папаше?

— А что, — говорю, — дома его нет?

— Нет, он недалеко, на пчельнике, сейчас, — говорит, — схожу за ним. Пройдите, пожалуйста, на террасу.

На террасе опять-таки подивился я немыслимой чистоте. Крашеный новый пол, стулья венские, стол дубовый — все так гладко, прямо сияет, кажется — дохнешь, и запотеет всё. Минут через пять парень явился и сказал, что отец просил немножко обождать, скоро придет. Сам же сходил в дом и, вернувшись, расстелил на столе суровую скатерть, поставил две тарелки, — одна с сотовым медом, другая с ломтями

черного хлеба. Предложил откушать свежего меду и — встал поблизости, прислонившись к столбику.

Евши мед, я на парня часто поглядывал и, надо вам сказать, поражался с каждой минутой его приятной красотой. Можно бы определить, что лицо, щеки у него — девической нежности, если бы, конечно, не глаза... Без всякого самолюбия и даже, наоборот, не в свою пользу, могу его сравнить с собой. Вы, наверное, замечаете, что девическое в лице есть и у меня. Мне после говорили, что мы с ним несколько похожи. Но только какое ж это сходство! Я курносый, у меня все расплылось, губы толстые, — одним словом — Телочка... А у него — нос, подбородок — точеные, лоб невысокий, но прямой и ясный... И главное — глаза. Из-под длинных ресниц, темноголубые, а взгляд-то твердый, светящийся, беспрекословный. Пылкую и сильную душу видно скрозь такие глаза... И стоял он, невысокий и не очень плотный, в свободной такой позе, руки за спину, стриженым крепким затылком опершись о столбик, наложив ногу на ногу. Как будто не босой стоял, в ситцевой неподпоясанной рубахе, а чисто какой-нибудь щеголь во фраке, возле белой колонны, на дворянском балу... И тоже всё поглядывал на меня, — с добродушием таким и серьезностью.

Солнце в это время сникало за легкими тучками к западу, и вдруг из последнего узкого облака с огнистой каёмкой оно и выпало. В то же мгновение кровяно-красный его луч с могучей силой рассек завесу хмелевой листвы и, обрезавшись о зеленую решетку, раздрызгался, раскропился, испятнал огнем пол и стену. В глазах у меня зарябило от дикой этой крови и зелени и золота, — зажмурился я... А когда раскрыл глаза, стоял с краю террасы, возле самых ступенек, огромного роста старик в пышном облаке розовых волос.

Ну, после-то, конечно, убедился я, что волосы у него просто седые, как молоко белые, а в этот момент цвет происходил от освещения, но тогда я даже испу-

гался этого вздыбленного облака. Тем более, что борода, усы и брови были у него еще совсем темные, поскольку он, очевидно, бывший брюнет. Только в бороде серебрятся первые нити...

Запустив в волосы черные свои ручищи, старик шарил ими по голове, что-то старательно выпутывая. Наконец, вынул он оттуда двух задохнувшихся, неподвижных пчел. Положил их на ладонь. Тут же подивился я, до чего широка эта ладонь — прямо как лопата. Приблизив её к лицу, поворошил он пчелок пальцем. Они зашевелились. Вытянул руку, — они снялись и улетели. После этого хотел я к нему подойти поздороваться, а он заметил мое движение и говорит негромким, свежим голосом:

— Лучше не подходите пока, молодой человек, — их еще много вокруг меня вьется, могут покусать. Да простите сердечно, что замешкался. Рой у меня слетел безо времени, вот я с ним и возился. Будемте знакомы. Вы, наверное, из Москвы?..

— Как это вы, — спрашиваю, — угадали?

— А по добротности портфеля сужу. Наши-то деятели, волостные и уездные, эдаких пока не имеют.

Так-то вот и состоялось мое знакомство с Ниловым, Михаилом Никифорычем.

4.

После вступительного разговора на террасе повел он меня осматривать свое хозяйство. Я вам не буду передавать об этом подробно, потому что хватило бы на целую брошюру, — до того сложно и тщательно поставлено. Видел я и сад фруктовый на полдесятины, и машинный сарай с двумя жнейками Мак-Кормик, с сакковскими плужками, рандалями, рядовыми сеялками. Видел артезианский колодец, потом ригу и молотилку с конным приводом. Побывал я в конюшне, где рабочих лошадей, к сожалению, не было, — все на покосе, на дальних лугах, — но зато стоит пара серых выезд-

ных жеребцев — отличных кровей и лоснятся, как масляные. Ну, и конечно, в первую голову, осмотрел хлев, с особым пристрастием, согласно своей специальности. Хлев — точно из Тимирязевки по воздуху перенесен. Конечно, цементные полы и стоки для навозной жижи, датские кормушки, отопление, электричество, водопровод, — прямо не хлев, а особняк на Арбате. Как раз при мне и скот пригнали, — любовался я, как от ворот проследовали одна за другой круторогие, зобатые красавицы-ярославки, роняя со шлепом жидкие свои пироги. Четыре... Пятую-то Михаил Никифорыч на другой уже год спроворил... Расставили их по стойлам, заложили корму, и девица лет пятнадцати, кубастенькая, быстроглазая, — старшая ниловская внучка, — прошла к ним со скамеечкой и с подойником. Хозяин же повел показывать новенький свой пермский сепаратор и небольшую сыроварню, которую только недавно оборудовал.

Долго мы ходили по всем этим достижениям, — на дворе совсем стемнело, и я даже утомился порядочно. А старик тянет еще и еще смотреть, таскает меня за собой без устали и с явным удовольствием. Хотя словами не бахвалится, — дескать, всё само за себя говорит, — но на лице у него эдакое хитрое наслаждение. Особенно любовно и с осторожностью повертывал он везде выключатели: входим — зажигает; осмотрели — гасит аккуратненько. Электричество до Ручьева дотянули перед тем только за месяц.

После осмотра позвал он меня в дом — на предмет деловой беседы.

— Пойдемте, — говорит, — ко мне в боковушку, там нам никто не помешает.

А какая там боковушка! — форменный кабинет. На большом некрашенном столе зажжена светлая лампа с зеленым абажуром. Завален весь стол газетами, журналами, разными мелкими брошюрами. Тут и по кооперации, и по молочному делу, и по пчеловодству.

Полная библиотека землероба. Над пружинной кроватью, крытой белым тканьевым покрывалом, — литография в рамке, изображающая утро в сосновом лесу с медвежатами; в уголку круглый столик с вышитой салфеточкой и на нем толстенная библия с серебряными застежками. Икон, понятно, никаких.

Вообще, ни в обстановке, если не считать библии, ни по внешнему обличью хозяина не заметил я никаких особых признаков его религиозного угара. Одет он был совсем по-городскому, — поверх коричневой косоворотки люстриновый пиджак, мятые в коленях брюки навыпуск, и на босу ногу — огромные шлепанцы-сандалии.

Только мы зашли в кабинет и приступил я к своей кооперативной агитации, — до этого об основной цели визита ничего еще не успел изложить, — но старик меня сразу прервал.

— Вы, — говорит, — молодой человек, не торопитесь, — все равно я велю сыну лошадь запрячь, и он вас в Дулепово доставит мигом. А в данную минуту, согласно расписанию, должен передаваться из Москвы благотворительный концерт в Колонном зале. Я каждый вечер для умиротворения души слушаю что-нибудь по радио. И не мешает нам сейчас для-ради отдыха немножко послушать, как раз самую середину захватим. А потом будем с вами чай пить и побеседуем о деле.

С этими словами вытащил он из-под газет приемный ящичек, покрутил винтики, надел на голову наушники и мне дал отвод. Пододвинул стулья, и уселись мы с ним слушать. Сначала было какое-то неясное бормотанье и легкий шип, и вдруг запел зычный бас. Старик погрузился в слух, а я не столько слушал, сколько его наблюдал и разглядывал.

Вы, наверное, замечали, что у слушающих радио бывает довольно глупое выражение лица. Это от напряженного пребывания в мире звуков и от потери

власти над своими чертами. У Нилова такого искажения совсем не наблюдалось, хотя перемена произошла и в нём. До этого выглядел он, как и всегда, наверное, несколько сурово, резко и, я бы сказал, стремительно. Стремительность эта является у него, без сомнения, от особого положения головы, которая слегка подана вперед на высокой жилистой шее, от взвихренности волос и от крупноты черт. Дело в том, что у Нилова чрезвычайно большой нос с разлатыми ноздрями тоже сильно вынесен вперед, и за ним безуспешно гонятся высокий бугроватый лоб и густые брови, и усы, и губы... Ну, а теперь, как только оседлал он голову наушниками и уселся поглубже на стуле, голова ушла в плечи, стремительность пропала, наступил в нем совершенный покой. Постепенно его черные глаза — тяжеловатые, в темных складчатых веках — просветлели, взгляд замер где-то высоко, под потолком, и легкая улыбка стала раздвигать усы. Пока в трубке пел бас, играли знаменитые гармонисты и потом что-то прыткое, задорное выделывала скрипка, — это радостное успокоение всё нарастало в нём, а затем перешло в тихое веселье. Подобное же хитренькое веселье видел я в нём и во дворе, во время осмотра, но, конечно, тогда предмет удовольствия был низменней, а соответственно и выражение... Глаза его увлаженно заблестели, он стал пришлепывать в лад музыке сандалией. Как раз в этот момент объявили о выходе знаменитой певицы Татьяны Бах, и тотчас же влажный, полный голос запел отрывок из какой-то оперетки. Название не помню, но помню, что начиналось словами — частица чорта в нас.

Пела она, я вам скажу, превосходно... Лихо пела, — со страстью, с вызовом, точно объявляла всем: ах, нате, берите меня, вот я какая! — и в то же время: ах, нет, извиняюсь, руки у вас коротки!.. Торжествовала своей красотой и дразнилась.

И можете себе представить, что тут начал вытво-

рять мой старик! Зачмокал, замахал в лад пению своей лапищей, зажмурился, закрутил головой... А как замолкла певица и донесся до нас сплошной гул аплодисментов, эдакий приглушенный рев, топотание, — вскочил старик, скинул наушники, забегал по комнате, всплескивая руками.

— Ну, милая, — кричит, — ну, лапушка! Вот так разутешила! До сердца дошла, испепелила!

Остановился, круто повернулся ко мне, — гриву седую, как белую поземку, в сторону отнесло.

— А слова какие, молодой человек! Ведь какие подходящие слова!.. Частица чорта! Есть, есть у нас частица чорта, в каждом есть! И не порицаю, не скорблю! И чорт — создание Божье, и чертовское от Бога... Не противлюсь! Не было бы чорта — не было бы зла, а без зла — и радости нет, не замечалась бы, утопала бы в равнодушии, в сытой тупости... И белое хорошо, и черное на пользу, — и луч солнечный, и тени серые... Только в путанице истина, в чередовании красота, в смешении богатство жизни... А женщина, милый друг, — женщина тому пример первейший. Злая или добрая, — какая вам слаще? Всячески хороша! Оттолкнет и приголубит, уязвит и утешит, обожжет и прохладит... А тебе от всего один восторг, одно умиленье.

Много еще в этом роде наговорил мой старик, — прямо удивительно, до чего распалился. Только осторожный стук в дверь прервал эти реплики. Вошел юный сын его, тот, который меня первый встретил, — вы уж, конечно, поняли, что это Костя и был. Внёс небольшой круглый стол, установил самовар, посуду и разную закуску молочного происхождения. Старик отошел с середины комнаты и встал у стены, поглаживая бороду. Огонь лица его утих, превратился в добрую улыбку, только ноздри еще трепетали от возбуждения. Костя же, как и тогда, на террасе, был легок в движениях, спокоен и молчалив, — не сказал ни слова.

Тут кстати сравнил я отца с сыном и, между прочим, нашел, что они очень мало схожи. В чертах — никакого сходства, а в выражении, — хотя у обоих главное — доброта и сила, — все-таки получается то, да не то. У Кости всё это как-то ровней, чище, ясности больше... Я так полагаю, — да мне потом и говорили, — что Костя целиком в мать. Матери я, к сожалению, так и не видал. Как только зашли мы в кабинет, — слышно было на дворе движение, — Нилов пояснил, что это старушку доставили с лугов, — ездила любоваться на покос. Но к нам она так и не вышла, спать улеглась... Ну, а сам хозяин просидел со мной долго, за-полночь, и хоть я всё и порывался уходить, — не отпускал, говоря, что привык спать мало, — поздно ложится и рано встаёт. Правду сказать, мне и не хотелось уходить. Очень уж увлёк он меня разговором. До конца в этот вечер колыхалось в нём веселье души, и потому слова звучали как прекрасный манифест, хотя беседовали мы с ним в дальнейшем только на экономические темы.

Кое в чём я с ним не соглашался, но в общем и целом пришел в восхищение от его взглядов. Убедился также в полной его приверженности к великому делу молочной кооперации. И особенно сразило меня высказанное им о молоке, то есть просто некоторые подробности об этой жидкости, которую вы, наверное, каждый день пьёте безо всяких задних мыслей. Нилов же произнес по этому поводу целую наглядную речь, которую я навсегда запомнил и про себя озаглавил:

«Краткие тезисы о продукте молоке, как таковом».

— Вы не сомневайтесь, — сказал он, подбавив мне в чай густых сливок и пододвинув ложку с варенцом, — не сомневайтесь, — говорит, — в моей бескорыстной страсти к молочному делу. Конечно, на молоке зиждется всё мое хозяйство и благоденствие плотской жизни. К молоку подогнан у меня весь земледельческий устав — и севооборот, и луговодство, и сбытовые

связи, и каждый час трудового дня. Сами вы изволили убедиться, как плотно слажен сей хутор, как одна его часть подпирает другую, а третья сама рождается от второй, и всё это вращается круглый год без всякого скрипа и тряса. Люблю я эту плотность и разумное сцепление, люблю довольство своей семьи и румянец на щеках ее. Но никогда бы не послал я все помыслы и промыслы свои на услужение к молоку, если бы не питал любви священной и нежной к самому этому продукту — к виду его, к силе, к его текучему, ласковому естеству...

Ах, молодой человек, вы посмотрите его в подойнике, когда вскипает оно теплыми пузырями, скопляя у краев тонкую пену — тихое, животворное, напоённое солнцем лугов, закатными росами, шелестом сочных трав! Пригубили вы его сладкую теплоту, вдохнули мирный, семейственный аромат его, — и вот, затихает сердце ваше, встревоженное усилиями дня, и отлетают завистливые заботы, и добрый сон поджидает за вашей спиной, раскинув отечески длани.

А то, в горячий трудовой полдень принесут его с ледника, в кринке, и торопливо, солёными, запекшимися устами прильнёте вы к темному её краю, и падает оно гладкой холодной волной в жаркое тело, проструится в мокрую духоту его и темень... Тут-то вздохнёте вы счастливо, и рассветет в глазах, затуманенных тяжкой оторопью труда, и вытрете вы со лба пот усталости.

Есть у меня, молодой человек, за хутором, по берегу речки, любимая березовая роща. Туда хожу я по праздникам, в строгом одиночестве, — помолчать и помолиться Богу земли нашей. Растет моя роща по крутому склону, от самой воды и доверху взбегает стройными белыми березами. Совсем еще молодая она, тонкоствольная, сквозистая. Похожу я там, постою в обнимку с березой, глядя на солнечную, искрящуюся меж деревьями гладь, а потом и ложусь на траву, на

спину, ногами к реке. Сразу раскрывается близко перед моими глазами синее небо и устремившиеся в него тонкие стволы; до самых верхушек гладки они, без сучьев, одеты нежной, беспорочной берестой, и только наверху шевелится, шепчет, играет с пролетными облаками яркая, блистающая под солнцем листва. Ничего, скажу я вам, нет на свете отрадней и краше, как зеленые свежие ветви, шевелящиеся в ясной синеве... Так ласково врачуют они скорбную мысль, так возносят облегченный дух! Вот лежу я и лежу, впиваю в себя эту ребяческую суету листвы и недвижное скольжение облаков, и стройное древесное вознесение. И вот начинают туманиться глаза мои слезой умиленья, и вдруг открывается мне, что и не березы это вовсе надо мной, нет, не березы... Молоко, — вижу я, — белое молоко прямыми, округлыми струями льется с неба. Прямо из облаков вытекают они, эти сильные струи и, пробив благословенную зелень, ниспадают, вонзаются в землю. Белый ливень недвижно бушует вокруг, белый ливень, связавший землю и небо и меня захвативший в участники свои!.. Как всё влажно и сочно вокруг! — и скользкие травы, и тёмный папоротник, и лесная фиалка, душистый цветок! Всюду соки восходят и соки нисходят, то сладкой ягодой нальются земляникой, то губчатым мокрым грибом, до неба взлетают и прячутся в мрак корневой, всех братают, всё связуют, и шорох брожения их раздвигается в торжественный гром. Великим счастьем переполняется сердце, и лежу я, высоко дыша, не отрывая чувства их от сверкающего таинства природы, и слёзы все текут и текут, капая на траву, точно и я хочу послужить земле скудно отпущенной мне влагою жизни...

Влага жизни, юный друг мой, влага жизни! — так нарёк я сию соединительную силу, — всеобщее молоко любви и родства. Неужели земля мы есьмы, как вещали о том трусливые и косные? Нет, друг мой, нет. Не земля, но влага. Я и ты и он — суть жизнь, а жизнь

есть струенье, кипенье, взлёт и никогда — покой. Покой есть смерть и земля минеральная, и это не мы. Мы же из влаги рождаемся, влагой питают нас матери наши, влагой насыщена наша плоть, ею движимая, ею мыслящая, из нее создающая новые жизни. И потому-то, друг мой, от века нет зрелища священней и прелестней, нежели вид матери млекопитающей. Потому-то никогда не премину с улыбкой радости созерцать струи молочные, белизну их, чистоту, текучесть, ибо для меня они — знак жизни вечной...

Кончил старик эту речь, и не мог я не встать и не пожать с преклонением его тяжкую руку, поскольку нашел в его словах полный итог тогдашним своим чувствам.

Замечу, между прочим, что и в настоящее время, несмотря на все дальнейшие превратности Нилова, я ценю эти слова высоко, и даже можно, по-моему, без большой ошибки уложить их в полный каталог марксизма.

Вскоре после этого я с Ниловым дружески распрощался, и Костя его действительно мигом доставил меня в Дулепово на сером жеребце. А на другой день, увязав с кредиткой и с волкомом, дал я знать в Ручьево, что Нилов, без сомнения, найлучший и стойкий кандидат в доверенные молочного товарищества. С тем и отбыл в Москву.

Вот и представьте теперь моё изумление и злободневный интерес, когда узнаётся, что Ниловы, сынок и папаша, втянуты в этот водоворот событий. Конечно, я прилип к Будрину с расспросами, но он к сказанному добавил не много. Оказалось, что Михаил Никифорыч, старик, о сыновних амурах с самого начала был осведомлен, поскольку у них в семействе нету ни лжи, ни утайки, и не только сыну не препятствовал, но и не мало способствовал. Он и побег устроил, и пребыванье в Москве финансировал, с той оговоркой, чтобы жениху невесты не касаться, и по возвращении самолично,

как глава общины, обвенчал их по своему уставу. Я так думаю, что тут не обошлось без влияния его идеологии в смысле частицы чорта и свободных воззрений на любовь.

Как бы там ни было, молодые угнездились на хуторе в сиянии счастья.

Костя в Меричке души не чает, к черной работе не подпускает и по вечерам демонстративно катает ее по шоссе вплоть до Дулепова на отцовских жеребцах, чему мы и были свидетелями.

5.

За этими разговорами не замечали мы, как подъехали к Ручьеву, разметавшемуся по обеим сторонам шоссе темными строениями и белыми электрическими огоньками. Я обрадовался, что вот сейчас обогреюсь, так как на ветру порядочно закоченел, но Будрин вдруг поворотил лошадь с шоссе в сторону, и, переехав мостик, мы пустились на проселок. Тут выяснилось, что собрание группы бедноты, которая по заведенному у нас порядку предшествует выборам, назначена не в Ручьеве, а в деревушке Ручейки. Там как раз сосредоточен бедняцкий элемент; а кроме того — для пущей конспирации, ибо нам предстоял жестокий бой, и нужно было секретно от старого правления подтянуть дружественные силы.

В непроглядной темноте, переливая через свеже наметенные сугробы, подъехали мы к дому Сысина Ивана, ручейковского старательного середняка. Он как раз и был по увязке с волкомом намечен в новые доверенные, а вместе с тем и в вожди переворота. Про него я знал только, что мужик честный, работящий, по возвращении из германского плена нашел свое хозяйство в жалком прозябании и очень быстро его превознёс, руководясь научной практикой и имея в данный момент двух коров с месячным удоем более семисот литров. Также в высшей мере оправдал доверие

как председатель сельского комитета взаимопомощи и проводник советских начинаний.

Сысина самого дома не застали, ушёл по делам в комитет. Будрин тотчас же нарядил за ним хозяйку, наказав ей, чтобы о нашем прибытии ничего не говорила, а просто так, мол, — по хозяйству нужен:

— У них, — говорит, — везде свои агенты есть, моментально донесут, и могут помешать бедняцкому собранию.

Хозяйка, накинув полушалок, побежала за мужем, мы же, подсев к жаркой печке, предались сладкому чувству согревания и деловым мыслям.

Положение здешнего товарищества, по собранным мною данным, рисовалось в следующем виде. Во главе, кроме Нилова, доверенного, еще двое членов — Сергей Мышечкин и Николай Земсков. Оба — не то чтобы откровенные кулаки, — у Мышечкина три коровы, что по местному уровню не превышает середняцкой нормы, у Земскова — две, и к тому же сам служит счетоводом в вике, в роде как бы советский интеллигент, — но тактика у обоих самая язвительная, особенно у Мышечкина. Тонкая деталь: оба в прошлом активные эсеры, еще с пятого года. Люди знающие, хваткие, языки подвешены превосходно.

Ниловская роль в этом компании была какая-то смутная. Он ли над ними верховодил с хутора своего, они ли его оседлали, не знаю, только все каждодневные дела правленские каким-то родом очутились в руках у Мышечкина. Он и за сливом стоял, и сбыт налаживал, и бухгалтерию строчил, — словом, заграбастал все функции доверенного. И к исходу полутора лет получилось у них нехорошо. Снаружи как будто бы всё мило и гладко, — хотя и доползли уже до волости какие-то щекотливые слухи насчёт списания Мышечкиным в расход шестисот литров молока, будто бы скисшего, и кое-что подобное, но суть не в этом. Суть в том, что ручьевское товарищество как объединило

при основании двадцать три хозяйства, так и замерло на этой точке. Ни взад, ни вперед. Просились к ним многие ручьевские и особенно ручейковские мужики, подолгу набивались. Не принимают. Требовали из соседних деревень: носить нам далеко, откройте, пожалуйста, сливные пункты, — в ответ либо туманная волынка, либо полный отказ. Отнекиваются, жмутся, — товарищество, дескать, еще молодое, расширение опасно, не управимся, прогорим... Вот и получилось в результате, — не кооперативная организация а семейная лавочка, сплошное кумовство.

Подоплека всего тут, конечно, в распределении денежных ссуд и главное дело — сильные корма. По жмыху и отрубям весь этот район — потребляющий, снабжение идёт через кредитку и дальше через молочные низовки, а в этом году как раз жестокий кризис с кормами... Понимаете в чем секрет? Выгодно ли с их подло-кулацкой точки распылять корма на сторону? Не полезнее ли пустить по своим дворам, для своей кровной скотинки?.. Вот то-то и оно... Ну, а в таком застойном деле накопляется со временем мутная водица, и уж кто-нибудь в ней рыбку ловит, будьте спокойны...

Очень грустный оборот получила в Ручьеве светлая кооперативная идея, и всё же, скажу я вам, не слишком бы меня это подавляло, если бы не Нилов... Ведь мой же ставленник он был, — какая голова, какие руки золотые, какая преданность продукту, — и вот поди ж ты... Как же допустил он, почему не восстал со всей силой ума и речи против коллег своих?!.. Ведь стоило бы ему только клич кликнуть, — вся округа за ним бы пошла по столбовой дороге коллективизма. При его-то авторитете, при стольких знаниях! Нет, сплошал, сплошал мой старик!

К этому горькому итогу пришёл я в своих размышлениях и не мог не признать свою политическую ошибку, которую еще в Дулепове решил энергично

исправить. И все-таки должен вам сознаться: в тайниках души шевелилась во мне робкая надежда, — а, вдруг да и не так уже все скверно, — может, Нилов-то ни в чём и не замешан, просто обошли старика, опутали прыткие дельцы и если убрать их, дать ему лучших помощников, то поведёт он с ярким взором район свой к обильной и радостной жизни. Уж такое жило в памяти моей очарование от этой мощной фигуры.

Пришел Сысин, и Будрин принялся его склонять на сторону переворота, убеждая возглавить товарищество на предмет борьбы с кулацкой кликой. С Сысиным договоренность была и раньше, но окончательного ответа он еще не дал, сильно колебался, ибо восстать ему на Нилова и Мышечкина — в роде того было, что идти с голыми руками на медведя. У тех за плечами опыт, образование, приверженцев у них полсела, — как же, первые люди в округе, министры, можно сказать... И вот попробуй, замахнись на них. А ежели, не дай Бог, получится фиаско, — ведь со свету сживут.

— Я бы, конечно, ничего, я не возражаю, — говорит Сысин в страшном раздумье, — надо бы им по рукам тяпнуть. И дело они в тупик завели, — это всё верно... Только вот ведь беда: бухгалтерии я не обучен... Кредет, едет... Что это такое?.. Я прямо и не знаю... У нас в комитете этого нет, у нас попросту. А тут, видишь ты, дело торговое, занозистое...

Будрин весело на него рукой машет:

— Об этом, брат, не беспокойся. Нашего бухгалтера к вам командируем, он и проверит, и покажет. Проинструктирует, одним словом. И впредь будет от нас всяческая поддержка. Об этом не беспокойся.

Сысин, однако же, всё сомневается.

— Да ведь как же не беспокоиться-то? — говорит он с тяжким вздохом. — Против кого идём? Против коренной ручьевской силы, против первейших заправил и командиров. Ведь они у нас в селе заместо солн-

ца, — и свет от них, и теплота от них... Особо сказать — Нилов... Баб одних ежели учесть, — разве они дозволят Михаила Никифорыча своего затронуть, — он у них святая икона, молятся на него. Отец родной и просветитель...

— А ты-то что? — кипятится Будрин, — один, что ли? Разве ручейковцы за тобой не пойдут? Пойдут ручейковцы! Обиженные Мышечкиным, обсчитанные — пойдут? Пойдут!.. Да — милый ты мой! — вся волость за тебя, — волком, волисполком, агрономия... А кредитное товарищество? — что мы на ихнее жульство смотреть, что ли, будем с сахарной улыбкой? Вот закроем завтра кредит, — погляди, как они взовьются... Нет, Иван Кузьмич, ты брось малодушие, ты только решись и, главное дело, воздуху наберись, а потом отстаивай потверже...

И вот Иван Кузьмич сидит, набирается воздуху. Не легко ему решиться на такую революцию.

Мужик он приземистый, но плотный, с пышной, окладистой рыжеватой бородой и, как я заметил, очень похож на бывшего народного комиссара Яковенко. На лбу у него примасленная чёлка. В раздумье часто поднимает он плоское, широкое лицо своё к потолку и тогда прикрывает глаза.

В избе у них не богато, но чисто. С печки во все глаза смотрят на нас двое ребятишек и третий, грудной, спит в колыске. А между колен Сысина во все время разговора вертится босоногая его дочка, годов шести, и он рассеянно поглаживает ее по голове. Когда же вздумалось ей полезть к нему на колени, — он тихонько отстраняет ее: «Ступай, ступай, дочка, не до тебя тут...»

Тут еще жена впутывается, — решительная такая, круглолицая бабенка, — стоит она у притолоки, скрестивши руки, тревожно во всё вслушивается, — и вот прорвало её:

— Ты что ж это, опять в казённое дело лезешь? С комитетом одним никак не управишься, а тут еще наваливают!.. Своё-то хозяйство пущай в разор идёт!

— Один ведь работник-то! — обращается она к нам извинительно, — разве можно такую тягу на себя брать?!

— Ладно уж ты, отступись! — отмахивается от неё Сысин, — не твоего ума дело. Ты вот иди-ка лучше, народ сбивай на собрание. Скажи, чтобы сию же минуту все и шли.

И только жена скрылась за дверью он, как бы раззадоренный её словами, объявляет:

— Раздумывать более нечего, товарищи, да и некогда. Принимаю. Выхожу, можно сказать, на позицию. Повоюем...

И Будрин со смехом трясёт ему руки, приговаривая:

— Ну, — герой. Я ж тебя знаю. Иван Кузьмич — он не подведет, не из таковских.

6.

На собрании бедняцком вера моя в Нилова и симпатия потерпела окончательный урон. Открылись тут новые факты касательно их неправомочных поступков. Например, получено было в товариществе тысяча рублей кредиту на приобретение коров бедноте, и из этой несчастной тысячи четыреста целковых дали Нилову, и он взял, не поморщился. То же самое с отрубями. Из последней партии чуть ли не половина к Нилову уплыла, на хутор, а он даже и денег причитающихся не платит. Особенно растревожены все были недавним мероприятием правления — накидкой по лишнему гривеннику на пуд жмыха, и это только для тех домохозяев, которые не сливают в товарищество молока, то есть будто бы для поощрения слива. Накидка эта, явное дело, ударила по однокоровникам, следовательно — по здешней бедноте. В этой малой капле вся линия Мышечкина нашла полное отражение.

Народу к Сысину собралось не много, человек с десяток. По адресу Нилова и Мышечкина все разорялись ужасно, и более всех один хилый и престарый старик. Он не речь говорил, а прямо-таки лаял тонким голосом, тряся своей нечесанной головой:

— Ласковый он, Нилов-то, ласковый, — стелет он мягко, а после косточки трешшат!.. Во все дистанции пролез, и дышать невозможно от сладких его речей. И неужто, братцы, одни богатые — умные? Неужто не можем мы свою линию погнуть?!

Пошумел также некий носатый парень Гриша, коего окрестил я про себя Гришей дубовым, в виду неимоверных его размеров и как бы вытесанного из корневища лица. Гриша сливал молоко жирностью в четыре и шесть десятых процента, а потом добился пяти и двух десятых. Мышечкин же на это не посмотрел и рассчитывается попрежнему, как за четыре и шесть, ссылаясь на Москву, которая, будто бы, обвиняет Ручьево в недостаточности жиров. Гриша же лишь недавно по бедняцкому кредиту приобрел вторую корову и вообще только-только вставал на ноги. Каждая копейка была у него на счету, и потому мышечкинский обсчет разобидил его на смерть.

Солиднее других высказывался Земсков Степан, правленского Земскова двоюродный брат. По профессии был он, кроме крестьянства, кустарь-ситошник, поскольку в той местности развит данный промысл, то есть ткут мельничные сита, — а по виду мужчина круглоголовый, как кот, и бритый, с хохлацкими усами. Несмотря на родство, правлением он был недоволен и речь свою заключил так:

— Дело всё в том, что подхода к массе у них нет. А в теперешнее социальное время без подхода нельзя...

В защиту правления выступила одна только картинная, краснощекая старуха, к удивлению, оказавшаяся местной делегаткой.

Налетела она на мужиков, как курица на ястреба, пронзительно вереща:

— Ах, оставьте вы, мужики, глупую свою забастовку! Про Мышечкина вы болтаете, а сами ничего не понимаете. Сергей Васильевич — он ученый, хозяйственный, и не с дурацкими вашими мозгами в торговое дело лезть!

На нее, конечно, зашумели, оттащили и затискали куда-то в угол.

Остальные все полностью поддержали предложение Будрина насчет удаления прежней головки и избрания в новый состав Сысина, Земскова Степана и дубового Гриши. Одну только любопытную подробность я отметил: говорят-то говорят, а на дверь опасливо поглядывают, — а вдруг-де дверь раскроется и войдет своей собственной персоной Сергей Васильевич Мышечкин... Запуганность у всех была налицо, что, конечно, и сказалось.

К концу собрания прибыла дулеповская участковая агрономша, товарищ Каплан Лия Абрамовна. Про нее нужно сказать несколько слов отдельно, в виду ее местного значения. Это совсем молоденькая женщина, недавно с тимирязевской скамьи, с виду маленькая и бледная, как полька, тонкое личико и восковой острый носик с горбинкой. Несмотря на женский пол и еврейскую национальность, завоевала в крестьянстве большой почёт, благодаря полной своей неутомимости и состраданию к мужицким нуждам. Говорит она, к счастью, без акцента и очень умно и бойко. Только вот не нравятся мне некоторые комсомольские черты в её обращении. Например, мужиков, даже пожилых и семейных, она, обращаясь к ним, называет — ребята. Получается как-то неловко.

Вошла она в избу, закутанная в шерстяной цветистый платок, повязанный по-бабьи, из-под платка выглядывал один только белый, озябший носик. Моментально полезла куда-то между скамеек, со всеми

здороваясь за руку, и сразу с тремя или четырьмя мужиками застрекотала, зашушукалась, кивая во все стороны и улыбаясь. Мужики же, как я наблюдал, слушают, глядя на нее сверху вниз, тоже с улыбкой, но внимательно.

Вскоре вслед затем вышли мы от Сысина, усадили Каплан к себе в санки и поехали в Ручьево. Остальные гурьбой повалили сзади.

7.

В просторную и богатую избу, где было назначено выборное собрание, народу набилось много. Во дворе и в сенях толкалась ожидающая публика. Вслед за ними все хлынули в горницу. Скамеек не хватило. Принесли дверь, снятую с петель, положили на два табурета. Уже сильно надышано было и накурено, так что электрическая лампочка над столиком для президиума, покрытым белой скатерткой, сияла точно сквозь туман. Что-то церковное было в этом туманном зрелище, не то будто бы свадьба, не то похороны, может быть, еще и потому, что в углу, над столиком, на полочке, обшитой белой кружевной занавесочкой, поблескивало венцами с полдесятка икон. И такая же ощущалась во всем тревога, — приглушенные шопоты, покашливание, частое хлопание наружной двери. В толпе много было женских лиц.

Минут через десять явились Мышечкин с Земсковым, — у них тоже было свое заседание: правление совместно с ревизионной комиссией. Мышечкин сразу же сунулся к Будрину:

— Давно приехали? — спросил он тревожно. — Почему же к нам на правление не зашли?

И Будрин ответил ему зачем-то очень грубо:

— А что вам, докладывать, что ли, нужно?

Тот посмотрел на него пристально и отошел. Вслед за ним вошел Нилов, прямой, высокий, в наглухо застегнутом драповом пальто и валенках с калошами.

Толпа расступилась перед ним, он поклонился. Отдельно кивнул Будрину и Лии Абрамовне, а по мне скользнул взглядом и... не узнал. Представить себе не можете, до чего это было мне горько и обидно! Что же это такое! — Не узнаёт... А ведь как прочувствованно беседовал со мной...

Уселся Нилов в первом ряду, но собрание почему-то открыл не он, а Мышечкин. В председатели Сысин предложил Будрина, и с довольно странной мотивировкой:

— Как мы ему всё должны.

Видимо, имел в виду кредитное товарищество.

К этому все отнеслись серьезно, и Будрин уселся под иконами. Секретарем выбрали Каплан, а к ней подсел и я, так как мне предстояло сделать доклад о работе союза.

Выслушали меня внимательно, но вопросов задавали мало. Один только Мышечкин с записочкой в руках высыпал их десятка два, и все очень каверзные. Он же один и в прениях выступил, раскритиковал союз вдребезги, обнаружив при этом большую прыткость мысли и полную осведомленность в молочных делах.

С отчетом о деятельности товарищества, по просьбе Нилова, сославшегося на нездоровье, выступил опять-таки Мышечкин.

Произвел он на меня очень странное и тягостное впечатление. Выглядит он молодо, лет сорок ему с небольшим, долговязый, одет в новенькую кожаную куртку. Лицо его — весьма необычное для деревни, — нечто солдатское, вернее — каторжное в нём, — острые усы, черный высокий бобрик. Говорить старается бодро, оживленно, поминутно ввертывает шуточки и всё воротит под народный тон. Но не даётся ему это, — слушают его без единой улыбочки, — и в каждом его жесте и слове — страшная фальшь, черствость безвыходная... Пригляделся я к нему, прислушался, — и — не поверите! — до боли мне стало жалко его. Батюш-

ки! — думаю, — до чего же самолюбив и жесток и несчастен в своем непобедимом от всех отдалении!.. Ведь никогда, никогда-то не испытать ему близости ни к народу, ни к отдельному человеку. Вот мельтешит передо мной, надсаживается, руками машет, а помрёт одиноко, затравленный...

Глянул я на коллегу его — Земскова, и вовсе ужаснулся. Сидит он неподвижно, уставившись на докладчика, раскрывши щербатый рот, — чернеют вместо зубов впадины... Ну, совсем невыносимое лицо: иссохшее, бритое, под скулами темные ямы, и брови торчком, как у белки. А за ним в сизом тумане плавает ниловский лик. И куда девалась пылкая стремительность его! Что-то застывшее в нём, гробовое, и седины поблескивают как серебряный глазет... Тут защемило у меня в груди тошнотно, закружилась голова... Что это со мной? От духоты что ли, от усталости? И невозможно мне сидеть...

Кончил Мышечкин, и сразу Каплан с Будриным насели на него с вопросами: а почему не прибывает членство, а на каком основании отказано в приеме вертихинским и репнинским мужикам, а куда улетучились шестьсот литров, и нет никакого акта о списании, а почему не ревизовали Нилова, перерабатывающего на сыр и сметану общественное молоко, а чем вызван нажим на бедноту в распределении кормовых? И еще и еще... Прицепился к докладчику и Гриша дубовый со своими процентами, и хилый старичок, и Степан Земсков. Мышечкин завертелся, заёрзал, отвечая на все стороны. Будрин с победоносным видом объявил прения и предложил всем высказываться, ожидая полного разгрома правления.

И вдруг наступила мертвая тишина.

Будрин повторил предложение, — опять молчание.

— Боятся! — шепнула мне Каплан.

Несколько минут прошли в замешательстве и председательских уговорах. Наконец, взял слово Сысин

Иван Кузьмич. Говорить он вообще был не горазд, а тут и вовсе замялся. Сбивался, путался в словах, часто поднимая лицо к потолку и прикрывая глаза. Мышечкин смотрел на него пронзительно. Больше всего обвинял Сысин Нилова — за потворство кулацкой линии, прикрываемое красивыми речами, и последний своей фразой очень даже недурно его припечатал:

— Эх, Михаил Никифорыч, — сказал он сокрушенным голосом, — ластичный ты человек!

И махнувши рукою, сел.

Нилов даже не шевельнулся.

Больше так-таки никто и не осмелился выступить, и никакие уговоры Будрина не помогли. Я лично находился в том же разбитом состоянии, все у меня плыло перед глазами, и я бы двух слов не сумел связать. Пришлось одному Будрину за всех отдуваться, и он сделал всё, что было в силах, — выгрузил весь обвинительный материал и указал на всю низость падения товарищества. Но, несмотря на все его громы и молнии, Мышечкин с Земсковым переглядывались торжествующе: собрание явно было на их стороне.

В заключительном слове своем Мышечкин был нагл до крайности. Утопил все обвинения в бурном потоке слов, не дав ни одного ответа по существу. А когда Будрин начал перебивать его вопросами насчет тех же самых шестисот литров, он вскричал с горьким смехом, ударив себя в грудь кулаком:

— Ну, и вор, ну, и украл, — сам выпил!

И вот тут-то стало мне ясно и понятно, что, действительно, и вор он, и хитрец, и бессердечный, на всякое преступление способный человек... Но Нилов-то, Нилов! Неужели ему неведомо всё это, неужели он с ними заодно — этот патриарх семьи и мудрый философ, воплощенное движение и счастье жизни?!

Начали обсуждать резолюцию, заранее заготовленную Будриным. Первые пункты её резко осуждали всю деятельность правления. Только зачитала их Кап-

лан, как поднялся невообразимый шум и гам. Из рядов собрания раздались голоса:

— Ловкая механика!..

— По волостной указке!..

— Протестуем!..

Будрин вскочил, беспомощно застучал карандашом по стакану, силясь перекричать всех. Я уже видел, что он совсем себя потерял — бестолку горячится, никому не даёт высказаться, Мышечкина обрывает на полслове: а тот только плечами пожимает с усмешкой.

Каплан сидит совсем бледная, шепчет мне:

— Провалимся, провалимся... Вот увидите, — ни один пункт не пройдет...

И действительно, первый пункт — насчет умышленной задержки в расширении товарищества — огромным большинством отклонили, за него поднялось только пять-шесть рук, — и те очень быстро спрятались.

Поставили на обсуждение второй — о неправильной отчетности. И тут попросил слово Нилов. До этого он не выступал ни разу, сидел всё так же неподвижно. Когда он поднялся, сразу всё стихло, и негромкий голос старика зазвучал отчетливо. Он начал говорить о переработке молока, за бесконтрольность которой его упрекали. Но в эту минуту в задних рядах, у самой двери, снова поднялся шум. Будрин постучал по стакану. Шум разрастался. Нилов замолк и удивленно оглянулся назад.

В дверях создалось какое-то замешательство и толкотня, и вдруг все толпившиеся сзади шатнулись из горницы в сени. Сидевшие на лавках, ничего не понимая, повскакали с мест и тоже ринулись к дверям.

Во всеобщей суматохе и панике все испуганно спрашивали друг у друга: что случилось, не пожар ли?.. И вот из сеней раздался пронзительный бабий голос со всхлипом:

— Батюшки, Костю Нилова убили!

Не помня себя, я кинулся к дверям, с неимоверным трудом продрался сквозь толпу и выскочил во двор.

8.

Двор был весь заполнен народом, стоял страшный гвалт и женский визг. Глаза мои, сразу ослепшие в темноте, сначала ничего не различили, кроме спин и голов. Растолкав передних, я выбрался к яркой полосе оконного света, и здесь, возле окна, увидел милиционера и молодого красивого мужика, которые держали под руки маленького седого человечка без шапки, в длинной разорванной одежде. Человечек этот находился в странной позе: он висел на подмышках между державшими его, едва касаясь земли раскинутыми ногами, обутыми в веревочные туфли. Если бы его отпустили, он бы сел в снег. Лицо его было совершенно бессмысленно: нижняя губа отвисла, вытаращенные глаза сошлись зрачками к переносице, совсем как у рака. Из тонкого, крючковатого носа черной струйкой текла кровь.

В общем ожесточенном крике я ничего сначала не мог разобрать и понять и уж только впоследствии полностью выяснил, что случилось.

Убийства никакого не было. Случилось же вот что.

Пока мы сидели у Сысина и потом здесь, на собрании, Костя Нилов с супругой прокатились по Дулепову, затем съездили на станцию и встретили московский поезд, после чего вернулись на хутор. Грузин же, Меричкин отец, увидал их, как они проехали мимо аптеки, и, в чем был, кинулся их догонять. Не догнавши, воротился домой; через несколько минут снова выскочил и побежал по шоссе, по направлению к Ручьеву. Ворвался он на хутор, когда молодые только что прибыли с прогулки, отыскал Костю и, ничего не говоря плеснул ему в лицо серной кислотой. Выжег оба глаза и исковеркал всё лицо. Хотел то же самое сделать и с дочерью, но тут его схватили ниловские зятья. Жесто-

ко избив, они приволокли его в ручьевскую милицию, а оттуда сюда, поскольку тут находились все сельские власти.

Хотя и не в таких подробностях, но во дворе все уже знали, в чём дело, и озлобление против преступника нарастало с каждым мгновеньем. Мужики, и без того уже сильно взвинченные всем, что происходило на собрании, стеной напирали на милиционера, крича и размахивая кулаками. Для меня было несомненно, что сию минуту может случится самосуд. Дрянной и жалкий вид грузина, бессильно повисшего на подмышках, только подогревал дикие страсти. Я попытался пробраться к нему, убеждая окружающих успокоиться и принять гражданский порядок, но меня с угрозами оттолкнули, двинув локтем в грудь.

Кто-то уже крикнул хриплым голосом:

— Чего на него смотреть! Бей армяшку!

Милиционера, невзирая на его вопли и увещания, оттаскивали в сторону. Красивый мужик, — это был один из ниловских зятьев, — отступил без сопротивления.

В этот катастрофический момент я вспомнил о старике Нилове. Он один только с его авторитетом и силой убеждения мог предотвратить новую страшную беду.

Взывая к нему — Михаил Никифорыч, Михаил Никифорыч! — я кинулся разыскивать его в толпе и увидел старика на крыльце. Он стоял неподвижно, как статуя, прикрыв глаза огромной своей ладонью.

Я подбежал к нему и заплетающимся языком умоляя о вмешательстве, пытался увлечь его за собою, даже потянул его за рукав. Но он, не отрывая руки от лица, другою молча отстранил меня и остался недвижим.

В это время раздался выстрел. В ужасе я метнулся к толпе. Оказалось, что во-время подоспевший Будрин с помощью более сознательных мужиков освобо-

дил милиционера, и тот, вытащив наган, выстрелил в воздух. Народ в панике отхлынул, и на освободившемся пространстве я увидел Будрина, Сысина и дубового Гришу, суетившихся возле грузина. Грузин упал в сугроб, но был вполне жив, его никто не успел тронуть. Сысин, приговаривая: «поспокойней, поспокойней надо, граждане», старался его приподнять, неуклюже обхватив поперек туловища.

Вместе с Гришей они подняли его и потащили к воротам. Там уже стояли розвальни, заарестованные милицией. Грузина взвалили на них, как куль, милиционер и понятые уселись с ним рядом, стегнули лошадь и умчались в волость.

В ту же минуту по двору мимо меня пробежал с развевающимися по ветру волосами старик Нилов. Он выбежал за ворота и скрылся в темноте, по направлению к хутору.

Понемногу смятение улеглось, и народ кучками, возбужденно толкуя между собой и пересуживая случившееся, стал возвращаться в помещение.

Будрин снова занял председательское место и, укратив всеобщее волнение и говор, произнес внушительно:

— Граждане! Случившееся мрачное происшествие не должно отвлечь вас от выполнения общественных обязанностей. Стыд и позор тем из вас, кои, поддавшись животным страстям и своей темной бессознательности, пытались наложить руку на преступника и тем нарушить законное действие власти. Позор также и тем, — тут Будрин в упор посмотрел на Мышечкина и Земскова, — кто, обладая духовным развитием и даже образованием, не пожелал выступить на защиту возможной жертвы и прятался за чужие спины. Раз уж все обошлось благополучно, мы не будем давать дальнейший ход делу, но пусть случившийся факт будет для вас наглядным уроком и предостережением. О возмездии за пострадавшего Нилова Константина не бес-

покойтесь. Советская власть умеет строго карать преступников не только явных, но, — Будрин опять строго взглянул на Мышечкина, — но и тайных, выводя их на свежую воду. А теперь приступим к дальнейшей повестке.

Мужественным тоном, вполне собою овладев, Будрин зачитал сызнова все пункты резолюции и начал голосовать.

И вот тут произошло самое удивительное.

Не более, как в пятнадцать-двадцать минут, собрание приняло все осуждающие правление пункты и выбрало новый состав, утвердив весь волостной список. Ни один голос не раздался в пользу Нилова, Мышечкина и Земскова. Все дружно голосовали за новых кандидатов, и даже Мышечкин от отчаяния или из озорства поднимал за них руку.

Почему так вышло, — я и сейчас твердо не знаю. Предположим, что головы у всех были заняты грузинским происшествием, — на него и весь порох истратился. Но ведь ниловский-то авторитет от этого как будто бы не должен убавиться? Наоборот, он ведь был пострадавшее лицо, изуродовали его любимого сына, — как же не выступить на его защиту с новой и особенной силой?

А! — вот в этом-то, по-моему, и вся загвоздка.

Не уважает наш мужик несчастья, и к несчастному человеку у него никакого доверия нет. Вот, ежели ты силен, здоров и доволен, — почет тебе и вера. А чуть пошатнулся человек, — появляется к нему какое-то отвращение. И всё это у них вполне искренно и даже бессознательно происходит...

Так, я полагаю, и с Ниловым вышло. Какой же он для них доверенный, ежели он без шапки по морозу бегает? Разочаровались мужички...

Как бы там ни было, собрание закончилось абсолютной нашей победой. Мышечкин с Земсковым поспешно смылись, а мы побеседовали с новыми правлен-

цами, дали им ряд указаний, еще раз пообещали деловую поддержку и, распрощавшись, поехали втроем с Каплан и Будриным обратно.

На воле прояснело немного, но ветер не стих, и по небу быстро шли разрозненные тучи. В разрывах туч кое-где проглядывало черное небо, как песком усыпанное декабрьскими частыми звездами. Несмотря на благоприятный финал собрания, невесело было у нас на душе. Будрин это и выразил вслух:

— Вот, — говорит, — сделали дело, заварили кашу, — а теперь как-то даже и грустно... и Костю жалко, — хоть и ниловское отродье, а парень был приятный... Главное же дело, боюсь за Сысина... Справится ли?.. Опытности нет у него. Да и не задавили бы его эти стервецы... Нилов-то теперь вышиблен из колеи, а Мышечкин, — тот еще свой норов покажет.

И как бы давая взаимную поручку, Будрин с агрономшей опять заговорил о поддержке нового правления, о том, что возьмут его оба под особое наблюдение.

Меня же не столько судьба товарищества тревожила, как вообще был я угнетен и взволнован всем этим вечером, столь нагруженным всякими событиями.

Мысли мои были усталые и неотчетливые. Думал я о Ниловых, о старике и об Косте, с болью в сердце представлял себе его ужасный обезображенный вид, и тогда возникли в памяти моей нежные его щеки и смелые глаза. Что-то творится у них сейчас на тихом, заметенном снегами хуторе? И разрасталась дума моя, пропуская сквозь себя всех виденных за вечер людей, во всем различии и в схожести их. Боже ты мой! Как еще все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий... Не поймешь ни конца, ни начала, — всё течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины, и влачит их поток в незнаемую даль...

Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть так. А всё-таки страшновато и зябко на душе...

Будрин встал в санях и что есть силы хлеснул лошадь. Она рванулась и понесла чуть ли не вскачь. Снежные глудки из-под копыт полетели в лицо, вольный ветер задувал в рукава и студено охватывал всё тело. Огни деревень, то рождаясь, то прячась за темными холмами, мелькали по обе стороны от дороги. От быстрого движения, от чистого, жгучего воздуха сползала с нас истома и печаль. Будрин, стоя в санях, задурил, шлепался к Каплан на колени, а та пищала что-то, захлебываясь от смеха.

В Дулепове я распрощался с ними и вылез из саней, Будрин же повез Каплан дальше, на пункт, где у нее годовалый ребенок.

Вот и конец всей истории.

Вы спрашиваете что же с Меричкой? А не знаю, дорогой товарищ, не знаю. Я же вам не сказку рассказывал, — откуда же мне знать. Ведь вы поймите, — вчера всё это было, вчера вечером, мне и самому удивительно: ночь переспал, — и совсем другая жизнь... Вот поеду опять в Дулепово, тогда и про неё расспрошу, а может быть...

Однако Останкино-то уж проехали? Пора, пожалуй, и к выходу.

(«Ровесники», кн. 7, Москва, 1930 г.)

БОРИС ГУБЕР.

Когда Борис Андреевич Губер появлялся где-либо вместе с Иваном Катаевым, можно было подумать, что Катаев беспартийный интеллигент, а Губер, конечно, член партии и занимает весьма ответственный пост.

По всему характеру своему, по тому, как он держался, по манере говорить и даже по внешнему виду своему Борис Губер походил более на директора какого-нибудь крупного советского предприятия, нежели на писателя.

Был он всегда коротко подстрижен, белобрысый и коренастый, сложения крепкого, ширококостного. Нос и подбородок у него были тяжелые, глаза маленькие мутновато-голубые. Не соответствовала всей его сильной фигуре только меловая бледность лица.

Губер превосходно усвоил стиль и язык большевизма. Его искренне и глубоко угнетало, что в свое время он не решился и, по некоторым обстоятельствам, не сумел стать членом ВКП(б), а потом, когда препятствия эти отпали, ему было уже неловко целый год числиться кандидатом партии.

— Да и нелепо быть партийцем с тысяча девятьсот двадцать девятого года, даже просто неприлично, — говорил он с явной грустью, — уж лучше останусь беспартийной сволочью на всю жизнь.

Внешней грубостью и каким-то нарочитым примитивизмом в общении с людьми пытался он прикрыть свою непомерную гордыню, ни в чем и никому не хотел уступить, боялся оказаться глупее других. Тяготило его, что даже гимназию полностью не окончил. Из одного самолюбия мог он целыми ночами просиживать за книгами и, действительно, многого добился. Знания его были значительно серьезнее и главное глубже, чем у Зарудина. Да и с детства читал он много и жадно.

У Губера не было двойной жизни. Он был вполне выдрессированным, активным советским гражданином, но этот его окончательный переход на советские рельсы произошел не так легко, как у Зарудина и Катаева. В анкетах, на вопрос о социальном происхождении, он отвечал: «Сын агронома», но детство его прошло в помещичьей усадьбе. Отец был управляющим крупным имением и отсюда у Бориса Губера добротное знание русской

деревни, страсть к охоте и привязанность к дворянской литературе.

Писал Губер много, но не быстро. Количество выпущенных книг свидетельствует только об огромном упорстве и высокой дисциплине труда. Родился он в 1903 году, а к 1930-му году, то есть двадцати семи лет уже был автором четырех книг: «Шарашкина контора», 1926 г., «Соседи», 1927, «Известная Шурка Шапкина», 1928 и «Простая причина», 1928.

Работать он умел по 16 часов в сутки. Основной рисунок его рассказов был натуралистически бытовой. Собственный голос слышался в этих рассказах лишь мельком и преимущественно там, где есть дуновение отроческих воспоминаний, но тут же это «свое и по-своему» уступало место чисто литературным реминисценциям, и уже не разберешь, где кончается Губер и где начинается ловко переработанный на собственный лад Бунин, Чехов и Зайцев.

Во всех рассказах и повестях Бориса Губера, написанных до 1930 года, все же чувствовалась хорошая школа. Фабула их была достаточно занимательна, сюжет развернут смело, словесная ткань простая и четкая. Обладал он чувством меры и неплохим вкусом.

После бури, пронесшейся над «Перевалом» в 1930 году, Губер выехал в длительную литературную командировку, а в 1931 году, в издательстве «Федерация», вышла его новая книга «Неспящие». Это были так называемые производственные очерки. На протяжении трехсот страниц Губер повествует о достижениях зернового хозяйства на Кубани, подробно и нудно излагает историю возникновения гигантского совхоза.

Прочитать полностью эту книгу не могли даже ближайшие друзья Бориса Андреевича. Перевальцы острили, что «Неспящие» являются лучшим снотворным средством.

Губер вошел в «Перевал» в 1925 году и оставался в нем до самой его ликвидации. Первые рассказы Бориса Андреевича печатались в журнале «Красная новь» у Воронского и первая книга «Шарашкина контора» была выпущена издательством «Круг».

С основными перевальцами Губер сжился, как с родной семьей. Он остро подмечал их слабости и добродушно посмеивался над «донкихотским марксизмом» Лежнева. Читал стихи Зарудина, недоуменно пожимая плечами. Сочувствовал Катаеву. Знал он и собственные недостатки, но бороться с ними не хотел.

Однажды на охоте, сидя в лирическом раздумьи у потухающего костра, он сказал:

— Что же, сам, конечно, понимаю, что я хам, но это не мешает мне быть умным и честным человеком.

Женился Борис Андреевич совсем молодым. Жену свою — Ольгу Михайловну — любил и баловал. Была она хорошенькая, с характером беспечным и своевольным. О ней Губер не без гордости рассказывал, что в день их свадьбы Ольга Михайловна перепила его и, с тех самых пор, он у нее под башмаком.

В 1933 году Губер подружился с Василием Семеновичем Гросманом, который, в то время, только начинал свою литературную деятельность. И случилось так, что Ольга Михайловна окончательно и бесповоротно влюбилась в Гросмана. Пробовал Борис Андреевич уговорить ее, приводил всяческие доводы, но всё безрезультатно. Она только плакала и говорила, что не может жить без Васи. Под конец Губер готов уже был согласиться, чтоб Вася приходил утешать его жену, только бы «сора из избы не выносить». Но кончилось всё же тем, что, оставив Борису Андреевичу двух малолетних сыновей, а при них бонну и кухарку, Ольга Михайловна окончательно переехала к Васе. А несчастный Губер даже приятельских отношений с Гросманом не оборвал и частенько, в ресторане Союза советских писателей, можно было видеть, как за одним столиком мирно ужинает Ольга Михайловна вместе с Васенькой и Боренькой.

Борис Губер был человеком общительным. Круг его знакомств не ограничивался ни «Перевалом», ни попутчиками. Якшался он, по его собственному выражению, «со всякой сволочью».

Весь его внешний ультра современный облик весьма импонировал руководителям пролетарской литературы, а потому критические отзывы вапповцев о произведениях Губера были вполне лояльны. Отмечала критика его излишний бытовизм, говорила о влиянии Бунина, не без яда, утверждала, что Губер показывает чеховских героев в советской действительности. Даже во время разгрома «Перевала» обвиняли его лишь в изображении «лишних людей».

Из всех перевальцев один только Губер был для вапповцев «своим парнем». Борис Андреевич охотно поддерживал приятельские отношения с Фадеевым, Ставским и даже с придурковатым и наглым Ермиловым, который водрузился в журнале «Красная новь» вместо А. К. Воронского.

Был Борис Губер достаточно умен и понимал, что положение на фронте искусства, день ото дня, становится безнадежнее. Но жажда карьеры была в нем настолько сильна, что уж если нет настоящей литературы, то и в этой подхалимно-казенной он все же хотел играть не последнюю роль. Только этим можно объяснить появление в свет его «Неспящих».

И, наконец, уже в 1936 году, во время сталинской расправы со всеми инакомыслящими, написал Губер маленький, но столь

необычайный для него самого рассказ, которым испугал не только Лежнева и Катаева, но поразил даже видавшего виды Николая Николаевича Зарудина.

Назывался рассказ этот — «Дружба». В нем говорилось о двух друзьях — приятелях, которые с детских лет любили и почитали один другого, но потом обстоятельства развели их в разные стороны. Один стал инженером и уехал куда-то на новостройку, другой работал в столице в одном из наркоматов. Через несколько лет случилось работнику наркомата поехать по делам службы как раз туда, где, в качестве главного инженера, подвизался его друг. Встреча была теплой. Инженер оставил ночевать у себя дорогого гостя. За ужином выпили водки, разговорились по душам. Во хмелю инженер признался, что ненавидит советский строй и занимается тайным вредительством. Утром, после некоторых колебаний, работник из центра отправляется в местный отдел НКВД и сообщает о вредительстве своего друга.

Проходит еще десять лет и, совсем неожиданно, на улице встречаются бывшие друзья.

Наркоматский работник чувствует некоторую неловкость, но видя, что инженер возмужал, окреп и главное стал каким-то по-новому жизнерадостным человеком, спрашивает, что с ним произошло за эти десять лет.

— Восемь лет я пробыл в трудовых лагерях НКВД и многому научился, — отвечает инженер.

Тут работник наркомата не выдерживает и чистосердечно кается, что это он вынужден был сообщить следственным органам об их задушевной беседе.

Инженер взволнованно обнимает своего бывшего приятеля и говорит:

— Так значит это ты не дал мне погибнуть окончательно? Ты спас меня от меня самого! Ты сделал меня честным человеком!.. Ты поступил как настоящий друг!..

Рассказ этот с наивной попыткой оправдать доносы и концлагери, несомненно, был продиктован Губеру паническим испугом его перед катастрофой, приближение которой он начал ощущать задолго до «ежовщины».

Но, когда пришел его час — не спасли Губера ни связи с вожаками пролетарской литературы, ни очерки о совхозе, ни этот, поистине смердяковский рассказ о пользе предательства.

БОРИС ГУБЕР.

МЕРТВЕЦЫ

1. За околицей

Скучная в Сухарине церковь — новая, просторная, а голым, бурым кирпичом стен и тусклыми окнами напоминает казарму. Тяжко в этакой церкви долгие обедни выстаивать... Но сухаринский мужик ничего, стоит. Даже внимания не обращает: шут с ней, со скукой! Мужик здесь — бородатый, хозяйственный, крестится широко, прилежно бьет поклоны, а думает о своем, о быке мирском из совхоза Красная ферма да о наливающих ржах... Потому-то, не иначе, и залегло Сухарино плотным, степенным селом с объемистыми засеками в амбарах и с рослыми оранжевыми скирдами на огуменках. Потому и желтеют так ласково сосновые стены новых, намедни срубленных изб... Звон же вечерний проплывет над селом, над крышами, дойдет до опушки лесной, да там среди деревьев и потеряется — заблудится, погаснет, замрет.

Есть в Сухарине и школа. Церковь на одном конце, на въезде, а школа — на другом, за околицей, как раз напротив столба, что показывает бледной, выцветшей надписью своей дорогу —

На с. Пречистый Бор.

Крутые скаты драночной крыши уже прорастают лишаем, серебристым, как рыбья чешуя; низкий сруб потемнел, полиловел. Однако, школа еще не ветшает и

выглядит так же крепко и основательно, как все сухаринское.

Выстроена школа еще земством, попросту — коридор, классы, комнаты для учителей. Краска на полах поистерлась, сохранилась только вдоль стен. Каморка сторожихи Аксиньи так мала, что едва вмещает громадину печи.

В классах тесно от парт, и парты от времени уже не черные, а какие-то пегие. На стене — Европа, истрепанная в клочья, картинки и гипсовая доска-орнамент: на серой от пыли доске, серый и пыльный, не отцветая, цветет лотосовый цветок.

Пахнет в школе тепло и уютно — старыми книгами, мелом, угарцем. Сторожиха Аксинья печи топить не любит: тяжелые березовые охапки горят — нужно их мешать, а догорают — вытаскивать головешки. И торопится Аксинья, кряхтя лезет на табуретку, тянется, закрывает трубу.

2. Фендрик

Учителей в школе двое. Степан Петрович старше, ему уже за тридцать. Он невысок ростом, бесцветен и пучеглаз. Голову стрижет наголо, усики тщательно подбривает, а угри, часами сидя перед зеркалом, давит без сожаления, до синяков.

В прежние, какие-то очень далекие времена, был он офицером и сейчас донашивает старое свое платье галифе с полинялыми кантами, тужурку цвета жухлой травы с дырочками для погонных шнурков и шинель из потертого солдатского сукна. Это всё, что осталось от его былого офицерства: вспоминать о нем вслух Степан Петрович не любит и в анкетах пишет обычно: «Пепкин, С. П., окончил классическую гимназию». Погоны с тремя звездочками, темлячок и алая Анна запрятаны так далеко, что сыскать их совсем невозможно.

За три года своей службы в Сухарине он обжился и к школе привык. В комнате у него чистота и выло-

щенный порядок — он каждую неделю сам моет пол, ползает на корточках и трет облупленные доски толченым кирпичом.

Гладко затесанные стены, в глубоких по бревнам трещинах, украшены фотографиями и рамочки их затейливо сделаны лобзиком. В углу комнаты железная койка под сивым одеялом, какие бывали прежде в лазаретах и кадетских корпусах. Подле окна — еловый, добела выскобленный стол и тетрадки, карандаши, книги разложены по столу в раз-навсегда заведенном порядке. Подоконник завален мелким слесарным инструментом и часами с нелепо-яркими циферблатами: Пенкин слывет по окрестным деревням искусным часовщиком.

К выбеленной мелом голландке придвинута поношенная фисгармония. Рядом — стеклянный шкафчик-горка (библиотека), а на нем глобус из папье-маше, с проломленным боком: как-то по пьяной лавочке задумали шаром земным играть в футбол.

От соседней комната Степана Петровича отделена досчатой переборкой, которая свежее и светлее стен. За нею живет Колька Доктусов. На плохо оструганных досках застыли потоки прозрачно-янтарной смолы и круглыми дырами зияют лунки от выпавших сучков — их Степан Петрович, во время ссоры с Доктусовым, неизвестно для чего затыкает газетной бумагой...

А среди комнаты гордость и богатство шкрабье — фикус в зеленой кадочке.

3. Рассосуля

У Кольки фикуса нет. Колька неряха. И лентяй.

Кровать его вечно смята, из стеганного ватного одеяла грязными клочками лезет вата: подчас, когда разболится у него зуб, Доктусов таскает бурые эти клочки, чтобы законопатить ими дупло. Кроме кровати, обладает он еще хромым овальным столиком и стулом с прорванным сидением из соломки. Платье и са-

поги его валяются где попало, чаще всего на полу... А в углу темнеет лик большого, дешевого образа в фольговой ризе, отливающей перламутром: Доктусов — попович.

В прошлом у Кольки незаконченная семинария — товарищи, отец-ректор, хромой и тощий, как соломина, деревянный губернский город, утопающий в садах. О семинарии вспоминает Колька с удовольствием и с легкой тоской. Но и в Сухарине ему неплохо: покончив с уроками — валяйся на скрипучей кровати, читай Майн-Рида и Буссенара хоть до утра!.. Захочется спать — спи хоть двадцать часов подряд... А по субботам вовсе благодать — подпоясав овчинную куртку, спрятав лицо в воротник, можно пускаться в морозный путь, к далекому Пречистому Бору, где отцовский дом, пропахший ладаном и геранью, встретит теплом и цветными огнями лампад, где простоволосая, жирная матушка, поджидая Коленьку своего, ставит опару для завтрашних пирогов... И поспешно ступая по скользкой накатанной дороге, думает Доктусов о том, что жизнь хороша, покойна, сладостна. Предвкушает он завтрашний день — пахучую, кисловатую самогонку, пироги, шашки с братом Серегой, — и ускоряет шаги, почти бежит...

Он еще очень молод и его скоро призовут в Красную армию. Этот будущий призыв мучает, не дает покою. Ох, придется забыть про темноватый залик с клеенчатым диваном, про негромкие в сумерках гитарные рокоты!.. А тут еще Степан Петрович, насмешливо теребя стриженые усы, рассказывает о казарменных порядках... Трудно Кольке прятать от Степана Петровича свой страх перед призывом, трудно уверять, что мне, дескать, все нипочем. И торопится он — жадно хватает привычные прелести, пьет самогон до отказа, глотает индейские приключения по два романа в день, а выбрав пустую минутку, заваливается спать, — спит, спит, спит, пока не нальется пересыпом лицо,

пока не станет оно пухлым и белым, как кочан сабуровки, пока не надоест свой собственный отвратительный храп.

4. Зимнее «мадение»

Снега, в яркие солнечные дни сверкающие нестерпимым глазетным блеском, а в дни пасмурные — голубеющие, как крепко подсиненная простыня. Мятели, горбатые, дымные сугробы. Лед на оконном стекле. Тепло и угар...

Бесконечно долгими буднями бредет зима. Даже Доктусов не выдержал, затосковал. И со скуки приятели придумали себе развлечение: вот уже месяц говорят они между собой особенным, странным и диким языком. Фальшивые, нарочно-неправильные «народные» чаво и отседова, давно умершие словечки вроде фузеи, першпективы, колера и почерпнутые из Купера митасы, вигвамы, мустанги — смешиваются необычайно забавно. Даже друг друга называют они индейскими именами: Степан Петрович — по причине рваных сапог — «Дырявый мокасин», Доктусов — «Сонный глаз»...

Есть еще и совсем секретный язык, который называется почему-то «Венецианским диалектом». Состоит он из прибавлений к отдельным слогам приставок «ши» и «ца». Ввел его Доктусов, и Доктусов очень гордится им: посвятив Степана Петровича в венецианские трудности, он хвастливо говорит:

— В семинарии придумали. Замечательный диалект.

Вечерами приятели переговариваются через перегородку.

— На ассамблею пойдешь? — деланно-равнодушно начинает Пенкин.

— Не стоит, — нерешительно отвечает Колька, — что здесь мадеть, что там...

Все-таки через несколько минут они одеваются и уходят. У Степана Петровича в першпективе встреча с Настенькой, у которой тоже есть кличка: «Звезда прерий».

По субботам Доктусов, как всегда, собирается домой. Пенкин завидует, но делает безразличное лицо и потихоньку насвистывает марш «Под двуглавым орлом». Доктусов, прощаясь, виноватым голосом объясняет:

— Я, Степа, в баню. Помыться.

— Ага. Катись!

Степан Петрович знает, о какой бане идет речь. Он злится, в виде мести уходит на село, к Настиному брату, Шурке Касаткину, и врет, будто отец Досифей за малейшую провинность дерет Кольку за уши и что Колька после наказания плачет в голос. Касаткин притворяется, будто поверил и удивленно тянет:

— Да ну-у? Ревет?

И Степану Петровичу становится легче.

5. Злорадный шкраб

Просыпается Пенкин точно и аккуратно в семь, вытаскивает из голубой бисерной туфельки часы, убедившись в аккуратности своей, приятно вздыхает и тянется за кисетом. Кисет алый, атласный, сшила его Настенька. Махорка просыпается на голую волосатую грудь, забирается под рубашку. Пенкин стряхивает на простыню просыпанные табачинки и сметает их ладонью в кисет: он скуповат. Потом, подтянув подштанники, влезает босыми ногами в валенки и принимается будить Кольку:

— Эгей, индеец! Сонный глаз!

Из-за переборки доносится непонятное бормотание и скрип кровати, потом храп: Доктусов засыпает наново. Степан Петрович обиженно умолкает, идет за самоваром. Аксинья, толстая коричневая старуха с бельмом на глазу, уже истопила печь, и, немотря на

раннюю пору, сидит за пряжей. Самовар клокочет и переливается через край. На полу под ним нежно розовеет сквозь пепел кучка углей.

Хлеб зачерствел. За окном рыхлые, грязные тучи, подсиненные снега. Горбы сугробов дымятся легкой поземкой. Но Степан Петрович не замечает этих неприятностей: он увлечен злорадными мечтами и думает о том, как Доктусов проспит чай и, не успев поесть, будет кряхтеть и мучиться до конца уроков...

Постепенно сходятся ребята, спорят, дерутся, хохочут. Аксинья ворчит, выглядывая из своей каморки:

— Пропаду на вас нет, бесстыжие. Полно снегу наследили... А веник на что? У-у, голоштанные.

Степан Петрович занимается с младшими отделениями. Он, конечно, предпочел бы старших, но... он знает, что Доктусов застенчив, боится взрослых детей и главным образом Наташи Нефедовой, в которую по-семинарски влюблен... Уроки идут, как обычно. Ребята сопят, потягивают носами. Негромкий дискант запинаясь читает: «О-ля бы-ла ма... мала», — остальным скучно слушать про Олю, они перешептываются и глядят через окошко на воз хвороста, медленно ползущий мимо. Соловая кобыленка бойко мотает головой, а баба в полосатом платке идет рядом и поминутно соскальзывает с дороги, глубоко проваливается в целик...

Доктусов проснулся в девять и едва успел помыться. Слышно, как он, немного заикаясь, рассказывает своему классу о Петре Великом. Он поминутно краснеет, старается не поднимать глаз. Ему очень хочется взглянуть на Наташу, а боязно. Наташа, высокая, смуглая девочка, сидит спокойно с перекинутой наперед косой, толстой и крепкой, как оглобля, с уже заметными под ситцем грудями, должно быть, твердыми, как те мячи из черной резины, которыми семинаристы играли в лапту.

Доктусов боится девочек. Те часто над ним смеются вполголоса. К тому же он и сам становится на уроках смешливым.

Переменками ребята срываются с мест, в одних рубашонках выскакивают на двор играть в снежки. Доктусов тем временем грызет сухой хлеб и запивает его холодным чаем. Степан Петрович довольно посмеивается:

— Так тебе, присноблаженный, и нужно — не дрыхни, как свинья ленивая, отцу Досифею принадлежащая.

6. В три руки

После обеда, когда уже приближаются сумерки, небо проясняется. Закат бледно-красен и чист. Доктусов, лежа ничком, читает «Остров сокровищ». Пенкин чинит часы — разбирает нехитрые части, посвистывает, покуривает. Аксинья кряхтя затапливает голландку, гремит вьюшками....

Когда сумерки заливают школу синей полутьмой и нельзя уже разобрать ни букв, ни медных шестеренок, Степан Петрович подсаживается к фисгармонии, которую коротко, по-приятельски зовет Фисой. Доктусов — на басах. Хриплый Фисин голос звучит тоскливо и нудно. Однако приятели не замечают этого — сидя рядышком нажаривают в три руки, — Пенкин несмело тыкает в клавиши одной правой. Отхрипев «Коль славен», Фиса принимается за Пупсика, затем следует Варшавянка и «Ты не шей мне, матушка»...

После того, как окончательно устанут и руки и ноги, оба перебираются на кровать — снимают сапоги и ложатся. Степан Петрович ставит на живот себе пепельницу, курит и осторожно стряхивает пепел. Окурок он прячет в щель стены: когда кончается табак, он вытаскивает окурки, которых немало понатыкано по стенам, и вышелушивает их в кисет.

Разговаривают лениво.

— Ну, а Натаха твоя как? — спрашивает Степан Петрович, — соответствует?

Доктусов молчит, багровеет. Но тьма помогает ему говорить...

— Эх, брат, и галантная же девка! Сюда бы ее на логово. Сегодня на арифметике встает и, понимаешь, — разрешите выйтить.

— Ну?

— Ну и ничаво. Смешно мне!

Степан Петрович ехидно хихикает и тянет:

— Ой, и па-а-длец ты, мичман!

А мичман вскакивает, торопится зажечь лампу, уйти от собственных своих мыслей... Степан Петрович тоже встает:

— Рыболовничать пойдешь?

Доктусов кряхтит — совсем как Аксинья — заранее зябнет. Но отказываться невозможно. Он уходит к себе, одеваться.

7. Гужевой полигон

От школьного крыльца натоптана к дороге плотная тропочка. От околицы горой поднимается зеленый от луны сугроб, изгородь кладет на него густую, почти черную тень.

Широкая сухаринская улица тиха, — вдоль изб пестреет желтыми отблесками оконного света. У средних — поседка; из чередной избы несется визг гармошки и тяжелый топот кадрили. Доктусов заходит туда — посмотреть, нет ли там Насти... Идут дальше. Снег чуть слышно скрипит под ногами. Поровнявшись с Касаткинским домом, опять останавливаются. Степат Петрович крадется к окну, заглядывает внутрь. Сашка сидит за столом и читает газету, отец его, зевая, рассеянно молится на невидный с улицы образ. Насти нет и здесь.

— Пусто, мичман!

Доктусову хочется домой. Зябнут неприкрытые короткой курткой ноги. Но он покорно плетется мимо берез и ветел, сверкающих под луною заиндевелыми сучьями. В конце села нелепо громоздится казарма-церковь. На паперти звонкие в морозе голоса. Степан Петрович расцветает.

— Есть, капитан! — шепчет он, оглядываясь.

Настя сидит на ступеньке; рядом с нею подружка в белой вязанке, — Доктусову приходится взяться за нее, ничего не поделаешь, дружба, она — вещь... того... ответственная!

И он заводит разговор:

— Вам, барышня, не холодно?

— Не...

— А для чего вы закутались?

— Так.

Пауза. Степан Петрович с Настей уходят вперед, теряются между избами. Доктусов томится, зевает. Он очень рад, когда его спутница неожиданно молча протягивает холодную как ледяшка руку и отстает от него... Хорошо бы сейчас дать дралу! Но нельзя: дружба, она — того... Грея руками зябнущие уши, бредет Колька по улице. Увидев светлеющую на Касаткинском крыльце шинель, он начинает насвистывать начало вальса «Тоска», обрывает — с крыльца раздается негромкое продолжение. После условного этого свиста Доктусов кричит вполголоса на венецианском диалекте:

— Широскоц?

— Шишец нешимногец...

Доктусов пожимает плечами... Что бы такое придумать?.. После короткого колебания он решает идти к Лешке, у которого есть мандолина и цитра. В Лешкиной избе темно, неуютно — горит вонючая коптилка и какая-то старуха, сердито поджав губы, сучит нитку. Лешка достает инструменты. Долго настраивает и начинает маршем. Старуха ворчит, но на нее не обра-

щают внимания. Под окнами сходятся слушатели — видно где-то лицо, прижавшееся к стеклу... Цитра грустно звенит протяжными серебряными переливами, поспевая за нетерпеливым трепетом мандолины... Недавняя сонливость Доктусова исчезает, будто ее и не было; он с удовольствием играл бы всю ночь. Но старуха ворчит все громче, Лешка ужасно хитро подмигивает... Провожая Доктусова, он извиняется:

— А то, знаешь, заест она меня...

Степан Петрович долго прощается с Настей и бегом догоняет деликатно ушедшего вперед Кольку. Уже поздно, избы погасли, умолкла и поседка. Луна опускается за гумна, но снег все еще бледно-зеленого цвета.

В школе душно, угарно. Это особенно хорошо заметно с мороза. У Степана Петровича застыли ноги: он снимает сапоги и трет побелевшие ступни одеялом. Он доволен — такой удачный вечер называет «отрадным гужевым полигоном».

8. Вигвам бы

Удачных вечеров мало. Чаще всего Настя бывает на поседке и упорно отказывается уходить оттуда — боится насмешек. Девки и так называют ее «учительшей».

В такие дни Степан Петрович зол и угрюм. Возвращаясь в свою комнатку, он молча ложится, без конца курит и вздыхает так громко, что Доктусов не может заснуть — приходит и неумело утешает, предлагает почитать «Квартеронку». Степан Петрович грубо отвечает на это:

— К чортовой матери!

Когда становится совсем невтерпеж, он зажигает лампу и садится за письмо к Серафиме Сергеевне, которая живет где-то в Тамбове и которую он помнит прежней рыжеватой, легко-краснеющей гимназисткой. Он, может быть, на мгновение, осознает ненужность

и несуразность своей жизни, хочет рассказать про одиночество свое, про неизвестно куда и зачем бредущие дни, о том, что он совсем напрасно обманывает себя несуществующей вовсе Настей... Но письмо не ладится. Готовые, уже надуманные было мысли разбегаются как тараканы, вместо них лезут привычные заковыристые словечки. И круглые, по-детски точные буквы сами собой укладываются в нарочные ошибки:

«Во первых страках сваво писма кланяимся ниска...»

С таким началом далеко не уйдешь!.. Степан Петрович сердито комкает листочек, кидает его на пол и тут же, спохватившись, нагибается за ним — сует в карман. Снова нижутся буквы:

«Получив прелюбезнейшую мою эпистолею, не подумай, что сие»...

Изорвав тетрадочку бумаги, набив ею полные карманы, Пенкин, так ничего и не написавши, укладывается спать. Он уже успокоился и к Серафиме Сергеевне чувствует неприязнь. Медленно раздеваясь, аккуратно складывая белье и платье, он думает о Настеньке. Сейчас она кажется ему особенно дорогой и близкой. Мучительно и жарко вспоминается мокрое от слез лицо, невидное в ночи, поцелуи сквозь шопот и:

— Учительшей зовут. А мать... лается. Теперь, теперь, говорит, и замуж не возьмет ни... какой.. Ну и пусть... пусть!

Степану Петровичу стыдно, что он пытался писать Симке. «Эх, вигвам бы иметь собственный! — думает он. — Женился бы я обязательно. И мы жили бы вместе, работали»...

А где-то, в тайниках далеких, прячется покойная мыслишка: вигвама у него не будет никогда — значит и жениться не придется.

9. Водой отливают

Случилось это в субботу, — плыл над селом, над снегами к лесу угасающий благовест.

К Доктусову приехал брат, Серега, привез с собою самогонки. На радостях школяров отпустили пораньше. Крупную гнедую кобылу, в которой по сытости и ладной наборной упряжи нетрудно было узнать поповскую, Колька отвел к сухаринскому священнику: подле школы негде было ее поставить. Вернулся он не один — на радость Степану Петровичу привел Сашку Касаткина.

Запотевший жестяной бидончик высился посреди стола, от него шел приторный, сладковатый запах. Пили из одной чашки, по очереди.

Хмелели.

Степан Петрович, выпивая, говорил:

— Могем соответствовать! — и пил дочиста тремя точными, отмеренными глотками.

Рядом, в коридоре, Аксинья мыла полы, — слышно было, как плещется в шайке вода, как трется о доски измызганный веничек. Серега, мрачный, губастый подросток, посоловел, медленно ворочая мутными глазами, и мальчишеским баском говорил непристойности. Колька удерживал его, но неудачно, — смехом давился: до того смешливым стал — хоть плачь! И между приступами хохота, беспокойно вспоминал:

— А почему Лешки нет? П-почему? Саш, я его з-звал?

— Звал.

— А п-почему такое его нет?.. Хо-хо-хо! Н-не понимаю!

Смеркалось. Сумерками хмель забирал сильнее, и все, хором, путаясь и мешая друг другу, запели «Ноя».

...Зело обрадовался Ной,
С детьми, кухаркой и женой.
Лозу на славу он развел
И винный погреб свой завел,
  Чтоб в нем хранить, хранить вино,
  Дабы созрело бы оно...

Синяя муть за окном билась о стекло сухим и твердым, как песок, снегом. Огня не зажигали, пели в темноте. За стеной плескалась в шайке вода и сморщенный, старушечий голос скрипел:

— Батюшки вы мои, грех-то какой, под праздник, под праздник Господний...

А в ответ спутанным нестройным ревом неслось:

...Зане в воде погребены
Все беззакония сыны...

Когда засветили лампу, Серега, под шумок тянувший во время пения чашку за чашкой, уже не держался на ногах. Он свалился на пол и бормотал, бессильно, клейко мигая.

— Ой, мутит, ой, братцы, мутит...

Наконец, пришел Лешка, вынул из-под шубы цитру, бережно положил ее на кровать, здоровался. Степан Петрович, невнимательно сунувший ему руку, изливался перед Касаткиным:

— Бумажку присылают: усилить общественную работу. Пс!.. Это за шестнадцать-то с полтиной в месяц? Не обязан. Не желаю!.. Уйду я отсюда, ей Богу уйду... Выстрою себе дом.

Лешка налил чашку, выпил и, будто нечаянно вспомнив, равнодушно сказал, трогая пальцем струну:

— Касаткин, а Настя ваша в бане угорела. Бабы говорили. Водой, говорят, отливают.

Касаткину все равно... Он только волосы пригладил рукою:

— Ничего, отживет.

Но Степан Петрович заволновался. Вскочил было... да вспомнил: «лается мать, замуж не возьмет никакой», — и счас:

— Саша, сходи домой, будь другом... Сходи, узнай, как там...

— Ну ее, — ответил Саша, — не пойду.

Сказал, а у самого зашлось вдруг сердце: водой

отливают. И, спотыкаясь, позабыв про шапку, на ходу отыскивая кулаком рукав пиджака, — за дверь. Колька ринулся за ним:

— Шапку, шапку, — кричал он, — хо-хо-хо, шапку позабыл. Хо-хо-хо!

Спал, прерывисто дышал Серега. От раскрытого бидона шел густой противный дух. Лешка, не найдя вилки, захватил двумя пальцами скользкий картофельный ломтик, и спокойно сказал:

— Что ж, пойду и я.

Степан Петрович ничего ему не ответил; цепенеющими глазами он уставился в окно, хитро подмигивая тьме: он-то зна-ет!.. Угар ему на руку, — когда угорит кто — первым делом на мороз его нужно... И представляя себе, как будет он гулять с Настей, не давая ей заснуть (при угаре, первое дело, спать нельзя), Пенкин не спеша, аккуратно переобулся, натянул шинель и положил перед собою часы: еще минут пять, ну шесть. Не больше...

Морщась от отвращения, одинаковыми, размеренными глотками тянул он последнюю, с мутью подонной, чашку... И вдруг взвизгнула дверь в сенях. Снега с валенок не обив, вошел Колька, остановился, тупо улыбаясь.

— Ну?!

— Finis... — криво, углом поползли тупые, детские губы, — до смерти... Преставилась, брат, Настюха.

10. Четыре воянгелья

Рыжей и жесткой, как медная проволока, щетиной обросли щеки, борода: не только бритву, но и ножик столовый, тупой и безвредный, но и отверточки махонькие, часовые, спрятал куда-то Колька.

Далеко — туда, в густые заросли перепутанных мыслей, уже ушло все: холодная, пустая церковь, тесовый мелкий гроб, приторная сизь ладана и — сквозь бесформенное отчаяние — веревка на костыле, пере-

пуганное Колькино лицо... Уже можно было, чуть-чуть улыбаясь, позвать:

— Сонный глаз! — и, конфузясь, невольно вспоминая про веревку, сказать:

— Чего уж... Давай сюда бритву.

Испугом мгновенно налилось Колькино лицо. Еще больше сконфузился Степан Петрович:

— Не бойся, дурак, — мягко сказал он, пряча глаза, — не бойся, где уж нам... Где мне, дурак, повеситься... И без Настюхи проживем, да...

Не удерживаясь на выпуклых, стеклянных глазах, покатилась по проволоке рыжей серебрянная капля... И успокоился, сел бриться. Тщательно вымыл кисточку, бумажку с кусочками грязной пены выбросил в клозет.

Вечер пришел своевременно и, как обычно, как всегда — этакие забавные мертвецы — тыкали пальцами в клавиши, и, нарочно перевирая слова, пели под тягучий Фисин хрип, мертвыми, тихими тенорами:

....шестокрылай Серафим,
пять ран у Христа,
чатыри воянгелья..

А за окном, тесно приникнув к стеклу, слушал Фису внимательный медный закат и бросал на белое зеркало печи теплые розовые отсветы.

(«Перевал», книга 5-я, 1927 г.)

П. СЛЕТОВ.

Биографические сведения о Слетове не богаты и отрывочны. Сам он никогда не вспоминал свои детские годы. Родился Петр Владимирович в 1897 году. Окончил реальное училище, затем, во время войны, в 1916 году, был в юнкерском училище. В первые месяцы после революции Слетов занимал внушительный пост — был он комендантом одного из городов на юге России. В партии не состоял.

Во всей его крупной и стройной фигуре чувствовалась военная выправка. Гладкая прическа с косым пробором. Большие серые глаза. Характер замкнутый и холодный.

Ко времени вступления в «Перевал», в 1927 году, Петр Владимирович Слетов, и по возрасту, и по литературному стажу был старшим среди перевальских художников. И если Губер, Катаев, и Зарудин, как литераторы сформировались только в «Перевале», то Слетов пришел к ним уже писателем с некоторым именем, с установившейся манерой письма.

В бытность свою в «Перевале», Слетов написал роман «Заштатная республика», повесть «Мастерство» и несколько рассказов. За то же время, в серии «Жизнь замечательных людей», вышла его книга «Жизнь и творчество Михаила Ивановича Глинки».

В литературных произведениях Слетова был виден профессионализм, в них не было типичной для перевальцев искренности, но технически, по языку и композиции, они были значительно крепче, чем художественная проза Зарудина, Губера и Катаева. Считал он себя учеником Сергеева-Ценского и так же, как большинство перевальцев, ценил Ивана Алексеевича Бунина.

Повесть Слетова «Мастерство» создала ему высокий авторитет в Содружестве. Во всех организационных делах «Перевала» с 1929 по 32-ой год он принимал непосредственное участие.

В самый разгар своей перевальской деятельности Слетов разошелся с женой, но развод этот не был столь мирным как у Ивана Катаева, тем более, что к этому времени его дочери исполнилось уже 14 лет и семейный разлад она переживала не менее мучительно, чем ее мать. Через литературные организации Слетов получил для себя другую квартиру. Он с гордостью говорил, что отныне вся его жизнь принадлежит только искусству.

И уже собирался пышно отпраздновать свое «освобождение от семейных уз», но не прошло и одной недели, как в новую квартиру к нему окончательно переехала жена писателя Огнева. Праздник «Освобождения» пришлось отменить.

В «Перевале» Слетов ближе всего сошелся с Лежневым и Катаевым. Охотничьи подвиги Зарудина и Губера его не интересовали, но были у него свои увлечения. В юности он мечтал о карьере певца. В первые годы революции учился в какой-то музыкальной студии. У него был неплохой баритон. Его повесть о скрипичном мастере родилась не случайно, на досуге он не только играл на скрипке, но и организовал у себя на квартире маленкуью мастерскую — делал скрипки. Дерево, как материал, он чувствовал и любил, знал некоторые тайны лакировки. В его повести есть глубокое понимание мастерства:

«...Слов нет, дорогое дерево повысит качество инструмента, но если рисунок его пышен, то нельзя отыгрываться только на нем. Знай, что природа наделяет наилучшим звуком дерево, возросшее на сухих горных песках, и лучшие части его — это тощие слои, обращенные к северу. Научись подражать природе. Роскошный рисунок разбивает форму, сбивает с толку глаз мастера и если мастер не сумеет удержаться в своем замысле, то он впадет в зависимость от своих материалов и, в лучшем случае, у него получится ублюдок. У дерева, даже мертвого, есть своя собственная жизнь. Умей не искалечить ее, а освободить и в то же время дать новую жизнь инструменту, вдохнув в него свою душу. Но при этом больше всего нужно думать и помнить о звуке. Ценна только та работа, у которой есть ясно поставленная цель — собственное продуманное, прочувствованное представление о звуке. Звук — главное. Иначе — материал и форма будут плясать пустую ненужную пляску».

И еще:

«Да, если хочешь, я скажу тебе, в чем тайна мастерства: работай над каждой вещью, над каждою мелочью с пылкостью любовника, с сердцем матери, которое каждого, самого хилого и недоношенного ребенка выходит и выкормит. С мудростью отца, который твердо ведет их к зрелости. Помни, что всё созданное тобой имеет над тобою же непобедимую власть; так дай же ее прекрасным вещам, они тебя переделают по-своему».

Все высказывания скрипичного мастера Луиджи об его искусстве даны Слетовым с предельной словесной яркостью. Быть может, они даже слишком нарядны и красивы. Большой художник о самом своем дорогом и главном скажет, пожалуй, проще и скромнее; свою исповедь он умышленно прикроет грубостью интонаций. Но Слетовскому Луиджи так же, как его ав-

тору, не свойственна подобная стыдливость, оба они говорят о своем искусстве черезчур пышно.

Абрам Захарович Лежнев, с присущим ему темпераментом, преувеличил значение этой повести. Он увлекся своим сопоставлением: «моцартианства Луиджи и сальеризма Мартино». Он проглядел, что эти, казалось бы совершенно противоречивые образы — Луиджи и Мартино — прекрасно уживались в самом Слетове.

Почти все пороки Мартино, за исключением его тупости и кровожадности, Слетову легко было найти в самом себе, они были свойственны его характеру в неменьшей степени, чем жреческое высокомерие Луиджи, говорящего о своем искусстве.

В угоду властям предержащим, Слетов сделал из мастера Луиджи активного безбожника, а его незадачливому ученику, негодяю и тупице, дал костюм солдата воинствующего католицизма. Этот дешевый трюк, который, несомненно, снижает художественную ценность повести, лишний раз доказывает, что психологический образ Мартино не был чужд автору «Мастерства».

Как в произведениях своих, так же и в личной жизни, Слетов не умел и не хотел быть искренним. Он, с одинаковым успехом, мог, в широкой литературной общественности, играть роль беспартийного активиста, а внутри Содружества проявлять благородное негодование в защиту Воронского (с которым, кстати сказать, его не связывало никакое приятельство).

ПЕТР СЛЕТОВ

ЛИСТЬЯ

Повесть

Это было в городе Санкт-Петербурге.

Это было на Забалканском, в биллиардной. Биллиарда было три: один похуже и два очень строгих. Сюда заходил хозяин, пан Рыбацкий, как в гости. Наведя порядки в смежном помещении, столовой-кофейне, пропустив главную массу обедающих, ущипнув два раза коленку подошедшей к кассе Ядвиги, любил он взять стакан мазаграна и, тихо посасывая соломинку, подняться на три ступеньки в биллиардную.

Войдя, раскланивался пан Рыбацкий со всеми наклонением головы и потупленным взором и перекидывался «парою слов» с посетителями, сохраняя свои обычные манеры графа в изгнании. Затем подходил к биллиарду, где решал искусный маневр Дима Итяков, и всматривался минут пять в игру его партнера. Дождавшись первого неудачного удара по шару, едва не влезшему в угол, облокачивался пан Рыбацкий на борт. Эффектно постучав хризолитом толстого перстня по медному канту и тем стяжав общее внимание, оглядывал он победоносно всех по очереди и говорил Димочкиному партнеру:

— Да, вы сделали артистический удар. Это — удар дуэлянта шпагой в сердце. Но... (грустная улыбка) это вам не кошелка...

Тут с достоинством, промешав кусочки льда в студенистом кофе, отходил он и присоединялся к зрите-

лям, кольцом наблюдавшим поучительную Димочкину игру.

На окнах висели толстые ламбрике́ны, контрабажуры люстр и бра бросали свой рассеянный свет в воздух, пронизанный табачным дымом и остриями биллиардных киев, скользили беззвучно маркеры, собирая по лузам шары и по временам громко выкликали:

— Шестьдесят три! В двух больших партия...

Длилась классическая пирамидка, карамболь и бутефон...

В разные дни, разные часы меняла биллиардная свое лицо, как всякое место общественного значения. В ней меняла свое лицо большая холодная столица, кривляясь привычными гримасами. Но основной состав посетителей оставался все тем же: студенты, больше технологи, растворяли в своей среде небольшую группу знатоков и ценителей высокого класса биллиардной игры, сплоченную вокруг Димы Итякова, как и все фавориты, носившего уменьшительное имя.

Одним заменяла биллиардная успехи неудачной карьеры, другим — негостеприимную науку, третьим — отсутствующую или испорченную семью. Безмолвный ли уговор или святость своеобразных традиций, но личное не всплывало ни в разговорах, ни в поступках. Игра, ее содержание и логика создавали центр, вокруг которого лепились интересы, игра заслонила всё остальное, и лишь в ее плоскости ухитрялись решать вопросы искусства, философские и политические.

Так естественно стала биллиардная портиком греческого храма, где жрецами были Дима Итяков и маркер Федор, учителем же философии и теоретиком — журналист Поливанов.

Аудитория завсегдатаев держала мазу за игроков, созерцала, сидя на полужестких диванчиках, и курила. А Поливанов поучал:

— О, юноши, о, мужи, у нас накурено, но дух витает чистый, ибо мы одни. Вы видите, боги благосклонны к нам: ни одна женщина не омрачает наших бесед под этими сводами. В многоопытной своей мудрости уважаемый хозяин наш Казимир Казимирович не допускает даже к уборке биллиардной ни Ядвиги, ни кого-либо еще из дев и жен мало-мальски годных к ласкам и битвам Афродиты. Поистине, соблюдая свои интересы, заботится он и о наших, ибо не коснулось нас тлетворное женское дыхание. Что же касается поломойки, то злые языки говорят, что и она двухснастна...

Игроки ходили вокруг биллиардов с киями в руках, в одних жилетах. Дима Итяков играл очередную партию со случайным посетителем, привлеченным замечательной его игрой, шумела отдаленно кофейня, за окнами ночевал Санкт-Петербург. И Поливанова слушали плохо, больше следя за Димой, за каждым его ударом...

Он горбат. Это заметно не всегда, чаще кажется, что он сутул. Он движется среди игроков, он ходит вокруг биллиарда с той уверенностью, с тем достоинством, с каким творят общественные обряды под направленными десятками внимательных взглядов привычные актеры разных культов. В лице его, в глазах спокойное превосходство бесспорной силы, в каждом жесте — та неуловимая и постоянная находчивость, которая присуща мастеру и знатоку, а по временам далекая улыбка смущения. И когда от удара Димы в лузу падает немыслимый шар, а свой, на миг остановившись, отходит назад, молодой студентик в кружке зрителей возбужденно замечает:

— Это чорт знает что! Он от борта через весь биллиард играл его с выходом!

— Мой дорогой молодой коллега, — отвечает ему снисходительно пан Рыбацкий. — Диме сам Левушка дает два очка, а если даст три, то Левушка про-

пал; пропал, говорю я вам, и уж были примеры. Это нужно понимать...

Все это дает повод Поливанову придраться к случаю.

— Поистине, — ораторствует он, — здесь, а не в механических лабораториях видите вы храм движения в чистом его виде, где Димочка — жрец и вместе пифия, являющая нам откровения в несравненном своем искусстве. Вы видите: шаров нет. Он ищет глазами и будет играть, очевидно, девяточку, имевшую неосторожность чуть откатиться от борта. Уверен ли он, что положит? Уверена ли пифия в том, что говорит?.. Но — внимание!.. Правильно, чудесно, шар вошел, что и требовалось доказать.

Легкие аплодисменты приветствуют Димочкин удар.

— Что произошло? Каждый из вас, дорогие коллеги, мог бы с точностью формулировать явление. Частный случай молекулярной бомбардировки. Данные: массы шаров, скорость битка, направление движения и коэффициент трения. Димочка, вы, вероятно, понятия об этом не имеете?.. Но попробуйте, о юноши, о мужи, повторить вычисленный Димочкин удар, — какой позор ожидает вас, какой стыд...

— Пятерку в угол, — заказывает Дима. — Удар посвящается вам, Кронид Семенович.

Поливанов слегка раскланивается и продолжает:

— Жизнь — это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль его об ударе, звон влетевшего в лузу шара — все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облекайте его в формулу — формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку... Верно я говорю, Федор?

— Совершенно справедливо, — отвечает маркер, устанавливая новую пирамидку.

С Димой играли многие без надежды на выигрыш, с уверенностью в проигрыше, из-за одной лишь чести сыграть с ним и проверить свои силы. Так в стены по существу демократической биллиардной на Забалканском залетали чужие птицы: гвардейцы, одетые в штатское, помещики, у себя в имении включившие в ежедневный режим пирамидку на собственном биллиарде, московские заезжие купцы.

Встретившись, впрочем, со своими партнерами на стороне, в театре, на улице или в магазине, не мог часто Дима уловить узнающего взгляда; головы, если не отворачивались, то слегка приподымались, как бы завидев что-то достойное внимания вдали. Но здесь, войдя в биллиардную, снявши кители, сюртуки, смокинги, все сливались с общей массой игроков, подчиняясь общим законам. Все сходились в одном: уступая, быть может, знаменитому московскому Левушке в выдержке и отыгрыше, Дима, несомненно, превосходил в красоте удара, смелости игры и артистичности его.

Расходились поздно. Часто, увлеченные затянувшейся борьбой, игроки не хотели расстаться с зеленым полем. Тогда завешивались плотно окна биллиардной, запирались двери, а в подъезде гасили огни и играли с риском штрафа до утра. Под утро говаривал присяжный болтун и полуночник Поливанов:

— Вот шары остановились в доигранной партии. Момент статический. Покой, скажете вы? О мужи, покоя нет, покой — это условность, он познается, как и все, из движения... Что такое ритм? Это сходство повторных движений. Что такое статика? Это ритм, заключенный в бесконечную форму... Федор, голубчик, дай пальто!

И все расходились через черный ход. Там ждали извозчики; Поливанов, застегивая потертый бобровый

воротник, одолжал у Димы полтинник и трясся на Фонтанку. Дима же — на Лиговку, задумчиво рассматривая бесконечный ряд ненужных на рассвете фонарей.

Он жил в большом коричневом доме с черными гербами и орнаментами из знамен, палашей и секир, сплетенных в спокойный и сумрачный знак. Там, в третьем этаже, в небольшой, тесно обставленной квартире нес он свою вторую маленькую жизнь, никем не наблюдаемую, а потому полную противоречивых потешных вкусов и слабостей.

Все дело в том, что затянулась молодость, быть может, даже детство. Диме было под тридцать, но выглядел он мальчиком. Будь он чиновником или приказчиком, над буднями его тяготела бы служба, но он был независим даже от круга знакомых, которых в личной, домашней жизни не мог найти. Так, не имея нужды в том, чтобы о нем кто-то думал хорошо, не угнетаемый своей двусмысленной профессией, он делал то, что ему нравится, заботясь болезненно лишь об одном: уйти от всяких советов, всяких вмешательств и посягательств на свою личную жизнь.

Предлогов же к этому было множество. В нем была жилка коллекционера, он тратил большие деньги на покупку какой-нибудь редчайшей марки давно исчезнувшего государства. Прекрасные пальцы его искали пути не только к зримым движениям, но и к радости звука — он занялся музыкой, остановившись на странном инструменте — балалайке. Впрочем, возвысившись над дилетантскими ступенями, владел он им прекрасно. В чтении резче всего проявился его вкус: он до сих пор читал Жюль Верна, Густава Эмара; любимейшей книгой его был Конан-Дойль, попутно, впрочем, история войн. Дима никогда ничего не писал, не имея нужды в этом, но он любил, чтобы у него на письменном столе было все, что нужно и что

совершенно не нужно. Письменный прибор его состоял из множества различных предметов: чернильницы с тремя сортами чернил, звонком для несуществующего лакея или небывалых заседаний, спичечницы, подсвечников, пресса, пепельницы, стакана для перьев, флакона с клеем, перочистки и еще каких-то совершенно неупотребляемых вещиц. В стакане был большой выбор ручек и карандашей всех цветов. В бюваре — запас почтовой бумаги и конвертов. Настольный календарь, настольные часы, барометр, термометр — все это настолько загружало стол, что пользоваться им для работы было бы невозможно. Все это, впрочем, ревниво поддерживалось в постоянном порядке.

Остальное убранство комнаты соответствовало столу. На полу лежали коврики, — отдельно перед диваном с тумбочкой, где были туфли, и перед туалетным столиком. Деловитейший шведский шкаф с книгами, круглый полированный стол с альбомами марок стояли у одной стены. Напротив стену занимала карта всех частей света в виде полушарий и карта звездного неба — для чтения Фламмариона. За ширмой над кроватью висели два скрещенных, как шашки, отделанных золотом и слоновой костью биллиардных кия. Под ними монтекристо, из которого стрелял Дима по утрам в мишени в дальнем углу комнаты. В шкафу хранился бинокль, микроскоп и кинематографический аппарат, развлекавший Диму в иные вечера.

Все это вызывало постоянное насмешливое осуждение со стороны матери, бодрой старушки, курившей по ночам за пасьянсами, вспоминавшей свое прошлое мелкой опереточной актрисы и увлекавшейся Ибаньесом Бласко. Саркастическим взглядом осматривала она слишком солидные костюмы Димы, его трости — был целый набор тростей, — и выразительно молчала. С тех пор, как существование зиждилось на его выигрышах, она перестала преследовать Диму

вечными замечаниями, но в душе, жалея, не считала его ни мужчиной, ни положительным человеком.

Дима и сам часто глухо чувствовал, что зрелость запоздала. Он следил за собой, стараясь прививать себе привычки, присущие уравновешенным зрелым людям. Его восхищало самоуверенное спокойствие тех, кто умел так веско, императивно, как сказал бы Поливанов, изложить свое мнение, кто умел с такой подавляющей естественностью играть заметную и пустую роль в жизни, как будто лучше ничего и придумать нельзя. Помимо того, что было наглухо закрыто от Димы китайской стеной общественных условий, мог бы он принять участие в той жизни, где доступ открывался рублем. Но, глядя на этих мужчин, с небрежной внимательностью провожавших своих содержанок под арками ресторанов, на спортсменов, открывших в спорте филиал порядочной жизни, на раздушенные благотворительные базары и даже демократическую толпу в воскресном Павловске, чувствовал Дима, что овладеть этим искусством, этой верой в естественное значение всего, что они делают, он был бы не в силах. С женщиной он не знал о чем говорить; стеклянным в своей наглости официантам не умел без робости дать на чай, шоферу бросить лениво и бархатно: — К Палкину! Насколько там, среди щелканья слоновой кости, в биллиардной был Дима прост и находчив, настолько же здесь натянут и скован. Ему приходилось думать и мучительно решаться на каждое незначительное слово или жест.

Однако, чувствуя себя часто пустым местом в кругу собеседников, лишним спутником в случайной компании, он хотел найти хоть ограниченный круг жизни, где был бы он спасен от необходимости придумывать выход из чувства неловкости перед неожиданными искусами. С этой целью он усваивал умышленно то, что казалось ему признаком самодовлеющего равновесия людей: привычку к комфорту, вообще всякие

мельчайшие привычки, упорядочивающие жизнь и дающие ей подобие самостоятельности. Он требовал, чтобы у него был собственный столовый прибор, стакан, ложечка, старался о том, чтобы его завтраки не совпадали с завтраками матери, отстаивая и в этом свою независимость.

Вставши часа в два, надевши серую пижаму, выпивши утренний кофе, садился Дима перед трельяжем и, разложив сложный несессер, брился внимательно, оглядывая себя печальным и ласковым взглядом. Лицо было желтое ровного цвета: ночная жизнь не приносила румянца, но, будучи привычной, не давала и болезненной бледности. Каштановые волосы расчесаны в пробор, голубые глаза под тонким желтым веком, казалось, видели и сквозь веко.

Побрившись, он разбирал почту. Он получал все центральные газеты, читая лишь дневник происшествий в «Русском слове», да фельетоны Дорошевича, остальное же тщательно подбирал в комплекты. Затем брался за балалайку. Играя с увлечением, он аранжировал знакомые мотивы, а там, где память изменяла, попросту фантазировал, будучи незнаком с нотами. Среди игры он старался уловить, к чему его тянет и, найдя, осознав свои желания, откладывал балалайку, чтобы перейти к занятиям, вытекавшим из его прямых склонностей: возился над устройством игрушки по рецептам «хитрой механики» или исследовал механизм музыкального ящика.

Часов в пять просыпалась мать. Превративши ночь в день, а день в ночь, она не знала солнечного света, проводя все вечера в чтении и воспоминаниях, ближайшим слушателем которых во время завтрака ее был Дима. Он выслушивал ее, поглядывая на часы, уходил завтракать в свою комнату и там читал или перечитывал, как всегда медленно, какой-нибудь из очередных романов Буссенара. Прочитанное принимал он горячо, оставаясь под впечатлением его весь день, чтению же

отдавал не больше часа, а затем, сменив пижаму на пиджак, уходил из дома.

По стрелам улиц, по сырым торцам, под рваными облаками ехал Дима, учась дышать среди каменноугольных запахов столицы, в Гостиный Двор. Резко звенели трамваи, у Русско-Азиатского банка стояли глыбы автомобилей, памятники по-разному горячили холодных своих коней, и Екатерина улыбалась улыбкой самовлюбленной женщины над толпою своих любовников. А на углах гранитные городовые правили чинным уличным движением.

Купивши в магазинах, как всегда, что нужно и что не нужно, торопился Дима уйти и, отправив с рассыльным покупки домой, шел обедать, как правило, в «Квисисану». Здесь встречал его неизменный сосед, отставной земский начальник, балагур и враль Дом-Домацкий, уже хмельной привычным ресторанным хмелем.

Дима кончал обед, благодушно выслушивая анекдоты в духе кокоток ушедшего поколения, и пил с текущего счета своего в «Квисисане» Сен-Рафаэль. Затем, согласившись с Дом-Домацким, что смерти своей он дождется нигде как в Санкт-Петербурге, Дима расплачивался, застегивал глухой свой пиджак и отправлялся на Забалканский.

Было не мало в столице перворазрядных биллиардных, где мог бы Дима найти партнеров и оценку высокому своему дару. Но он был верен привычке. Поливанов же, ревнуя, говорил:

— Не место красит человека, а человек место. Вы не измените нам, о Дмитрий Алексеевич, это было бы цинично.

Впрочем, иногда, соскучившись, отправлялся Дима с Поливановым наугад в Гаваны или на Петербургскую сторону и забирался куда-нибудь в третьеразрядную пивную. Там, в задней комнате, загаженной с лета мухами, на просаленных, залитых керосином биллиар-

дах, кривыми расщепленными киями играли извозчики и городская шпана.

Бросив общий вызов: — Любому двадцать очков вперед! — Дима ставил крупный куш, и в случае проигрыша удваивал его. В этой игре выручала Диму смелость, а больше то, что он не знал цены рублю не только благодаря крупным выигрышам.

Под конец иному зарвавшемуся, понадеявшемуся на свои силы маркеру прощал Дима великодушно весь проигрыш. Но был безжалостен к жукам. Эту породу биллиардных игроков, видящих в игре не призвание, но профессию, и лучше всего изучивших ее коммерческую сторону, знал Дима хорошо и ненавидел ненавистью художника к невежде.

Жукам говаривал Поливанов в назидание:

— Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни, — грех насилия над свободным своим движением. Procul este, profani!

На что получал зловещий по вложенному пожеланию ответ.

После таких вечеров Дима всегда тосковал, словно жизнь его вдруг представала наблюдению другим своим краем.

— А знаете, — доверчиво замечал он, — как всё в общем паршиво. Я чувствую себя, как в карцере, как будто меня не пускают жить и держат у какого-то бессмысленного порога, заставляют все время сдавать какой-то ненужный экзамен. Подумайте, ведь это самое большее, что доступно мне, — придти и обыграть несчастного маркера, а у него полдюжины ребят.

Но Поливанов утешал:

— Полно, Димочка, спросите себя, — кто еще здесь, в столице, живет такой нужной и совершенной жизнью, как вы? Все роются, как кроты, кто высиживает геморрой, кто бессмысленно вертится вместе с колесом какой-нибудь машины, кто, осатанелый, следит за поплавком своего рубля, и лишь вы один в этом

гнусном городе живете праведно в законах движения, вы — тот праведный Лот, из-за которого пощажено это скопище потерявших корни людей. Полноте...

Это было в городе Петрограде.

Свергнув вниз бронзовых воинов с германского посольства и утопив их в Мойке, столица зашумела «Асторией». В витрине фотографий на углу Большой Морской были выставлены новые портреты царской семьи.

Люди обрастали защитным и черной кожей. Появились земгусары.

В биллиардную на Забалканском приходили теперь завсегдатаи ее, внезапно покрупнев и покруглев бритым лицом, уже сменив студенческую тужурку на военный китель, и Казимир Казимирович неизменно встречал их фразой:

— О, и вас уже забрали! Боже ж мой, что это делается... Но, желаю вам быть пулковником. И прошу взять до внимания, что для господ офицеров у меня особая скидка.

С фронта приезжали созревшие в страданьи люди, оттуда легла красная тень. Героем дня стал раненый офицер. На лица пал отпечаток неугасимой жадности к жизни, как будто злоба войны заставляла больше ценить и больше любить курчавые дни ее.

Женщины стали доступнее и в жизни заметней.

Ставки крупней, игра азартней. Дима за полгода выиграл целое состояние.

При виде военных с их мужеством, подчеркнутым осанкой, формой и налетом грубой прямолинейности, Дима испытывал живой рост зависти и всегдашней отчужденной печали: жизнь, покрепчав, проходила мимо. Каждый раз Дима вспоминал болезненную улыбку, с которой показал свое хилое тело врачам у воинского

начальника, и это презрительное безмолвие, с которым его забраковали.

Поливанов же, укрывшись в санитарную форму, рассуждал:

— Конечно, война — изумительный пример движения, сведенного к единству. Но, увы, оно вычислено и взвешено на бирже в долларах и фунтах стерлингов. Желал бы я видеть, с каким кляпф-штосом влетит чей-то шар в угол, когда эти массы людей, вызванных к движению, поймут, что стоит лишь изменить направление и все полетит к чорту... Вы простите, поручик, это лишь частная беседа под сводами храма движения. В моих статьях я не имею возможности касаться этого.

Но поручик прощал. Поручик, одевши погоны, сам переставал чувствовать себя человеком и жадно хватался за все, что, казалось, возвращало его в привычное это звание.

Казимир Казимирович говорил:

— Бисмарк — это же голова! Вильгельм — это же д'ябэл! Один начал, другой кончил. У нас, знаете (голос понижался до шопота), в верхах не все благополучно: все фоны да бароны...

Казимир Казимирович верхним чутьем угадывал настроение своих клиентов.

В биллиардной все чаще вспыхивали политические споры. Однажды дело кончилось арестом, и лишь много времени спустя стали возвращаться участники его, уже с фронтов, уже полукалеками...

Только гвардейцы вносили с собою иной дух, иные речи.

Но Дима играл со всеми равно, не делая выбора. Однажды он с удовольствием обыгрывал целую ночь подпольщика, волей судеб отсиживавшегося в биллиардной, льстя ему, хваля отвратительный его удар. В другой раз хохотал над пьяной компанией из двух гвардейцев и юнкера Николаевского училища, вломившихся в биллиардную.

Гвардейцы, с трудом держась на ногах, упорно проигрывали смеющемуся Диме в бутефон; юнкер, оглушенный вином, сначала дремал на стуле, а после, шлепнувшись на пол, раскинув руки и ноги, захрапел густым, тембристым басом...

Безуспешные свои попытки привести его в чувство закончил маркер Федор следующей фразой:

— Они в роде как дохлый шар, который висит над лузой — как его ни ткни, он сам падает.

Дни проходили все более ускоренным бегом. В столице меньше продуктов, больше калек, очереди за хлебом, вереницы раненых.

Подошло время «глупости или измены», распутинского кукиша, полиция обучалась стрельбе из пулеметов, «ком войны катился, явно уже управляемый лишь собственной своей тяжестью».

Дима стал больше гулять. Ему доставляло удовольствие чувствовать под ногами погрязневшие теперь соты торцов. Столичная улица, посеревшая и опустившаяся, таила в себе что-то необыкновенное, как будто сбрасывая с себя довольство и порядок, вынашивала она небывалые вещи, наполняясь предчувствиями и ожиданиями бунтарского материнства.

В студеный мглистый день увидел однажды Дима, проходя по Измайловскому проспекту, солдат, занятых рассыпным строем. Они лежали на животах, щелкая затворами винтовок, в сапогах с недомерками-голенищами, в молескиновых шинелях летнего образца, в суконных защитных варежках. Один из них, улучив минуту, когда отошел офицер, закутанный в бекешу, отороченную серым каракулем, снял варежку, и синей, сочащейся кровью рукой вытер кровь с лица. Офицер, впрочем, тут же вернулся и влепил ему еще два пинка бурковым сапогом. Дима, хрустнув пальцами в карманах ильковой шубы, подошел к хвосту первой попавшейся очереди к какому-то магазину и, по временам взглядывая на продолжавшееся учение, продви-

гался медленно вперед. Попав, наконец, в магазин, он понял, что очередь — за сахаром и купил себе положенные три фунта. Что делать с этой покупкой, он не знал.

С тех пор любопытнейшими глазами смотрел Дима на все, что творилось вокруг: на парады гвардейских и матросских частей, на посольские автомобили, на кучеров собственных выездов, носивших на кушаках над толстыми своими задами обращенные к седоку часы. С изумлением наблюдал он теперь женщин. К ним всегда относился Дима очень издалека и очень ласково, как к детям, которых любят, но не умеют к ним подойти. За ласковостью его скрывалась пугливая робость, выливавшаяся в наружное отчуждение, удалявшее, вычеркивавшее из его жизни тех женщин, к которым мог бы он испытывать не одно лишь равнодушие. Теперь вдруг почувствовал он огромный интерес и уважение к ним, раскрашенным, крикливым и шумным.

В кафе Андреева на Невском однажды задумался Дима о той сцене взятия крепости Гермозильо тремя храбрецами, которую не дочитал он, прервавши чтение на самом интересном месте. Предприятие это безумно, но крепость будет взята, это Дима знал и переживал теперь предчувствие замечательного подвига, которому он будет трепетнейшим свидетелем. Роман Эмара лежал у него в кармане. Задумавшись, рассматривал он припудренную, взбитую, как сливки, толпу, оставив нетронутой лежавшую на столе сдачу. Через плечо его протянулась ручка, затянутая в дешевенькую лайку, и, проворно скомкав хрусткую трехрублевку, исчезла.

Оглянувшись, вспомнил Дима, что в крикливом этом и злобном месте нетронутая сдача считалась условным авансом; увидел девушку с чуть нежно и порочно измятым полным лицом под завитыми русыми воло-

сами и, потеряв нить своих мыслей, улыбнулся растерянно.

Девушка, порывшись в сумке, вытащила пудреницу и, обмахнувши пуховкой лицо, рассматривая себя в зеркальце, сказала:

— Я вчера осталась без кавалера и задолжала вон тому идолу, — кивнула в сторону официанта. — Можно сесть за ваш столик?

Кафе жужжало, горело электричество, несмотря на то, что был еще день. Кафе, спрятанное в длинных зеркальных подвалах, хотело жить только ночной жизнью.

Дима спросил пирожных, кофе и с удовольствием смотрел, как девушка с толком, со знанием дела выбирала миндальные и кремовые, хрустя свежими ровными зубами. Откинувшись затем, стала болтать о том, как кутила она на прошлой неделе с морским летчиком, о том, что с фронта мужчины приезжают, как бешеные, и что лучше всех все же кавалеристы. Закончила:

— Ну, что же, поедем ко мне?

Дима болезненно подумал, как рядом с нею, стройной и мягкой в осеннем пальто, резко выделится его горб, сразу сжался и покачал головой. Она внимательно посмотрела на него и спросила:

— Не нужно, — может быть, после?

Порывшись в сумке, она вынула карточку и дала Диме. На ней стояло: «Наташа Оглоблина» и адрес — где-то на Охтенской стороне. Дима спрятал карточку в карман, но этот жест ему сказал, что прячет он вместе с карточкой еще полгода или год, и, внезапно побледнев, он решил ехать тут же. И когда он расплатился, а она поняла, что он согласен, то улыбнулась очень просто и счастливо.

Эту улыбку наблюдал Дима всю дорогу, пока они ездили за коньяком, пока лихач мчал их на Охту.

Комната ее была невелика: половину занимала огромная кровать, покрытая алым атласным одеялом, на-

против стоял небольшой ковровый диван с парой таких же кресел и овальным столом. Сбоку — зеркальный шкаф.

— Это все мое, — сказала Наташа с легкой гордостью, — кроме шкафа, — шкаф хозяйки. Я уже год как ушла из дома.

Дима понял, что дом не был родительским.

Радиаторы излучали темное тепло. Пока Дима раскупоривал бутылки, Наташа обернула лампочку, спускавшуюся с потолка, красной кисеей и заколола булавками плотные занавесы на окне.

Когда она села, Дима уловил ее взгляд, быстро оглянувший его горбатую спину и отвернувшийся, остановившийся на его прекрасных печальных глазах. Тут она улыбнулась снова своей нежной, порочной и простой улыбкой, а Дима с этой минуты почувствовал себя необыкновенно легко и уютно, сразу поверив, что она умеет простить все тягостное и ничего не хочет, кроме того, что есть.

Наташа, одним укусом закусив полъяблока, села к нему на колени и прижала его лицо к своей пахнущей пудрой через тонкое полушелковое платье груди. Но, заметив, что его детски мягкие руки, обнимая ее, спокойны, а он сдержан, не стала навязчивой и ушла снова на диван.

Здесь она, занявшись собою, стала пить, опять с толком, с видимым знанием вин и алкоголическим смакованием. Опускала в коньяк очищенные ломтики груши и маленьким языком и губами обсасывала их раньше, чем проглотить. Мало-помалу пьянея и раздеваясь медленными, величественными движениями, откинулась на спинку и из полной рюмки, ежась и щекотливо смеясь от холода, полила свой голый живот коньяком, — коньяк сбежал тонкими струйками вниз к ногам.

Дима пил мало, курил голландские слабые, пряные папиросы, голова его слегка кружилась от запаха разлитого спирта, он смотрел на Наташу и слушал ее

несвязную болтовню, ее подчас грубые воспоминания. Он решил, что вот об этих женщинах с любопытством и подавленной завистью думают другие недаром, — среди скандалов и насилия испытала не раз Наташа то, о чем лишь мечтают другие: звериную страсть, усложненные пороки, жуть и аромат преступления.

Наташа, побледнев от вина, что стало заметно даже при розовом свете, теперь уже совсем нагая, качаясь, разгуливала по комнате, вертясь перед зеркальным шкафом, касаясь грубоватым своим телом холодного зеркала и вздрагивая.

— Теперь, когда у меня своя квартира, я не люблю скандальных гостей, — говорила она, — я люблю таких, как ты, а если хочешь кутить, — едем в дом... Ты не скучаешь, миленький?

— Нет, — отвечал Дима, выжимая в рюмку лимон.

Вдруг Наташа, подойдя к столу, налила полный стакан коньяка и, залпом выпив, сказавши — На! — бросилась в кресло. Здесь она быстро сдала. Побледневшее ее лицо стало тоньше и потеряло бесстыдство, крашеные губы разрезали его тонкой счастливой чертой, а полузакрытые глаза, казалось, не смотрели, а слушали о каких-то невероятных желаниях.

Дима заботливо помог ей перейти на постель и, уклонившись от ее рук, оставил ее там в раскинутой позе, покрытую легкой испариной и уже совсем обессиленную. Сам же вернулся в кресло и, вытянув ноги, вынул из кармана и развернул роман Эмара на недочитанном месте.

Развязка близилась. Освободитель Соноры граф де Прэбуа Крансе, заключенный в цитадели, ожидал своего последнего часа. Меж тем, выручая, Валентин Гиллуа с Анджелой и другом своим Курумиллой отважно подготовляли побег... Сразу захваченный повествованием, Дима, волнуясь, вчитывался в строки. Несправедливость судьбы к великодушным заговорщикам так сильно угнетала его, что он готов был бросить

книгу, не дочитав. Но в нем жила еще надежда на удачу, хоть в то же время Дима знал, что Сонора не стала свободной. И когда граф де Прэбуа Крансе мужественно встретил смерть, — Дима больше не мог: он захлопнул книгу и застыл в глубоком переживании сочувствия и невыразимой печали. Личность Крансе всплывала перед ним во всем своем недоказанном, но таком вероятном величии. Любовь донны Анджелы, преданные друзья, измена гасиендеро, предатель испанец, крушение...

Дима вздохнул. Дымка вымысла и фантазии колыхалась вокруг него, заслоняя окружающее. В этом привычном мире мысли его были невесомы. Легко думалось обо всем. Было несомненно, что есть в жизни герои, что ими движут благородные и великодушные цели. И Дима переставал ощущать себя неодолевшим четырех классов гимназии горбатым недорослем, отверженным завсегдатаем биллиардной, а становился незаписанным участником всех этих прекрасных походов в диких девственных странах, сообщником тайных их планов, судией жестокости, преступления и насилия...

Наташа шевельнулась, и Дима растерянно оглянулся. Все та же счастливая улыбка блуждала на ее лице. Это разрезало сразу его мысли, и они, как побеги, привитые к иному стволу, налились земными крепкими соками. В ее улыбке было такое веяние жизни и простоты, в Диминой душе столько мечтательного доверия к ней, что все это казалось вне действительности, каким-то краем присутствовал образ донны Анджелы, ушли вся робость и отчужденность бесследно. Когда же она протянула руку, незнакомая сила подхватила Диму. Покачнувшись, он встал, пошел к ней и прожил с ней безвыходно два дня, причем Наташа, просыпаясь, пила и целовалась с отражением своим в зеркале, а он курил и перечитывал начало и середину романа.

Третье утро пришло резко, как барабанный бой.

В квартире кругом шумели и хлопали дверьми. Наташа, похмельная и растрепанная, едва одетая, где-то в коридоре громко тараторила с хозяйкой. Дима думал, что нужно, наконец, домой, представлял себе ироническую улыбку матери и чувствовал, что стал теперь иначе ценить и жизнь, и себя, и военную злобу.

Вернулась Наташа другой, — оживленной и торопливой.

— Слышал? Там на Петербургской фараонов бьют. А они с чердаков отстреливаются... — бросала она скороговоркой, холодной водой умывая свое слегка отекшее лицо и тело до пояса. — Пойдем, миленький... Ты пойдешь?..

Дима вздрогнул и быстро, как будто застеснявшись прихода нежданного гостя, обвел глазами всю беспорядочную комнату, заспанную кровать, бутылки на столе, пепельницу, полную пепла и окурков. Он мгновенно оделся и, оглянувшись еще раз, заметил на столе раскрытую книгу Эмара, захлопнул и положил на окно, с удивлением поймав себя на мысли, что он еще вернется сюда.

На улицах было все по-новому. Дали не прятались за скукой расстояния, и широкие петербургские перспективы раскрывались с непонятной откровенностью. Стал виден воздух, обострился смысл существования каждого дома, каждого камня. Дима бежал с Наташей под руку, охваченный неясным огромным ожиданием и сочувствием к тому, что смутно угадывалось в уличной тишине, разрываемой любопытными и возбужденными прокриками бегущих людей. Что-то большое и незримое металось по улицам. Дима искал в каждом встречном ответа, смотря в лицо, в глаза, и бежал все дальше...

Вот по торцам загремела влекомая, как добыча, железная вывеска полицейского участка. Туда, откуда,

подшвыривая ногами, бесцельно влекли ее, бросился Дима...

Перед домом стояла небольшая толпа. Окна участка были разбиты. Вороха бумаг и растрепанных дел летели из окон второго этажа. И в первый раз увидел Дима алый флаг, не колеблемый в руках нестройной толпы, но твердо, неподвижно укрепленный на камне хмурого здания.

Только через неделю попал Дима опять в биллиардную. Его встретили, как воскресшего. Дима, отдохнув от кия, играл вдохновенно и пылко, развернув весь блеск и совершенство своего удара.

Поливанов после двух сухих кричал петушком:

— Нет, вы подумайте: он был полубогом, а вернулся богом. Почему вы играете триплет, когда у вас на ударе прямой?

Но Димочкин триплет ложился на сукно безупречно, как упавший чертеж.

— Вы помните, конечно, о юноши, — потирал Поливанов свою плешь, — как рады были математики, что пчелы в постройке своих сотов приблизились к математическому решению этого вопроса с точностью в углах до двух минут градуса. И как пришлось затем Реомюру и Кенигу убедиться, что поправку в две минуты следует вносить не пчелам в постройку сотов, но математикам в логарифмические таблицы. Не рискнет ли кто-нибудь научить Димочку, как сыграть заказанный им круазе в угол? Желающих нет?.. Ну-с, тогда вернемся к текущему политическому моменту, сиречь, к вопросу о падении самодержавия. Ваше слово, товарищ маркер!

— Да что ж... Они в роде, как дохлый шар, который висит над лузой. Как ни пхни его — сам падает.

У Федора, как и у большинства присутствовавших, был приколот к борту пиджака красный бант.

Публика шумела, повторяли слухи о новых политических событиях и рассказы о пережитом в разных частях города. Дима слушал, играя, и ему хотелось быть всюду. Теперь по утрам бегал он с молчаливой жадностью, прислушиваясь к разговорам солдатских групп, ходил по залам Таврического дворца то с Поливановым, то под руку с Наташей. В разговорах он не участвовал, но слушал с удовольствием. Только раз, когда разнесся слух о разгроме университета, обмолвился:

— Это хорошо.

На что Поливанов ответил:

— Ого! Вы становитесь сознательнее.

Дима ласково улыбнулся, не возражая.

Бродя по улицам, слушая споры митинговых ораторов и комментарии Поливанова, доказывавшего, что речи — это пустое дело, что важнее всего теперь молчаливая работа, Дима чувствовал, что заведен в тупик. Ему и самому казалось часто, что чтó-то подкатывает под ноги, какая-то волна разливается повсюду, но митинги все стоят уже по пояс в воде с неподвижной тупостью и все хотят выдержать неодолимый, но ясный напор.

А жадные серые волны шли с фронта и, встречаясь с заводскими, всплескивали вверх, выбрасывая на трибуны и балконы людей с нелепыми выкриками, с нелепыми глазами.

Дима всё реже бывал в биллиардной. Он бродил то у особняка Кшесинской, то у дома герцога Лейхтенбергского, бродил без мыслей в голове, наслаждаясь видом высокого зеленоватого весеннего неба, отблесками закатов на зданиях дворцов, ночными кострами на улицах, грузовиками, мчавшимися под стальным ежом ощетиненных штыков, и этой особенной широтой петроградских перспектив. Улицы гремели эхом многотысячных толп; Нева из-под мостов плавила свои вскипающие воды навстречу Кронштадту...

Порою Дима переставал понимать, как это случилось, как могла строгая и размеренная жизнь так невероятно раскачаться. В нем еще жило чувство, что в жизни нет и не может быть ничего сверхъестественного, а если и появится что-то чудесное, то стоит вспомнить, что спишь, как сейчас же приходит пробуждение, и вместе с ним постылая скука, единственно достоверная в жизни. И Дима не знал, нужно ли протирать неверящие глаза, или поверить однажды накрепко и зажить так, как если бы сталось, что мир навсегда околдован сном, полным кривой новизны.

Всё же в шумящих толпах Дима чувствовал себя одиноким. Порой он ловил себя на том, что, встретив распевающую на ходу толпу, отороченную каймой приплясывающих и весело орущих ребят, начинал и он подтанцовывать, и, лишь заметив это и вспомнив, как всегда в смущении, о своем горбе, спохватывался Дима и, отравленный, отходил. Легче бывало ему с Наташей. Она, азартная и прямая, всегда с жаром отстаивала тот или иной список, всякий день, впрочем, меняя свои симпатии. Над ней посмеивались окружающие, посмеивался ласково и Дима, но она не теряла задора. А однажды сказала по поводу встретившейся демонстрации:

— Ты знаешь стишки Пуришкевича:

Не видать земли ни пяди,
Всё смешалось: шпики, б....,
С красным знаменем вперед
Оголтелый прет народ.

— Тебе не неловко? — усмехнулся Дима.

— Ничуть! Я — жрица свободной любви... Это о вас, о мужчинах... Все вы сволочи!..

И, вырвавши руку, Наташа, разгневанная, подбежала к остановившемуся грузовику, вскочила в раскачивающуюся груду солдат и уехала с ними. С этого дня не видел ее Дима две недели, тосковал. Наташа с кем-

то крутила, а вернувшись, наконец, домой, встретила Диму как ни в чем не бывало, с той снисходительностью, с которой всегда к нему относилась. Но Дима что-то понял и в ближайший же день привез ей столового белья и чайный сервиз. Этим ссора была исчерпана. Дима каждый вечер теперь пил чай у Наташи, а она затеяла принимать всех своих подруг, хозяйничая не без умения, не допуская, чтобы пили лишнее, и сторонясь мужчин.

По утрам попрежнему гуляли. Но, наконец, это Диме наскучило, — к тому же Наташа сорвалась и впала в запой, — Дима опять зачастил в биллиардную.

Там, между тем, еще раз изменился состав игроков. Казимир Казимирович, идя навстречу возросшему спросу, расширил помещение, добавил еще два биллиарда, и теперь сюда стекалась странная публика. Какой-то армянин с адъютантскими аксельбантами, бессмысленно и крупно играл, избегая сталкиваться с Димой, ему всегда сопутствовал старик, называвший себя отцом, — Дима, впрочем, был уверен, что родство их ограничивалось братским дележом выигрыша, не столько биллиардного, сколько карточного, за железкой, в номере гостиницы, среди партнеров, вербуемых в биллиардной. Вербовать было легко: в столицу хлынула толпа помещиков, отставных крупных чиновников и прочей шушеры, не привыкшей, чтоб деньги, хотя и последние, залеживались долго в карманах. Их жажду проигрыша обслуживал адъютант с папашей и два-три жучка помельче.

Зайдя однажды, скользя рассеянным взглядом по незнакомым лицам, Дима вдруг увидел кудрявого богатыря в расстегнутой синего сукна легкой поддевке, двигавшегося навстречу с протянутыми руками.

— Ага, вот и ты, а мне говорили, что ты сгинул, говорили, что ты комиссаром стал... Сыгранем, что ли?

И Грохотов здоровался долго своей твердой рукой подрядчика, нажившегося на военных поставках.

Курчавый черными с проседью кудрями, загорелый нестоличным загаром, хранил он в лице что-то быстрое, цыганское, и теперь, отвернувшись, смотрел на столы с подавленной энергией.

— Ну, товарищи, ну, сукины дети, что понаделали, — шептал он, как будто в забытьи, как будто отвечая Диме на какой-то его вопрос. Кий выбрал быстро, одним взглядом оценив прямизну его, а подбросив и поймав, — вес; натирал мелом, ломая, разбрызгивая по полу осколки, и было ясно, что хоть обижен Грохотов смертельно, но имел силы уйти в себя и теперь грозит оттуда, из глубины души, расправиться, когда придет время, по-свойски и подзажать в свой волосатый кулак казнокрада всё, что можно будет и что нельзя. Резким взмахом замахнулся он, но ударил осторожно и мягко, слегка лишь разбив пирамидку.

— Играй, Дима, игрушку, бей меня, плута, проиграл я тебе петёньку!

Дима начал нехотя. Его беспокоило что-то; казалось, что беспокоил старик, игравший за соседним биллиардом, жилистый и медлительный, почти после каждого удара отходивший в угол прокашляться и плюнуть. С глухим раздражением смотрел Дима, как он целился долго, мешая пройти — биллиарды стояли теперь тесновато, — брезгливо рассматривал нечистую одежду старика и желтые тупые ногти его.

Грохотов играл с прибаутками, но прижимисто. Дима, скучая отыгрывался и стал больше следить за соседним столом, чем за своим.

На небритом лице старика неподвижно стояли глаза, мертвые для всего, кроме расчета; тихими накатами, бессильными, но методичными, обыгрывал он своего молчаливого партнера. Скоро заметил Дима, что не он один заинтересовался стариком: сидя в углу на диванчике, с него не спускал глаз коренастый, лет тридцати пяти блондин в кожаной, с огромным красным бантом, куртке.

«Должно быть, держит мазу, — подумал Дима. — Но за кого?».

Старик тщательно целился, чтобы положить в среднюю.

— Не влез!.. Подставил я тебе!.. — горестно воскликнул здесь Грохотов. — Ну, товарищи, ну, паршивцы-сопляки...

Но Дима вдруг увидел, что сидевший на диванчике блондин встал и, крадучись, подходит сзади к старику. Дима не успел подумать, что это значит, как все объяснилось: блондин, изогнувшись, наотмашь ударил старика в ухо...

Старик упал на биллиард, схватившись за ухо рукой. Из-под пальцев быстро показалась кровь.

Все остановилось. Сквозь неясный ропот кто-то громко сказал:

— Вот это так ахнул!..

Потом все заговорили. Старик все еще лежал на биллиарде, блондин все еще стоял на своем месте и, покрывая шум, спросил ясным голосом:

— Ты знаешь, Сеня, за что?

— Знаю, Андрей Терентьевич, — тихо ответил старик, не меняя позы.

Тем временем все уже столпились вокруг плотным кольцом. Толстяк с глазами на выкате и красной щекой кричал:

— Ты что же думаешь, на тебя милиции нет? Думаешь — революция, так можно людей в общественном месте калечить? А еще бант нацепил, бандит зуев!..

Блондин стоял неподвижно и спокойно, но тут все заметили торчащий из-под кожаной его куртки кончик замшевого револьверного кобура. Кружок несколько раздвинулся. Блондин же презрительно сказал:

— Вы на меня не кричите, я не собака... Лучше спросите, в чем дело. Сеня, скажи им, замотал ты у меня пятьдесят целковых золотом или нет?

Старик молчал.

Что толкнуло здесь Диму — он и сам не мог понять. Хрустнув пальцами, как тогда, на Измайловском, вытащив из жилетного кармана уже очень редкие в те времена пять золотых, зажав их в кулак, одним движением прорвал он кружок. На миг остановился он перед блондином трепещущий, тщедушный в своем порыве и, сразу разжав кулак, влепил вместе с сухим ударом монеты в его щеку. Золотые рассыпались, слабо звеня... Краем глаза заметил Дима, как торопливо забегали руки блондина по карманам. Не ожидая, не раздумывая, он перехватил кий, и тяжелой, налитой свинцом рукояткой дважды ударил его по голове. Дальше уже нельзя было двигаться: навалились окружающие, кто вмешался в борьбу, кто бросился поднимать золотые, — их разделили, — блондина куда-то поволокли и уже суетился встревоженный Казимир Казимирович:

— Ради Бога, ради Бога, без скандалу, без огласки быдла какие-то...

Дима стоял дрожа, с остановившимися глазами, со взмокшим лбом...

В биллиардной шумели, оценивая случившееся, старик, обмыв ухо, пришел и с тем же мертвенным видом, так же методически продолжал обыгрывать своего партнера. Грохотов удивился:

— Вот ты какой хахарь! Ну, и Дима... Только понапрасну, — он тебя где-нибудь встретит, товарищек этот. Ты думаешь, у меня руки не чешутся? Но не время сейчас, не время, говорю, играть, дай Бог отыграться... И золотые — ты знаешь, какой курс теперь?..

Старик уже кончил партию, выиграв в последнем, и принялся за новую, а Дима все еще не мог успокоиться. Наотрез отказался он продолжать игру, и, когда расплачивался, Грохотов сказал:

— Горяч ты очень. По справедливости, ты мне не проиграл, зря отдаешь...

Тем не менее спрятал пятисотку в бумажник.

А Дима, едва сдерживаясь, накинул пальто и выбежал на улицу. Здесь только, севши в извозчичью пролетку, уткнувшись в угол, зарыдал он тихо и безутешно, как если бы, приложив руку к человеку, лишился он какой-то нужной в жизни чистоты.

С тех пор только раз поборол Дима свое родившееся отвращение к биллиарду. Это было после того, как целый день накануне он провел на улицах с Поливановым, натыкаясь всюду на разведенные мосты. Группы солдат были как-то замкнуты, недоверчивы, публика немногословна. Видно было, что никто в точности не знал, что делается, все раздражены и хранят про себя догадки и отношение к совершающемуся.

— Давайте плюнем, — сказал Поливанов. — Это не для вас и не для меня. Россия стремится неуклонно к своему Наполеону. Ну и чорт с ней, иначе вас сделают конторщиком. А наше дело, вам — играть на биллиарде, а мне — быть толкователем вашего искусства. Мы забыли об этом и лезем на улицу. Ну, вот и дождались, что улица повернула нам спину. Надо вернуться в материнское ложе искусства, воспитавшего вас. Приходите-ка завтра на Забалканский, да тряхнем стариной.

Так и случилось, что встретились они у биллиарда еще при дневном свете.

Со странным чувством взял Дима в руки кий. Тяжесть рукоятки еще живо напоминала о том употреблении, какое неожиданно получила она последний раз. За эти полтора-два месяца Дима несколько утратил технику. Правда, глаз видел очень зорко, рука сжимала кий и двигалась очень твердо, но было ощущение какой-то излишне затрачиваемой силы, несвободы, как будто приходилось бороться с чем-то вязким, выросшим за это время. Однако, былое увлечение захва-

тывало Диму. Он играл напряженно, выравнивая удар, партию за партией.

— Вот видите, — говорил Поливанов, — вам вредно забывать биллиард. Но с другой стороны полезно. Вы как-то созрели за это время. Вся моя чуткость к оттенкам вашей игры подсказывает мне, что вы оставили сегодня ваш мальчишеский задор... Не Наташа ли действует так на вас? Ваша мечтательная пылкость нынче похожа скорее на зрелое бесстрашие аргонавта... Хотите я подскажу? Играйте семерку с выходом под десятого...

И Дима, играя по назначению Поливанова с прилежностью и старанием, вдруг почувствовал желание сыграть какую-то небывалую партию.

Казимир Казимирович, войдя, сообщал всем секрет полишинеля:

— Вы знаете, к Зимнему дворцу подошли броневики... Полно переодетых немцев!..

Кий затрепетал в руках Димы, как струна. Звонко перебежало по столу упругое щелканье шаров.

— Знаете ли, Димочка, что такое причинность? — проговорил Поливанов. — Это — инерция движения. Если движение выражено прямой, математическим рядом точек... Дуплет в середину!.. рядом точек, то положение точки *б* вытекает из положения точки *а*... Может ли *б* не придти?.. Туда же тройку!.. Может, — тут Поливанов лукаво улыбнулся, — если мы помешаем. И это будет покой. Покой — отсутствие и отрицание причинности. Не правда ли?

Публика расходилась, биллиардная пустела. Казимир Казимирович ходил тревожный, предупредил:

— Я закрыл вход, кто знает, что може быть. Вы будете играть?.. Пожалуйста, пожалуйста, свои гости... Это просто мои меры, каждый должен быть на своем посту.

Игра продолжалась в пустой биллиардной.

Лишние лампы были погашены. Поливанов, до-

став из пальто бутылку водки, пил среди игры в углу, в полутьме, закусывая бутербродами, а Дима, забыв о нем, играл как будто сам с собой, удар за ударом завоевывая гибкость, подавленную было косностью, возвращая былое мастерство.

— Я вас поймал, — сказал Поливанов, ероша редкие на плешине волосы, глубокомысленно глядя на стол. — Давно вы не уделяли мне своего внимания. Конечно, что значит для вас, смелого аргонавта, старый и хилый любитель мудрости и неуловимых, текучих во времени форм движения... Скажите, Дима, как ваша матушка?

— Я схоронил ее на той неделе, — ответил Дима. Голос его взвизгнул в полутьме, и только лишь поэтому пожалев, что спросил, Поливанов наклонился над озаренным сукном, тихо отведя биток к борту.

Дима же, нагнувшись, взмахнул бровью и взглядом измерил положение шаров — точнее взгляда нет ничего в мире, — измерив, ударил с назначением:

— Восьмерку в угол.

Рванулась восьмерка молниеносно, сгорели под нею два аршина зеленого сукна, со звоном врезавшись в лузу, пропал шар и, пролетев пространства, грохоча, взорвался в Зимнем дворце.

— Стоило отыгрываться, — пробормотал Поливанов. — О, смелый аргонавт!

Теперь уже ясно почувствовал Дима, что пришел какой-то перелом: удар вернулся к нему. Дима слегка устал, но голова горела, теплые руки чувствовали малейшую неточность, он, почти не целясь, взял партию с одного кия. В окна глухо и упруго ударились пушечные выстрелы — выстрелы с «Авроры», — окна ответили тихим звоном.

Маркер Федор едва успевал ставить пирамидку. Заметив гибельное оживление, охватившее Диму, он сказал с оттенком профессионального уважения:

— Вы, Дмитрий Алексеевич, как дочь пропиваете...

В самом деле, казалось, что это последняя игра. Поливанов только удивленно покачивал головой. Дима, кончая вторую партию опять с одного кия, остановился перед прямым ударом по висевшему над лузой шару. Ему хотелось одним взмахом раздробить вдребезги кий, вогнать шар так, чтобы либо он раскололся, либо отскочила медная обшивка лузы, и тем закончить партию. Он размахнулся и ударил изо всей силы... Шар сгинул, но кий не сломался, а лишь треснул во всю длину, пробковая наклейка отскочила, и первый раз в своей жизни Дима разорвал сукно на биллиарде большим прямоугольным клоком, обнажив черный аспид доски.

Два дня Дима пробыл в состоянии тоскливого беспокойства, пугливого недоумения перед совершающимся, доходившим до него эхом перестрелок и уродливым преломлением квартирных слухов. По ночам не спалось, он гасил огонь и смотрел в окна, закутавшись в тяжелый оконный занавес. Глубокая осень стыла над черными улицами, Дима вспоминал, как шел он один за гробом матери, как с той поры не оставляет его всеобъемлющее чувство одиночества.

Наконец он не выдержал: в восемь утра уже оделся и побрел по туманной сумеречной Лиговке к Наташе. Еще горели фонари. Дома, как корабли на якорях, недвижно сырели по сторонам. Около Знаменской площади перед подъездом гостиницы стоял одинокий извозчик. Первый человек, которого увидел Дима, был Грохотов, укладывающий чемоданы в пролетку. Дима несказанно обрадовался ему:

— Куда?

— В Москву, милый, в Москву, — ответил Грохотов весело, — она им, матушка, покажет...

— Кому?

— Жидам.

Дима повел удивленно глазами.

— Ну, да. Ты не знаешь, чем кончилось? На, читай...

И Грохотов вынул торжественно из кармана листовку Временного Совета Российской республики с призывом о сплочении вокруг комитетов спасения родины и революции.

— Понял?

Дима понял и взволновался глухим томительным волнением. Сразу встала давно падавляемая мысль — что делать?

— Хочешь, едем со мной, — предложил Грохотов. — Вместе веселее.

Дима раздумывал, а он, схватив его за рукава, шептал горячим шопотом, поглядывая по сторонам:

— Правительство арестовали, блатных из тюрем повыпустили. Банки прикроют, на-днях прикроют. Все, что пóтом-кровью добыто, — народное, говорят, достояние... Ах, черти полосатые!.. Ты деньги где держал? В банке, небось? Молодо — зелено... Ну, как же, едем? А то, того гляди, поезда станут.

— Я не один, — сказал Дима нерешительно.

— Чудак, ты что же думаешь, мы навеки, что ли? Через неделю с хоругвями, с иконами, с колокольным звоном вернемся... Кто у тебя, жена?

— Допустим.

— Женщина? Так бери с собой. Чем больше — тем лучше, веселее. Ты здесь живешь недалеко?

— Она на Охте.

— Далеконько... Ну, ладно, садись, доедем...

И, зайдя ненадолго к себе, заперев квартиру, Дима уже ехал на Охту. Грохотов хозяйственно оглядывал улицы, без умолку говорил, желая казаться веселым, заразить своим весельем. Он напоминал цыгана, дирижирующего хором, с печальным видом выкри-

кивающего зажигательное: эх, ходи, молодая!... Какие-то документы из Военно-промышленного Комитета помогли им сойти за снабженцев, возвращающихся на фронт, и избежать подозрительности патрулей.

Наташу, конечно, пришлось подымать с постели. Она не удивилась.

— В Москву? Ну, что же, только ненадолго, у меня здесь мебель... Платья тоже не возьму.

Она зевнула и стала одеваться, не стесняясь присутствием Грохотова, разглядывающего ее мимоходом, но с любопытством.

Назад ехали на том же извозчике, Наташа на коленях у Грохотова. Улицы все еще были пустынны, но на Николаевском вокзале было суматошно и тесно. Крупная взятка открыла им путь на перрон. Поезда, отходившие в Москву, были переполнены. Билетов нельзя было получить, да, повидимому, огромное большинство пассажиров ехало по документам. Тут же составлялись воинские эшелоны, подавляющее количество суетившихся и оравших людей были солдаты и рабочие-красногвардейцы.

Была единственная возможность уехать — это попасть в международный вагон. Но он свирепо охранялся проводником.

Тут выручил опять Грохотов. Необыкновенная легкость, с которой он умел дать взятку, соединялась в нем с правильно взятым тоном, напористым и шутливым. Проводник уступил свое купе, и они уселись втроем в узком пространстве, стесненные обилием каких-то корзин и чемоданов.

Поезд тронулся. Грохотов, немедленно вытащив из чемодана водку, угощал проводника и Наташу. Выпил и Дима, думая все о том же: что Грохотов из кожи лезет, чтобы подогреть настроение, неуверенное и пустое внутри.

Было жарко. Наташа, захмелев, визжала; Дима, не захмелев, чувствовал головную боль; Грохотов, уста-

лый, молчал, но и сквозь молчание проглядывала в нем та же неугасимая обида, та же незаживающая надломленная энергия.

Коридор вагона был набит пассажирами. На станции не выходили, лишь из окна наблюдая мелкое оживление, тревожную деловитость, вызванную приходом поезда из забурлившей столицы.

Когда настал вечер, — зажгли свечу и стало ясно, как тесно и неудобно будет спать, Наташа стала зла, ругалась — зачем и для чего в Москву, на чорта уехали, лучше бы сидеть в Питере и не рыпаться. Грохотов затеял с ней жаркий спор, а Дима, крепясь, подумал в первый раз отчетливо: в самом деле, что делать в Москве? Но поезд несся все дальше, купе же было островком света и тепла среди пустынной жути проезжаемых зимних полей, спор укачивался мало-помалу, и Наташа, склонив голову на плечо Димы и уснув, пригвоздила его к дивану.

Ночью, разбудив всех, вошел смешанный контроль, проверявший документы и билеты.

— Кто такие? — не доверяя грохотовским удостоверениям, спрашивал в матросском бушлате увешанный гранатами минер.

Грохотов пространно объяснял, Наташа, проснувшись, зло прервала:

— Вы что ж, мужчина, не видите? Спекулянт, проститутка и биллиардный игрок... Из Питера в Москву от революции дерут... Дальше что?

Повидимому, этот ответ удовлетворил минера больше, чем грохотовская запутанная речь. Вернув документы, мельком взглянув на багаж, захлопнул он двери, и до утра их никто не тревожил.

Солнечный день глянул в окно, как будто хотел сказать: ну, милые, как живете? Под солнцем зашевелились вяло пассажиры в купе, как дождевые черви на горячем сухом песке перед тем, как попасть наживкой на рыболовный крючок. Наташа начала с пудры.

Эта будничная забота ее наложила отпечаток скуки на весь день. Только часам к пяти, подъезжая к Клину, заволновались.

— Ну вот, скоро и Белокаменная, — приговаривал Грохотов, увязывая чемоданы.

Сердце Димы дрогнуло. Там, где останавится поезд, ждет его то, что было так невозможно в Петрограде, то, что было так пропущено — осуществление каких-то надежд... Куда-то придет он и скажет: дайте мне оружие. Его ни о чем не спросят, не удивятся, дадут тяжелую и жирную от смазки винтовку, дадут тяжелый подсумок, и он, легко вздохнув, победив и забыв свою робость, сольется, наконец, с неповторяемыми днями, с массой этих людей, по-своему правящих путями жизни... Вот что делать.

Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Сдавши лишние вещи на хранение, с легким ручным багажом они вышли на темную площадь, изрезанную окопами. Грохотов только тихонько засвистал, поглядывая на красногвардейские патрули у костров.

Публика шла обходом, переулками. Подчиняясь общему молчаливому потоку, двигались и они.

— Началось и здесь, — угрюмо заметил Грохотов. — Надо на Тверскую, обязательно на Тверскую, там у меня в «Дрездене» свой человечек, от него узнаем, как и что.

На Тверскую, однако, попасть не удалось. Пришлось бесконечно колесить, натыкаясь на заставы, обходя проволоку и окопы. Наташа отказывалась идти, надо было подумать о ночлеге.

Гостиницы были переполнены. Лишь с трудом разыскали они где-то в меблированных комнатах холодный нетопленный номер. Улеглись сразу, укрывшись шубами, а когда утром проснулись, во дворе ржал пулемет...

— Ну, скорей, Дима, скорей, — торопил Грохотов, умываясь и фыркая, — время не ждет... Волка ноги кормят!

Холодная вода придала Диме свежую бодрость. Этим утром, этим днем хотелось начать твердый ряд дней. Еще вчерашний вечер покончил с остатком неуверенности, впереди было все ясно, Дима уже чувствовал себя с краю вертящейся воронки водоворота; движение, пока еще медленное, захватило его, но скоро всосет его в середину, и Дима отдавался ему с радостным чувством. Жизнь как наново пришла и была дана без всяких условий.

Уходя, Грохотов на минутку остановился в нерешительности, не оставить ли за собой номер.

— Мы не вернемся больше, — сказал Дима, сжигая за собой корабли.

Им удалось быстро выйти из района перестрелки, и они очутились в спокойных сравнительно местах Цветного бульвара.

В тени было морозно, но с крыши капало. Дима улыбался навстречу солнцу и вел Наташу под руку, нежно поддерживая, жалея, что она с ним, что вытащил ее из Петрограда в сумятице отъезда. Но она, видимо, была довольна, чувствуя себя гостьей в принаряженном под солнцем городе. Дима же твердо хотел быть хозяином.

По дороге наткнулись на сцену разоружения офицера. Он стоял, прижавшись спиной к стене, с поднятыми руками. Это было уже у Дмитровки. Впереди все громче хлопала перестрелка.

— Дальше не ходите, — пугливо, нараспев предупредила какая-то старушка, — пули летають...

Страстная, однако, была полна народу. Военных не замечалось, перестрелка звучала где-то в стороне, и публика расползалась, как тесто, вылезшее из квашни, по Тверской в сторону пустынной Скобелевской

площади, где виднелась цепочка людей возле поблескивающего на солнце орудия.

— Пойдем, может, проберемся, — сказал Грохотов, воровски оглянувшись по сторонам.

Наташа взвизгнула щекотливо и схватила его за рукав. Они стали медленно продвигаться среди толпы, становившейся все реже и реже. В конце, где открывалось свободное пространство торцов, стояло двое одетых в кожаные куртки людей, один из них громко убеждал:

— Товарищи, осадите назад. Назад!.. Говорят вам, здесь стрельба. Хотите, чтоб в вас попало? Чудно́е дело: мешаетесь зря... Ну, что смотреть? Не видели, как людей убивают?..

Но публика, успокоенная тишиной, не верила и постепенно оттесняла патруль в сторону Скобелевской площади.

Вдруг сверху грохнул выстрел. Патруль моментально исчез, и публика шарахнулась. Сбоку из переулка лопнуло еще два выстрела. Толпа с воем отхлынула к Страстной. Давя друг друга, бежали с выкаченными глазами еще за минуту до того спокойные люди.

Дима сразу потерял Наташу и Грохотова. Напрягая все мускулы тела, он остановился, прижавшись к стене углового дома. Улица быстро опустела, и он был уже на виду с двумя-тремя растерявшимися, отставшими зеваками. Со стороны Страстной застучал пулемет, она также быстро опустела, оставив лишь точки каких-то людей, западавших за тумбы и фонарные столбы. Сквозь грохот выстрелов вдоль по улице протянулось пение и свисты, как будто серпантинные ленты, свистя, разворачивались вместе с полетом пуль.

— Уходи отсюда! — крикнул, перебегая вдоль по стенке из подъезда в подъезд, какой-то солдат.

Дима ткнулся вслед за ним, но двери были уже наглухо заперты. Он остановился, переводя дух, собирая силы для того, чтобы перебежать за угол в пе-

реулок. Что важнее всего казалось Диме, — это не слышать грома выстрелов, тогда, казалось, не попадет. Он бросился, очертя голову, и невредимый проскочил в Леонтьевский переулок. Здесь, осмотревшись, прижимая руку к вздымавшейся груди, он двинулся осторожно, врастая во все углубления стен, попадавшиеся по пути.

Пройдя так три-четыре дома, остановился Дима в сравнительно глубокой впадине ворот, собираясь отсюда двинуться уже в открытую по тротуару, как вдруг переулок сразу ожил перестрелкой. Кто и откуда стрелял, Дима не мог сообразить. Он слышал выстрелы с разных сторон, звон разбитых стекол и, прижавшись в угол, не находил в себе силы высунуть голову.

Внезапно, протопотав тяжелыми подошвами, в ворота влетел портупей-юнкер с винтовкой, а вслед за ним — полковник с наганом в руке и биноклем, висящим на ремне, перекинутом через шею. Второй юнкер, пробитый пулей, сразмаху упал на тротуар, не добежав. Ноги его мерно колотили камень, руки трепетали, и он перевернулся навзничь, стихнул, открыв залитое кровью горло.

— Ты что здесь делаешь? — строго крикнул полковник, но, поняв все по виду Димы, не ожидая ответа, отвернулся и выглянул наружу. Сразу грохнули выстрелы, и отбитая штукатурка брызнула о листовое железо ворот.

— Прохвосты! — отшатнулся полковник.

Дима разглядывал его сизый затылок, поросший короткими, с сильной проседью, волосами. Полковник повернулся лицом, худощавым, небритым уже несколько дней, усталым, но молодо выглядевшим под румянцем мороза.

Затем взгляд Димы отяжелел и склонился книзу. Там, на тротуаре, рядом с убитым лежал предмет, привлекший его внимание, — винтовка. Он отводил гла-

за, но они упорно возвращались к этому стройному телу поблескивавшего оружия. В его очертаниях не чувствовал Дима ни тяжести, ни существа свойств, а лишь угадывал таинственные силы, дающие вооруженному человеку осуществление огромной власти над жизнью другого. Соблазн породниться с ними овладевал им безраздельно; он чувствовал себя остро, как никогда, судией людских дел, вершителем судеб этого куска жизни, сгустившегося в уличном бою на Леонтьевском. И в эти секунды, когда жизнь самого Димы получала последние ускорения, все разворачивалось и росло так быстро, что каждый следующий миг Дима становился новым человеком, совершенно отличным от прежнего.

— Дайте винтовку мне, — вдруг попросил он, наполнившись удивительной решимостью.

— Что? — не расслышал полковник.

— Дайте винтовку мне и скажите куда стрелять, — крикнул Дима с нарастающей холодной бодростью.

Полковник испытующе взглянул на него, на дорогую шубу, на котиковую шапку.

— Пожалуй... Дорога каждая помощь... И Господь вас храни!..

Быстрым движением он подтянул откатившуюся по тротуару винтовку убитого. На рукаве протянутой руки полковника виднелись четыре нашитых полоски галуна — знаки ранений и контузий.

— Цельтесь по окнам серого дома на той стороне, они там. Вы штатский?.. Заряжать умеете?

— Умею, — отрывисто сказал Дима, схватив винтовку.

Он выдвинулся слегка и, увидев в окне второго этажа человека в папахе и бекеше, вложил приклад в плечо. Человек, высунувшись из окна, целился маузером в сторону. Дима спустил курок, и маузер тут же, закачавшись, упал, а человек свесился из подоконника вниз головой и руками, как будто ему подавали

что-то снизу, и он, протянув руки, хотел достать и поднять к себе.

— Молодцом! — крикнул полковник. — Я думал — вы совсем шляпа.

Собственный выстрел и оглушил Диму и отдал сильно в плечо. Дима отшатнулся, ошеломленный выстрелом, результатом его и терпкой похвалой полковника.

«О, смелый аргонавт!..» — вспомнил он с ужасной душевной болью.

Но винтовку крепко держал в руках и ни за что на свете не отдал бы ее...

Вдруг Диме захотелось чихнуть. По старой привычке он поднял руку и сильно нажал верхнюю губу — по правилам бой-скаутов... Действительно, желание прошло, Дима не чихнул.

Прижавшись к стене, он мучительно резко переживал сразу и одиночество свое, и отголосок огромного сострадания к затерявшейся в толпе Наташе, и познанную в этом сухом прыжке винтовки, вложенной в плечо, технику уничтожения...

Между тем, кругом продолжали беспорядочно и настойчиво хлопать выстрелы. К глазам Димы тянулись лучи от всех пятен, от всех домов, равно ценные и зримые сразу. Так краем глаза заметил он на невысокой крыше кошачьими движениями пробегавшую фигуру солдата с красной повязкой на рукаве, но продолжал, несмотря ни на что, в отдельности как-то созерцать всю совокупность того, что было доступно наблюдению, не переставая в то же время следить за фигурой. Винтовка Димы была пуста, и он дрожащей рукой вложил новую обойму, — пули показались ему черными... Когда же солдат припал к трубе, Дима опять поднял винтовку, взгляд его вдруг заострился на куске серого сукна, видного из-за кирпича, он измерил положение взглядом игрока, — точней этого взгляда нет ничего в жизни, — и подвел мушку. Сол-

нечный отблеск играл на ней, она, поднимаясь, должна была вот-вот заслонить серое пятно, но в какой-то, ничем, кроме собственного чувства, неуказанный миг Дима спустил курок — солдат развернулся во весь рост и упал на крыше за трубой.

— Ааа... — завыл потихоньку Дима, осматриваясь.

Теперь только для него стало ясным все, что он сделает сегодня. Он улыбнулся, сначала искаженно, потом в движении своих губ почувствовал что-то напомнившее ему Наташу, почувствовал, что улыбка его проста и счастлива, как у Наташи...

Тем временем, сделав перебежку, в ворота с новым грохотом ворвались юнкера и поручик с забинтованной головой.

— Двое вперед, за мной! — крикнул одушевленно полковник, взмахнув наганом. — Остальные прикрывайте! Чаще, чаще стреляйте, господа, надо показать, что нас здесь много... За мной!

Юнкера, бросившись на земь, стреляли лежа. Дима, припав на колено, выстрелил по оконным стеклам. Полковник бросился вперед.

Дима проследил его путь до следующих ворот и, когда он оглянулся, готовый скрыться, Дима, рванув винтовку, выстрелил в него навскидку, как бьют птицу в лет. Затем, не чувствуя себя, стремясь безвольно и бездумно вперед, он подбежал к нему увидеть дело рук своих.

Страшным, внезапно до смерти утомившимся взглядом смотрел на него с земли лежавший полковник, как бы не узнавая. Дима видел, как он медленно целится в него наганом, но не остановился, с расширенными зрачками подходя и вглядываясь в его лицо...

Полковник был строг и честен. Он никогда не играл на мелок, возвращая проигрыш тут же полностью.

Выстрела Дима не слышал. Только резкая судорога пронизала его затылок. Не дойдя до полковника, он повернул, описал круг, еще полкруга, завертелся волчком и, закатив зрачки, упал.

(«Новый мир», кн. 2, 1929 г.)

ЕФИМ ВИХРЕВ.

Член «Перевала» Ефим Вихрев больше известен как один из популяризаторов и «болельщиков» художественной артели бывших иконописцев знаменитого села Палех.

Ефим Федорович Вихрев родился в рабочей семье в 1902 году. В юности он принимал участие в революции и до самой смерти оставался членом ВКП(б). Но по всему душевному складу своему, Вихрев не был похож на члена партии, это был человек, которого в обывательской среде принято считать чудаком. Был он тихий, слегка заикающийся, с одним быстрым и темным глазом, на другом — густое беспросветное бельмо. Но под всей его неказистою внешностью таилась непрерывная восторженность. Писал он стихи и маленькие рассказы. На всю жизнь ушибла его статья А. Блока «Линия и краска», по-детски поверил он, что всякий человек может и должен заниматься живописью для самого себя. Беспомощно, но страстно писал маслом, потом заинтересовало его народное художество. Случайно набрел на Палех и, с той же страстностью, весь отдался широкой популяризации палехского искусства.

С мастерами русских лаков Ефим Федорович сдружился крепко, всячески заботился о них, гостил у них ежегодно, по многу месяцев, добросовестно собирал их высказывания о своем искусстве и, наконец, в 1934 году, выпустил книгу «Палешане».

В «Перевале» Вихрев говорил тоже только о палешанах, многих перевальцев возил с собой в знаменитую художественную артель, знакомил с мастерами: с Иваном Голиковым, с Вакуровым, с Бакановым, с Аристархом Дыдыкиным.

Здоровье у Ефима Федоровича было слабое. В январе 1935 года, во время своего пребывания в Палехе, он простудился и там же скончался на руках у своих любимых художников. Могилу ему отвели около самой церкви, в ограде, где обычно палешане хоронили только самых знаменитых своих односельчан.

ЕФИМ ВИХРЕВ

ВЕРНОСТЬ

(Из книги: «Палех»)

Палехский народный дом стоит обособленно, ничем не затененный, на скате холма. С холма сползают к речке кладбищенские кресты, березы, домики, бани. Лишь нардом — огромный и стройный — прочно врос кирпичным фундаментом в землю и, в сравнении с окружающим, кажется незыблемым великаном. Пятьюдесятью высокими окнами он обращен на все страны света. В амбразурах фундамента — железные люки: в просторных подвалах все еще сохнут неоплодотворенные доски; безнадежно тоскуют они о ласкающих одеяниях красок, о мертвенном золоте нимбов, чудятся им пéристые крылья архангелов, смуглолицые деревенские Мадонны и капельки крови под терниями на лбу Спасителя.

Но в самом нардоме не осталось воспоминаний об иконописной мастерской.

Солнце — конечный виновник всех изменений — попрежнему неодинаковым светом теснится в комнатах.

Раньше оно путалось в лицах мастеров, воспламеняло тисненую медь образных облачений, переливалось по квадратам акафистов, блестело в несметных полчищах «всех святых».

Теперь оно успокаивается на сосновых скамейках зрительного зала, зайчиками ютится в листве де-

кораций. В следующем, читальном зале солнце образует веселое озеро из длинного стола, на котором иллюстрированные журналы беспорядочно плавают по газетным комплектам. И не солнце ли притворилось стенгазетой «Красный пахарь»? Не оно ли говорит о неувязках, бичует, хвалит, звенит стихами, смеется наивными карикатурами? С высоты, из-под потолка, оно багровеет безграмотными и могучими лозунгами. А в той, в соседней с читальным залом комнате солнце останавливается на корешках книг, насыщая библиотеку мудростью и значением.

И оно прожигает рубашку библиотекаря — Федора Федорыча, сидящего с книгой в руках спиной к окну.

Федор Федорыч читает, быстро и беззвучно шевеля губами. Я не хочу мешать ему и дожидаюсь, пока он сам увидит меня.

Лысина его окаймлена ровной полоской рыжевато-седых волос. Опаленное зноем морщинистое лицо незаметно уходит в бороду. Глаз мне не видно, но морщинки, расходящиеся от них, отпечатлевают доброту и житейские тяготы. Рубашка обнажает волосатую грудь. Брюки, засаленные до блеска, слишком коротки, а босые костистые ноги — грязны.

Вот и весь облик Федора Федорыча. Впрочем, остались еще руки: они так грубы, что странно видеть в них раскрытую книгу...

Библиотекарь подносит ладонь ко рту и слегка поплевывает на указательный палец. Он хочет перевернуть страницу. Но тут он замечает меня, стоящего в тени этажерок.

— Здравствуйте, — говорит он, смущаясь. — Зачитался вот. А вы, должно быть, давно ждете. Вы бы...

Федор Федорыч приятно картавит. И картавость эта придает его речи некое благородство. И странно

мне слышать почти девические слова из уст мужиковатого библиотекаря.

Он встает, хозяйским взглядом окидывает книжные полки и, прищурив глаза, подходит ко мне. Смотрит он на меня так, как мастер смотрит на вещь, которую нужно переделать. И, как бы сообразив что-то, спокойно спрашивает меня:

— Вам из современной литературки что-нибудь?

— Нет, — говорю я, — мне нужен Фет.

— Фет? — удивленно повторяет Федор Федорыч, и в глазах его я вижу благодарность, хотя и не понимаю причины ее.

А уходя, я услышал слова, произнесенные не то робко, не то с некоторой гордостью:

— Очень трогательный поэт...

Вскоре я сидел на бережку Палешки, в тени большой ольхи и перелистывал томики.

В мутном бочаге плескались ребятишки, чумазые от загара. Они ныряли друг другу под ноги, прыгали с берега, залезали голые на деревья и, очертя голову, бухались в воду.

А невдалеке от купалища, среди кочек, вокруг единственной бутылки водки мирно сидели человек шесть кустарей — художников с мокрыми волосами. Это их всегдашний воскресный пикник после купанья.

Глядя на этих людей, никто бы, конечно, не подумал, что есть среди них люди, чья слава, взяв своим истоком Палех, мчится, разрастаясь, через уезд, через губернию, приостанавливается в Москве, и опять мчится, разветвляясь и проникая в салоны Парижа, в музеи Лондона, в небоскребы Нью-Йорка.

Тут, на этой лужайке — полноцветная душа Палеха, заключенная в простецких, полумужичьих фигурах*).

Вон полулежит, облокотясь на кочку, Александр Васильевич Котухин — один из зачинателей «Артели древней живописи» и председатель ее. Он меньше других похож на сельского жителя. В глазах его светится высокая и спокойная уверенность в своих силах. Он расскажет вам о том, как туго пришлось иконописцам после революции; как мыкались они, сбитые с панталыку, неприкаянные, не зная, за что взяться; как они, навсегда распрощавшись с иконописью, поймали-таки секрет производства федоскинских лаков, как они одержали победу над подмосковными рисовальщиками**).

Рядом с ним, держа на коленях свою модную соломенную шляпу, сидит Иван Петрович Вакуров, человек болезненный и, должно быть, несчастный. Он худ, он кашляет, ему уж за сорок лет, но выглядит он молодо, может быть, благодаря строго подбритым усам. Как противоречива его фантазия! Вакуров умеет соединять в своих работах крестьянскую простоту с модернизированной витиеватостью. Недаром так любит он изображать — в симметрической завер-

---

*) Упоминающиеся дальше имена мастеров — действительные, а не вымышленные.

**) Кустари села Федоскина Московской губернии, издавна занимавшиеся производством коробочек из папье-маше («федоскинские лаки»), держали в строгом секрете замечательные технические особенности своего производства. Но в художественном отношении работы федоскинцев интереса не представляли и не представляют. Палешане путем долгих опытов вскрыли технические секреты федоскинских миниатюр и, соединив многовековые традиции иконописи с новым материалом и с новым содержанием, получили ту известность, какой пользуются в настоящее время и в СССР и за границей.

шенности — древо познания добра и зла. И есть в нем большие творческие начала, хоть и говорит он порой: «твори, не твори, — все равно с сантиметра получишь».

А вон и старейший из мастеров, всегда бодрый старик с мудрыми голубыми глазами и седой бородкой — Иван Михайлович Баканов. Он, конечно, не пьет, а только разделяет компанию. Да и присел-то он тут, наверно, на минутку, по пути с гумна или из сарая. Он лучше других знает, где начинается и где кончается искусство. Каждая вещь его безукоризненно завершена и спокойно мудра, как ее творец. Он не гонится за красочными эффектами, он не гордится изысканной линией, но зато умеет класть краски такими прозрачными слоями, в таких гармонических пропорциях, что созерцатель, всмотревшись в его работу, познает действительно новый и прекрасный мир.

А вот и мировой любимец, дерзновенный фантазер и художник — бунтарь Иван Иваныч Голиков. У него впалые щеки, редкие черные усы и глаза пронзительно-острые. По костюму он имеет вид городского пролетария: черные брюки и пиджак давно требуют себе замены. Безмерно тяжела его жизнь и единственное спасенье для него — водка. Зато как он умеет работать! Он единственный из всех отдался своему ремеслу без остатка: он бросил крестьянство и от зари до зари склоняется над миниатюрами. Пусть на его шее виснут шестеро мальцев — он знает мучительную радость творчества! Глаз его точен в любых масштабах: от микроскопических завитушек на шароварах Стеньки Разина*), который и сам-то величиной с комара, до грандиозных декораций в нардоме.

---

*) «Стенька Разин» — излюбленный мотив палехских кустарей.

Его миниатюры, или, как он называет их, пре́дметы, являются красочным отражением его характера — беспокойно-могучего, нервного и трудолюбивого. Голиков умеет сталкивать множество яростных красок в одну немыслимую цветовую симфонию. Каждая сусальная линия, положенная им на папье-маше, как музыкальный аккорд, — самоценно-значительна. И он никогда не копирует, а только творит: любую сказку, любую песню он истолкует по-своему. «Милый! — хочется закричать мне ему, — сколько пре́дметов твоих гуляет по́-миру! Что дороже тебе: эта мировая слава или рюмка сорокаградусной?»

Я сижу, раздумывая об этих чудаковатых тружениках, о дипломах, полученных ими на заграничных выставках, о золотой медали «Grand prix», хранящейся в их мастерской. Их лукавый талант преобразил мужика в эстетическую условность. Каждый из них знает цену себе. В жизни они скромны, но в искусстве затейливы. Они не разговорчивы, но сколько бы могли они рассказать! Знают они любой монастырь страны, вдоль и поперек исколесили они страну. И, пройдя сквозь уничтожающее пламя революции, они вынесли в мир исподнюю правду своего ремесла и ремесло вознесли до искусства.

Не все, конечно, сохранили в себе любовь к ремеслу. О, далеко не все! Только немногие — всего пятнадцать-двадцать человек теперешних артельщиков — остались верны краскам и кисти. Эти немногие поняли, что в зеркально-черном папье-маше дышит искусство. И эти немногие — уже последняя, да, последняя и невозвратимая песня Палеха, последний вскрик рублевских поколений!

А большинство? Большинство иконников впряглось после революции в плуг, другие разбрелись по стране, третьи в алкогольном тумане вспоминают минувшие дни, четвертые занялись чем попало. В Пале-

хе каждый общественный работник — и кооператор и волисполкомец — бывший иконописец...

И библиотекарь, Федор Федорыч тоже, конечно, бывший иконописец... «Странный библиотекарь, — думаю я. — Все здесь чудное, все необыкновенное, особенное, свое...»

Жаркое солнце сквозь пушистые óблака катится к западу. Бутылка у мастеров почти уж пуста, и разговор их становится оживленней. Вот уж я вижу, как Иван Иваныч Голиков привстает с кочки и, держа огурец в руке, говорит что-то громко и возбужденно...

А томики Фета лежат у моих ног, напоминая мне о том, как мало нужно места, чтобы заключить великие волны искусства...

«Тоже вот и палехские миниатюры», — думаю я.

Вдруг сзади меня раздается ласковый картавый голос, и чья-то рука дотрагивается до моего плеча:

— Вы здесь? А я вас давно ищу. Библиотеку закрыл и хочу поговорить с вами.

Это — Федор Федорыч. Опять тот же девический говор, то же загрубевшее лицо и руки, похожие на сучья ольхи.

— Насчет Фета. Трогательный поэт. Редко у нас его берут. Говоря возвышенно, не понимают, должно быть, настоящей поэзии. Из всего Палеха только один я и читаю его. Что за поэт! Какая лирика! Какие элегии! Обратите, друг мой, внимание — какие элегии!

Библиотекарь дышит на меня спиртом: он тоже, видимо, успел уж для праздника выпить. И в глазах его проблескивает смелость, которой не было заметно в библиотеке.

— Идемте ко мне чай пить — говорит он. — Дочка ягод насобирала. Варенье вчера сварил. Хочется мне насчет Фета с вами поговорить. Не с кем тут...

В доме у Федора Федорыча просторно, пусто и неуютно. Пол чисто вымыт. Лучи, дробимые окнами, ложатся на полу рябоватыми светящимися коврами.

У раскрытого окна сидит девочка лет тринадцати с кружевом в руках. Глаза у девочки грустные и умные. При нашем появлении она встает и голосом не по-деревенски ласковым спрашивает:

— Что, папа, самовар что ли подогреть?

— Нет, дочка, ты иди погуляй. Сам я поставлю. Чего тебе дома-то сидеть.

Мы проходим в горницу, и Федор Федорыч начинает суетиться: раскрывает горку, вытаскивает оттуда сахар, чашки, варенье, графин, полный водки, с прозрачным синим петушком внутри, окруженным лимонными корочками. Потом он берет со стола еще теплый, должно быть, самовар и тащит его в кухню. Я слышу, как он наливает воду, насыпает углей, не иначе как сапогом раздувает жар, гремит трубой...

Глаза мои неожиданно встречаются с глазами портрета, висящего в простенке. Портрет написан масляными красками, в классических традициях, то есть настолько тщательно и реалистично, что трудно решить: что это — высокое искусство или мастерское бесстилие. Но я смотрю на это лицо и не могу оторваться от него.

«Чем это не гоголевский портрет? — думаю я. Те же азиатские скулы, та же дремучая борода. Только немного просторней, шире. Глаза... Но нет, это не глаза коломенского ростовщика». Я смотрю на них и понимаю разницу.

Портрет изображает старика в том могучем возрасте, когда еще все силы в человеке целы — они еще в последнем и самом жарком горении. Но скоро они начнут потухать.

Глаза, в которых гениальное соединилось с безумным, беспредельная доброта с величайшей жесто-

костью, — эти глаза смотрят не только уничтожающе, но и робко. В них нет того ровного света, по которому можно было бы заключить: добрый это человек или злой. Нет, за этими глазами чудилась вся жизнь: за ними чудился смертельный разгул, тысячеверстные пространства, беспросветная нужда, ослепляющее богатство, обреченность, пропащая душа, водопады дерзновений, гордость, сила и беззащитность. Такие люди могут двигать за собой миллионы, они могут бесстрашно идти на костер, но вся судьба этого человека была, конечно, связана только с легкой иконописной кистью...

— Такого пьянства еще не знал мир, — говорит Федор Федорыч, внося шумящий самовар и заметив, что я заинтересовался портретом. — Это мой отец. Он пил трагически, он пил безумно. Он был лучшим мастером в мастерской Сафонова*). И он умел работать так же беззаветно, как и пить. Детство наше (у меня есть еще два брата — художники — в Москве живут) было ужасно. Отец был беспощаден. Он бил мать березовой слегой, он бросал в нас все горшки и крынки, какие были в доме. Зато трезвый отец был святым человеком: он ласкал нас, плакал, до крови расшибал свой лоб о церковный пол и работал — работал много и прилежно...

Библиотекарь нахмурился и произнес глухо:

— И он повесился, когда мне было пятнадцать лет...

Мы оба молчим. Федор Федорыч устанавливает самовар на подносе, заваривает чай.

— До сорока лет был трезвенником я, капли не брал в рот. А вот теперь закладываю по праздничкам. Трудно жить без помощницы — без жены. Одно облегченье: выпьешь, умаявшись за неделю-то... Вы уж

*) Сафонов — иконник-предприниматель.

как хотите — неволить не буду, чайку попейте, а мне разрешите водочки.

Выпив первую чашку водки, Федор Федорыч сразу становится разговорчивее.

— Первым делом, — говорит он, — взгляните вот в этот угол. Вот он где — Фет-то милый заключается.

В углу — единственная икона: Богоматерь с обнаженной грудью и румяным соском. Младенец ловит сосок губами. Лицо у Богоматери крепкое, розовое и чуть-чуть загоревшее; глаза девически-добрые и немного строгие.

Библиотекарь видит мое недоумение и, вновь наполнив чашку свою вином, продолжает:

— Вы скажете: причем же тут Фет? А он тут именно причем. Слушайте, я расскажу вам, почему так люблю я лирику Фета.

— Отец, я вам сказал, выпить очень любил. Жестокий был человек. Боялся я его — пьяного. Как, бывало, получка у него, так я скорее забирался куда-нибудь в овин или на чердак... Съежусь там, и — нет меня. Целыми днями просиживал так, пока отец не протрезвится. А чтобы не было скучно, брал в свое уединение книжку какую-нибудь. К слову сказать, кончил я двухклассное и учился в иконописной мастерской. Книжки брал в школьной библиотеке.

Благодаря отцову пьянству, здорово пристрастился я к чтению. После смерти отца, когда уж я хозяином дома сделался, в чтение втянулся еще сильнее. Но читал всё романы, приключения, да о жизни великих людей. Попалась мне, к примеру, книжка о Ломоносове: так запомнилась, что и сейчас всю пересказать могу.

Много книг я перечитал — без мала всю библиотеку. И нечего мне стало больше читать. Учитель и говорит мне: «Ты бы, говорит, стихи почитал». И

дает мне Фета. Посмотрел я — неинтересно. Ни к чему, думаю, эта поэзия. А стыдно мне возвращать книжку, не прочитавши. Читаю, надсажаюсь, а до сердца не доходит. Дай, думаю, вслух буду. И вот расхаживаю по комнате и во всю мочь декламирую. Дело было в мае. Окна, заметьте, были открыты, на улице все слыхать. Помню, первое стихотворение попалось мне:

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок.
Пред скамьей ты чертила блестящий песок.

Горланю — и тоже не доходит до сердца. Затвердил только эти две строчки, и сил моих не хватает больше. Даже раздражать стали меня стихи. Кто это, думаю, «ты» и зачем, думаю, эта самая «ты» чертила блестящий песок перед скамейкой?

А была у меня в юности привычка — по утрам, до работы, книжки читать на скамеечке. (Видали, стоит у крыльца? Вот на этой самой). Помню я, взял однажды книжку Фета, вышел утром и сел на скамью. Читаю все те же стихи, в которых про скамью и про песок говорится. Читал, читал и раздумался: к чему человеку грусть дана? Сам я был тогда спокоен, здоров и весел, и не о чем мне было грустить. Возвращу, думаю, Фета. Скажу, что неинтересно — дайте другое что-нибудь.

Потом отложил книжку. И вдруг вижу: на песке, перед скамейкой, под самыми моими ногами, начертано: Федя. Неужто, думаю, ко мне это относится? Стер я сапогом свое имя и ушел на работу. На другое утро сажусь на скамеечку и опять вижу — Федя. Любопытство разжигает меня. И на третий, и на четвертый день — то же, только с разными вариантами: Федя, Федюша, Федичка, Федик.

Никто мне таких нежностей не говорил. И привык я тогда каждое утро садиться на скамеечке именно с Фетом в руках. Сижу, бывало, смотрю на бук-

вы, что на песке, книжку перед собой держу, а про себя повторяю (я уж эту элегию наизусть знал):

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок.
Пред скамьей ты чертила блестящий песок.
Я мечтам отдавался, я верил весне,
Ничего ты на всё не ответила мне.

И не стираю букв с песка до тех пор, пока не пойду на работу. До того всё это вошло в меня: как только проснусь, тороплюсь одеться, умыться, — боюсь не опоздать бы, сердце колотится, сам не свой выбегаю, сажусь на скамеечку, вижу... чувствую...

Значит, дошли до сердца элегии... Дошли.

И поселилась во мне с тех пор тихая грусть какая-то. И радостно мне было думать, что вот я живу и умею переживать, чувствовать умею. Другие парни лапают девок по вечерам, ржут, как жеребята. И горжусь я втайне собой, что вот я не похож на других парней. Горжусь тем, что чертит мне кто-то каждый день мое имя. Хочется мне разгадать, кто это чертит, а сам нарочно всё оттягиваю разгадку — жду, когда само собой отгадается.

Стал я чаще тогда уходить один гулять в поле, в лес и меньше стал водиться с товарищами. Ни в попойках, ни в гулянках не участвую. Брожу себе, а на уме только одни элегии Фета да надпись перед скамьей.

Вскоре все обнаружилось. Возвращался я как-то поздно вечером домой. Будни, на улице ни души. Подхожу к дому. Вижу сидит кто-то на скамеечке... Ближе подхожу. Всматриваюсь. Машенька! Соседка! С детства дружили мы с ней. И каждый день разговаривали. А я и не догадывался! Машенька! Грустная сидит. Лирическая. И луна светит. Встал я в трех шагах от Машеньки и двинуться дальше не могу. Ноги подкашиваются. Сердце выговорить ничего не дает.

А она сидит на скамеечке наклонившись и водит палочкой по песку, как бы не замечая меня.

Эх, давно это было! А и теперь не могу без слез вспомнить. Вот он, Фет, что наделал... Милый мой!..

Федор Федорыч залпом выпивает полную чашку вина. И может быть от грусти, а может быть от вина — в глазах его появляются слезы. Он стирает их рукавом, крякает и закусывает. Потом ослабленным голосом, с некоторой долей таинственности, продолжает:

— Странная любовь завязалась у нас. Молчаливая. Стали мы с того дня каждую ночь встречаться с Машенькой. Сидим, не прикасаясь друг к другу, ни слова друг другу не говорим. Дышать стараемся тише. Робость такая на сердце. Самого себя не чувствуешь. Тихонечко шелестят над нами березы. И кажется мне, что это сердце мое заставляет их шелестеть. Кажется мне, что нельзя меня отличить от березы: будто и руки, и ноги, и березы, и звезды — одно существо, неразделимое — с одной кровью в жилах. А сердце этого существа в моей груди... И Машенька, наверно, то же самое чувствовала... Помногу часов мы так просиживали с ней. А днем — на улице, в поле — смотрим друг на друга так же просто, как раньше, болтаем, как все болтают, будто не мы это по ночам встречаемся.

В ту весну окончил я сафоновскую школу. Мать мне сказала тогда:

— Напиши, — говорит, Федя, — Богородицу для нашего кивота.

— Хорошо, — говорю, — мамынька, напишу.

Принялся я за Богоматерь. А перед глазами Машенька. Примите, друг мой, во внимание: брови у Машеньки черные, а глаза голубые. Пишу я Богоматерь. Хвать, гляжу — и у Богоматери: брови черные, а глаза голубые. У Машеньки глаза смотрят искоса —

и у Богоматери тоже. У Машеньки над левой бровью родинка — родинка и на образе... Удостоверьтесь, друг мой.

Библиотекарь подводит меня к киоту и объясняет на иконе машенькины черты.

— Тут, конечно, плат, ризы и прочая гарнитура. Все это вроде как скрадывает Машеньку.

— Пишу я Богоматерь, — продолжает он, — и чем ближе к концу подвигается работа, тем все роднее мне Машенька и тем все тяжелее мне это любовное молчание. День ото дня тревога какая-то в душе растет. Выйдешь вечером к Машеньке и почувствуешь в себе такую силу — весь дрожишь от этой силы и кажется, что вся окружность вместе с тобой дрожит. Хочется закричать громко-громко так, чтобы весь мир узнал о нашем счастьи. Хочется, чтобы Машенька ответила мне хорошим смехом, веселыми словами... Конечно, и Машеньку томило это молчание... И все-таки молчали мы. И не догадывался я тогда, что молчаливая-то любовь и есть самая верная и самая хорошая любовь. Не догадывался... И вот больше невмоготу мне стало молчать...

Как-то в июне закончил я Богоматерь. Сам не нарадуюсь — до чего хорошо получилось. Потому, что душу вложил. Не то, что всегдашние иконы: мажешь, а в уме подсчитываешь монету... Сработал и собираюсь в тот вечер на свидание. «Ну, — думаю, — будь, что будет: выйду сейчас, обниму Машеньку, поцелую ее и выскажу ей всю душу, потому что нельзя больше молчать».

Надумал это я, а как вышел, как увидал Машеньку, сел рядом с ней — и замер. И ни одного слова не вымолвил и ни одним пальцем не пошевельнул.

Всего дольше мы в эту ночь просидели.

Тихо, как всегда, проводил я Машеньку до ее дома. Как всегда, встали мы на минутку у крыльца. Ти-

хо стоим — в отдалении друг от друга. И вижу я, словно как прислушивается она к чему. Прислушивается к чему-то далекому, чего никак услышать нельзя.

Эх, — думаю, — брошусь сейчас на колени перед ней, ноги буду обнимать, расплачусь от радости, от свободы, именно от свободы...

Хотел уж я шагнуть к ней...

Библиотекарь сделал длинную паузу, во время которой комнатой завладела тишина, нарушавшаяся только шумом самовара да стрекотаньем кузнечиков за окном, и продолжал:

— Ну, и ничего не вышло. И расстались мы, как всегда молчаливо... Значит, нельзя умом подгонять сердце: сердце само свои сроки знает...

Никак я не мог в ту ночь заснуть. Сижу у окна, смотрю на звездное небо и все думаю, думаю. Взглядываю на машенькин образ, Фета про себя повторяю. (В тугой узел все это у меня завязалось: и любовь, и природа, и Фет). Сижу я так у окна и придумать не могу, как мне быть с Машенькой, что мне сделать с самим собой, куда мне девать все то, что у меня на сердце?

И вдруг захотелось мне скорее поведать комунибудь свою любовь, чтобы порадовался кто-нибудь вместе со мной, чтобы одобрил эту любовь. И тогда разорвется молчание, и будем мы с Машенькой навсегда близкими, навсегда родными. А кому рассказать про любовь? Братьям — стыдно как-то, товарищам — засмеют. Был бы Фет в живых, был бы он поблизости, я бы ему рассказал.

Так всю ночь я промучился и под утро понял, что нет больше выхода.

Вот рассветало совсем, и взяла тут меня лихорадка какая-то: быстро положил я в карман, какие были у меня деньги, как ошалелый, выбежал из до-

му, никому не говоря ни слова, и самым скорым шагом пошел на станцию.

К вечеру пришел. Ни с того, ни с сего выправил билет до Москвы, сел на поезд. Еду, а зачем — и сам не знаю. Чувствую только, что нужно это мне, очень нужно. Еду и все смотрю в окно. Дождаться не могу Москвы: где она, милая? Скорее бы!

Вот и Москва. Выскакиваю я из вагона, выхожу на площадь. Иду по улицам. Улицы мне знакомы: в детстве отец не раз возил меня в Москву. Тороплюсь я. А куда тороплюсь?..

Дошел до Моховой. Увидал Михаила Васильевича Ломоносова. «Вот он, — думаю, — университет».

— Университет? — спрашиваю прохожего.

— Да, университет, — отвечает прохожий.

И понял я тут, вдруг, что это и есть то, зачем я приехал.

— Милый мой! — говорю я, — Михаил Васильевич! — И кланяюсь ему, и слезы у меня текут. А прохожие с недоумением смотрят на меня.

Поклонился я Ломоносову три раза: раз — за науку, раз — за поэзию, раз — за тяжелую жизнь. Поклонился и говорю ему:

— Влюбился я, Михаил Васильевич. Любовь моя — лирическая. Хорошо мне жить, Михаил Васильевич, потому что хорошая любовь у меня.

Сказал это я, и сразу мне сделалось легко, весело. Вижу: торгует у стены букинист. Купил я у него полное собрание Фета, как залог моего и машенькиного счастья. До сих пор храню я эти книжки.

И уж не грусть, а радость одну увозил я обратно. А когда к человеку приходит радость (редким людям она приходит), тогда весь мир человеку прост и ясен: нет в нем ни страшного, ни загадочного. Возвращаюсь я обратно. Радостно смотрю на людей, сидящих в вагоне, и думаю почему это я раньше как-то

не замечал людей? Смотрю я на людей и хочется мне сказать им: «Драгоценные мои! Возьмите у меня частицу моей радости, увезите ее в города и села и пусть ваша жизнь будет так же красива, как стихи Фета».

Утром вышел из поезда и — в Палех. Иду веселый и, как сейчас, помню, вслух читаю всего-навсего один маленький стих любимого своего поэта. Даже руки в ход пустил — до чего это чувствительно! И казалось мне тогда, что и облакам, и деревьям, и жаворонкам приятны эти звуки. Вот они какие, послушайте:

Ты — в сердце с румянцем стыда,
Я — луч твой, летящий далеко...
Теснее и ближе сюда!
Раскрой ненаглядное око!

На тридцать верст хватило мне этого стишка. Вот и подумайте только: оно маленькое, — вырвать из книжки — торговке не хватит на обертку, а жизнь-то какая в нем! Значит, лирика-то не в буквах печатных заключается, а во всей природе. И нельзя ее ни сжечь, ни вычеркнуть. Она не умирает...

Пришел я в Палех к ночи.

Грустная сидит Машенька на скамеечке. Обрадовалась она мне, а ни одного слова не промолвила. И виду не показала. Только вроде как сжалась вся, вроде как зябко стало ей.

Подхожу я к ней и просто, весело, хорошо обнимаю ее и говорю ей — первые свои слова говорю за все время нашей любви:

— Теперь, — говорю, — Машенька, женимся.

Федор Федорыч глубоко, облегченно вздохнул, пристально посмотрел на икону, зачем-то прошелся по комнате, может быть, затем, чтобы проверить: пьян или нет. Грузно опустился на стул. Стул заскрипел под ним и на мгновение накренился.

— Женились мы без всяких промедлений: Машенька сиротой была — противиться было некому. В тот самый день, как вошла она в мой дом, прикрепил я образ ее в углу. (Другие иконы после революции поснимал, а эту оставил, так с тех пор и посейчас висит).

Сделался я мастером, иконником. Фета всего наизусть выучил. Дошел Фет и до машенькиного сердца: мирно мы стали жить, ласково, хорошо.

Летом, конечно, пахота, сенокос, жнитво, — это так, между прочим.

По зимам уезжал я на приработки. Всю Россию изъездил. В Чудовом монастыре работал, в Грановитой палате (с Нестеровым там познакомился), в Костроме, в Киеве, в Одессе. Стены писал. Реставрировал. Самые высокие купола расписывал. Трудная это работа. До того, бывало, уработаешься под куполами: ходишь, как Микельа́нджело, — лицом к небу, глаза на лоб лезут, земли не видишь и все кажется, что над тобой купол.

В одну такую зиму сдружился я в Москве со слесарем — квартирку вместе снимали. Слесарь оказался есдеком. Сделался через него есдеком и я. Подпольные собрания стал посещать. В Палех нелегальную литературу привозил. Читал ее здесь тайком с мастерами. То ли видал кто, то ли слежка за мной была, — нагрянул ко мне с обыском урядник. А литературку-то нелегальную прятал я вот за этой самой иконой, в углу. Шарил урядник избу и напал на книжку Фета — она в ларце железном лежала.

— Это, — говорит, — что такое?

— Лирика, — говорю я. — Элегии и прочее.

— Какая такая рылика? Не намекай, — говорит.

Берет он книжку:

— Там, — говорит, — разберут. Мое, — говорит, — дело маленькое.

Заупрямился было я: не отдам, дескать. А он сдуру подумал и нивесть что. Жалко мне было отдавать лирику, еще в такие руки: осквернение поэзии. Только сообразил я тут: пускай, думаю, возьмет для отвода глаз. Притворился я, конечно, будто и всерьез книжка необычная. А урядник попался малограмотный, глупенький. Обрадовался он своей добыче и шарить перестал. Взглянул только в угол:

— Что, — говорит, — за неприличная такая Богородица? К чему, — говорит, — сосок?

— Фряжская, — говорю, — так полагается. Мы, — говорю, — не староверы. Не я первый, не я последний.

Поинтересовался урядник соском и ушел. А я тем временем литературку в печи запалил.

Фета мне обратно прислали, а политикой я с тех пор перестал заниматься: ячейку нашу в Москве разгромили. Стала у меня семья прибавляться, тут уж не до политики, лишь бы прокормиться.

Детей у нас было шестеро. Четверо умерли в голодные годы. Не уберег. Остались только сын Костя да Надюша — дочка. Сын — коммунист. В Ленинграде учится, в вузе. А сейчас на практике, на Волховстрое. Приезжал он тут как-то ко мне.

— Пора бы, — говорит, — папа, убрать Богоматерь. Сам ты, — говорит, — человек неверующий. Ни к чему это.

По правде, не знает сын, что это мать его изображена. Так я и сказал ему:

— Брось ты! — говорю. — Да самой смерти моей будет висеть, а умирать буду — сжечь велю, потому что она только одному мне нужна.

Надулся Костя на меня.

— Предрассудки, — говорит.

Какие же это предрассудки?.. Не знает он лирики житейской. Зачах на политграмоте, а, небось, не

влюблялся так, как я. И все же люблю я сына. Крепкий он, выдержанный. Не обманет, не выдаст. Посылаю я ему туда деньжат. На каникулы приезжает, гостит. Живем мы с дочкой вдвоем. Учится она в школе. Рукодельничает, за ягодами ходит. Только вот еще корову не научилась доить...

Но я вперед забежал. Так. Хорошо. Дети у нас пошли. Бах — война. Забрали меня ополченцем. Плакал — не хотелось с Машенькой расставаться, с детками.

Ранили меня на войне и застрял я в лазарете — в Орле. Потом в запасной полк перевели. Тут меня и Февральская застигла. Целые ночи плакаты писал, лозунги. Весь город снабдил знаменами.

Потом дезертировать стали. Скучился я о Марье, о детках, наложил в вещевой мешок гостинцев и укатил.

Приезжаю. Детишки ползают по полу грязные, худые, голодные. Маня лежит на кровати. Стонет сердешная. На деток смотрит. Бросаю я вещевой мешок, подбегаю к ней.

— Машенька, — говорю я, — что с тобой? Женка ты моя хорошая...

А Маня только охает. Еле-еле выговорила:

— Захворала, — говорит, — Федя. Пятый день лежу.

Стою у машенькиной кровати я. Растерялся: что сказать, что сделать — не знаю. Хочется мне упасть перед Машенькой на колени, хочется проговорить ей целительные слова, от которых бы она сразу на ноги встала.

Я давно угадал, что мы сердцем родня.
Что ты счастье свое отдала за меня.

Вот что хотелось мне сказать ей.

— Федя! — простонала Машенька. — Болезнай!

И смотрит на меня хорошим взглядом, таким взглядом, каким в юности смотрела — вот как на этой иконе.

— Федя, — говорит, — уж не жить мне больше... Умру я... Женишься, Федя, деток-то забудешь...

— Полно, Машенька, — говорю я. — Не женюсь. По гроб жизни буду верен.

А сам чувствую, что не то говорю, что нужно сказать что-то важное, а что — никак сообразить не могу... Эх, тяжкая на меня выпала участь!

Федор Федорыч выпивает очередную чашку водки и наливает из графина еще. Петушок на дне графина приподнял свой гребешок над кругом влаги. Петушок голубеет, сквозит и переливается в свете уже розоватом, вечернем. Со стеклянного петушиного носика падают капельки. И такие же капельки катятся из глаз библиотекаря. Они исчезают в его усах.

— Ну, а дальше Фет за меня сказал, он словно угадал всю мою судьбу — вся судьба моя в этих элегиях:

С опочившей я глаз был не в силах отвесть
Всю погасшую тайну хотел я прочесть.

Долго я не мог найти себе места. Недели три ходил вокруг Палеха. Все думали, что с ума сойду. А я ходил, обращался к соснам, к небу, к речке Палешке, ко всему миру. И во всем я видел только машенькины черты, только машенькины движения.

Я обращался к природе, и природа для меня была Машенькой.

— Машенька! — кричал я, и это отдавалось в лесу, и эхо вызывало слезы на глазах.

А в ответ голосам этим торжественно, как клятву, произносил я... знаете что произносил?

Та трава, что вдали — на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей...

За наши страдания, за труд наш тяжелый, за тяжелую нашу жизнь природа сотворила нам песню. Тут не в личностях дело. Не Фет писал эти стихи. Он только поймал их. Они носились с ветром, шелестели во ржи, сияли в лучах. И какие еще песни носятся вокруг нас — мы не знаем. Вся природа состоит из песен. Выловить, выловить нужно эти песни!.. И кто поймет, что ничего нет в природе, кроме песен, кто постигнет это, тому радостно жить на свете и никогда он не разочаруется в жизни...

Оттого и я не разочаровался в жизни. Оттого и радостно мне жить и работать. И никакие невзгоды не сломят теперь меня...

Трудно, конечно, пришлось мне после смерти Машеньки, слов нет. Только Фет милый и выручал. Хозяйство мое в упадок пришло. Работы тоже не стало. Кому нужны иконы? Никому не нужны. А жить надо. Трепала меня жизнь в разные стороны. Вон Голиков, Баканов коробочками занялись, а у меня все навыворот получилось.

Поступил, было, на завод в Шую. Завод вскоре заморозили. Волостным милиционером сделался. Аресты. Обыски. Не по характеру это мне — жалостливый я человек — изнервничался. Ушел из милиции. А тут детский сад организовали в селе. Поставили меня завхозом. Стало получше. Сына отправил учиться. На руках только дочка осталась.

Приехал тут новый волполитпросветорганизатор. Из красноармейцев. Хороший, чуткий парень. Присмотрелся он ко мне. Видит, человек я начитанный, литературу знаю.

— Поставь, — говорит, — на должную высоту библиотеку в нардоме.

— Отчего, — говорю, — не поставить.

Перевели меня на эту должность. Теперь волполитпросветорганизатор не нахвалится мной. И в са-

мом деле, знаю я библиотечное дело хорошо: от Аристотеля до Бэкона и от Бэкона до Международной брюссельской конференции — все системы постиг. Только у меня есть еще и своя система. Думаю я, как довести книгу до крестьянских масс. Придумал интимную запись читателей. По глазам вижу, кто чего хочет. Одни читают так, для времяпрепровождения — лишь бы что-нибудь читать (почитаешь и уснешь). Другая интимная категория читателей — сознательные. Спрашивают: мне бы вот по такому-то вопросу. Третья — еще более сознательные: занимаются самообразованием. Те уж сами говорят: дай-ка мне вот такую-то книгу. А четвертая категория — птенцы из шы-кы-мы. С ними самое мученье — рыться приходится в хрестоматиях...

Только вот вас я не мог подвести ни под какую категорию. Человек вы приезжий, сразу не догадаешься.

Так вот и живу теперь. Третий год уж библиотекой заведую. Тоскую по Машеньке, а духом не падаю. Знаю я Фета, храню вот эту икону, газеты читаю, с молодежью вожусь, крестьянством занимаюсь. Взгрустнется когда, — взгляну я на машенькин лик, возьму Фета и что-нибудь такое особо-сердечное вслух прочитаю. Хорошо Фет понимал грусть человеческую. Вчувствуйтесь только:

В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милый,
И в звездном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

Да-а-а... Каково?..

Прочту я стихи, взгляну еще раз на Машеньку и нутром услышу, будто Машенька скажет мне: «Работай, Федя, много счастья в работе заключается». И легко мне сделается опять, и жизнь покажется та-

кой радостной: сощуришь глаза и всю страну увидишь — молодую, работящую. И опять руки запросят работы, а сердце потянется к молодежи — страсть люблю я молодежь!

Утомляюсь, конечно, за неделю-то. Оттого и выпиваю по праздникам. Никак нельзя без этого. Сами подумайте. Встанешь на заре. Корову нужно доить. Потом спровадишь ее во стадо. В поле съездишь. Печку нужно топить — обед готовить. Сам готовлю и обед. А тут пора и в библиотеку идти. Вечером — то, другое: сами знаете — деревенскому жителю работы всегда много. Спать по три часа в сутки приходится. Так умаешься — ноги насилу держат. Разве можно без выпивки прожить? Нельзя. По воскресеньям всегда графинчик полагается. Выпивши я бываю мирный, не в отца... Да, по правде сказать, кто из русских людей не пил? Водка многих сгубила. Возьмите к примеру: Решетников, Помяловский, братья Успенские, Брюлов... Вот, кстати, Брюлов. Знаете, что Тургенев о нем сказал? «Брюлов, — говорит, — был вертоус...»

(Федор Федорыч громко икнул, смутился и тут же поправился: виртуоз).

Тургенев сказал: «Если бы дать Брюлову душу Иванова, вот был бы гений».

Впрочем, это к делу не относится...

Смотрят на меня сельские мужики:

— Работяга ты, — говорят, — Федорыч! Жену бы тебе хорошую. Стоящий ты мужик.

А я говорю:

— Не оскорбляйте, — говорю, — меня. Любите своих жен так, как я свою любил, и никакой другой не захочете.

Бабы тоже вроде как сочувствуют мне. В пример ставят меня своим мужьям. И тоже на женитьбу намекают. Живет тут вдова одна — мужа в германскую

убили. Подговаривают бабы ее насчет меня. Много раз приходила она ко мне.

— Возьми, — говорит, — Федор, меня себе в жены. Мужик ты, — говорит, — работящий. Хорошо будем жить.

Жалко мне ее: мается, бедная, с утра до ночи с детьми, с хозяйствишком. При случае помогаю я ей в тяжелой работе. А насчет того, чтобы в жены взять — про это, — говорю, — забудь и думать...

...Федор Федорыч долго сидит молча, опустив голову. Потом он встает. Раскачивается из стороны в сторону. Я вижу, как дрожат его руки. Взглядом влажным и по-детски непорочным окидывает он большую неуютную комнату. И, опьяневший, он картавит еще больше:

— Сказал Машеньке: по гроб жизни буду верен, и буду верен, сдержу обещание... Взгляньте на машенькин лик! Смотрите, смотрите: ведь она верит мне, что не изменю я! Она не позволит мне изменить! Правда, родная, веришь ты мне?

При этих словах библиотекарь мгновенно шлепается на пол, и руки протягивает к портрету-иконе, и голосом, дрожащим страдальчески-гордо, восклицает:

— Милая моя! Машенька! Любовь моя лирическая!

Потом успокоенно-выспренним тоном:

— Слу-ушай, Ма-ашенька!

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей
И — была ли при этом победа? И чья? —
У ручья ль от цветка? У цветка ль от ручья?..

Он читает всем существом своим: лысина его ходит то вверх, то вниз, руки его описывают полукруги, грудь энергично приподымается.

Ты душою младенческой всё поняла,
Что мне высказать тайная сила дала.
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить...
(«Влачить!» — тяжко повторяет библиотекарь),
Но мы вместе с тобой, — нас нельзя разлучить!

Он весь обращен туда, где висит портрет Машеньки — Богоматерь. Но иконы почти не видно: только поблескивает ризное золотце. Вечерняя темнота завладела углами, простенками, мебелью. И посуда на столе тоже едва различима. Лишь голубенький петушок, по брюшко окунувшись в зеленоватую влагу, рассекает темноту острым лучиком, тоже как будто прислушиваясь к голосу библиотекаря.

Слова у библиотекаря заплетаются на языке, он повторяет их по нескольку раз, по нескольку раз возвращается к прочитанным уже стихам и, наконец, ухватывает последнюю строфу:

У любви есть слова, — те слова не умрут.

Вдруг в эту минуту врываются в комнату нестройные звуки: крики детей, щелканье кнута, мычанье, блеянье, топот.

Отворяется дверь и в комнату вбегает дочка Федора Федорыча Надюша:

— Папа! — кричит она, — стадо пригналось!

Библиотекарь обрывает стих на полуслове, вскакивает с пола. Ноги его подкашиваются, но он старается стоять твердо.

Сначала он суетливо оглядывает комнату, потом, сообразив, бросается в сени... Звенит подойником. Падает... Снова звенит. Грузно скрипят под ним половицы сеней.

Я выхожу на крыльцо. Большая жирногрудая корова тыкается мордой в ворота двора, глухо мычит, скоблит ворота рогом.

Отсюда, с крыльца, виден мне Палех — вечерний, задумавшийся, туманный.

По гумнам ползут низкие туманы, озерами собираются они по лугам, и в этом призрачном далеке островами встают коньки сараев, изб и бань. Вон по ближнему озерцу плывет человеческая голова. И невероятным кажется, что у этой головы есть туловище, руки, ноги... Но вот растворилась в тумане и голова.

 Пророшенная мгла торжествует над Палехом.

Я прислушиваюсь к незатихающим звукам. Хрусткой звукописью простреливают кузнечики сладостно-дурманный воздух. Музыкально бьет молочная струя в дно подойника. Сытной жвачкой отдаются углы.

Палех сейчас уснет.

1-XI-1927 г.

(«Перевал», сборник 6, 1928 г.)

ГЛЕБ ГЛИНКА.

Автор этого сборника Глинка, Глеб Александрович, родился в 1903 году, в Москве. В партии не состоял. В 1925 году он окончил Высший литературно-художественный институт имени Валерия Яковлевича Брюсова. До 1928 года писал стихи, затем рассказы, повести и очерки. Печатался в журналах «Новый мир», «Красная новь», «Молодая гвардия», «Наши достижения,» в альманахах «Недра», в перевальских сборниках «Ровесники» и др. Его книги: «Изразцовая печка», повести и рассказы 1929, «Истоки мужества», повесть 1935, «Павлов на Оке», очерки 1936 «Эшелон опаздывает», очерки 1932, «Времена года», стихи для детей, 1926.

Как очеркист, Глинка много путешествовал, участвовал в дальних научных экспедициях на Полярный Урал, на Северную Сосьву, был на Васюгане и Тыме.

В Москве он имел кафедру в Литературном институте и в Московском университете, читал лекции по теории литературы и вел практические семинары по теории стиха и художественной прозы. С 1934 года он был старшим консультантом в издательстве «Советский писатель», редактировал сборники молодых авторов.

С большинством перевальцев Глинка был в самых приятельских отношениях, но в организационной работе «Перевала» непосредственного участия не принимал.

ГЛЕБ ГЛИНКА.

ВСТРЕЧА

Впервые я услышал имя Антипа Ершова от загорского художника Ивана Ивановича Овешкова.

— Вы знаете богородских резчиков, — сказал он, — эти мастера безукоризненно владеют ножом и стамеской, но вам еще необходимо познакомиться с Антипом Ершовым. Это топорник из лесного Семеновского района. Более высокой техники топорного мастерства вы ни у кого сейчас не найдете.

И слово топорник, и фамилия Ершов ассоциировались с лохматым человеком, в седой, курчавой, как львиная грива, бороде которого застряли древесные стружки. В моем представлении всклокоченный Антип стоял посреди поверженных бревен с блуждающим взглядом голубых, выцветших глаз и, точно на пожарище, размахивал в воздухе топором.

Увидеть Антипа Ермилыча мне пришлось в декабре тридцать пятого года в городе Горьком на выставке хохломских и городецких изделий. Здесь, на слете мастеров Горьковского края, собрались преимущественно художники народной росписи. Из резчиков присутствовал один Ершов.

Неслышно ступая по паркету, он вошел в залу. В нем не было и следа взъерошенности, не оказалось у него ни голубых глаз, ни размашистых движений. На нем — длиннополый, коричневый, старого покроя и очень добротного материала пиджак. Он костляв,

худ и по-стариковски поднимает плечи. Голова его как бы облита черными, длинными и прямыми волосами, которые переходят в маслянистую, растущую от самых скул бороду. Древний раскольничий лик перерезан чертой густых бровей. В провалах глазниц искрится темный проницательный взгляд.

Я подошел поздороваться. Ершов подал костлявую широкую руку и раздумчиво произнес:

— Здравствуйте.

— Как жизнь, работа? — осведомился я.

— Вот, видишь, на завещание нас вызвали. Хотят премии давать, — сообщил он. Затем бесшумно шагнув вплотную ко мне и, таинственно озираясь по сторонам глубоко запавшими карими глазами, он зашептал: — Ну, как, глядел ли мои вещи?.. Тут они стоят. Только лачены*) под Хохлому и виду в них настоящего нету...

Осиновых драконов Антипа Ершова, его ковши с конем-зверем, которого держит на деревянной цепи монументальная фигура ездока, его женщин у колодца с подвешеными к коромыслу на таких же деревянных цепях ведрами, его традиционные братины, ендовы, скабкари и причудливые уполовники знают не только у нас в Союзе, но и далеко за рубежом.

Об Ершове писал в «Правде» Михаил Кольцов. В «Наших достижениях» был о нем очерк Е. Вихрева. Ершова приглашал к себе в гости Максим Горький. Бородатый облик знаменитого резчика украшает программу, изготовленную к последнему совещанию мастеров хохломской росписи, созванному в Москве...

Древний центр щепного промысла, родина деревянной ложки и ковша — Семенов — оказался крохотным, почти, игрушечным городком. На централь-

---

*) Покрыты лаком из густой олифы.

ной площади его громоздится недостроенный Дом культуры и возвышается ажурная, на подобие Эйфелевой башни, пожарная каланча. От каланчи лучами расходятся во все стороны опрятные улицы. Вплотную к городу примыкает узкий и длинный поселок Хвостиково, а вокруг города, за огородами и полями — кольцо сплошного, подернутого дымкой леса.

Мне рассказали, что Антип Ершов сейчас дома, у себя в деревне Деяново, в трех километрах от города, и что у них в Ложкосоюзе объявился недавно новый мастер со Взвоза — одноглазый Исаак Абрамов, и будто ничем он Ершова не хуже, и хотя много моложе, но, должно быть, Антипа перекроет в работе. Рака сделал Исаак такого, что Ершов совсем огорчился и три дня ходил мрачный, а потом тоже рака принес. Но у взвозовского все же рак получился лучше, потому, дескать, Абрамова вместе с Ершовым в Москву во Всекопромлессоюз вызывали на совещание и обоим наравне дали в премию по пятьсот рублей. Мне советовали обязательно съездить к Исааку Абрамову, — хоть это и подальше Ершова, но тоже недалеко, всего за восемь километров, на берегу Керженца, деревня Взвоз.

В одно из своих свиданий с Антипом Ермиловичем в Деянове, я спросил, как расценивает он работу Исаака Абрамова.

Мы сидели в тесной избе Ершова. Он был в очках, в черной косоворотке и сосредоточенно резал огромным остроконечным ножом осиновую цепь. А за его спиной, на бревенчатой стене, покоились увесистые, хозяйственно запасенные на зиму, вязанки репчатого лука.

— Про взвозского ничего не стану говорить, хороший мастер, — сказал Ершов, — только у его рака усы склеёны, приставные, а я сделал самородны, из цельного куска и вверху все вырезал по природе, а

под низом, конечно, ни к чему делать природу. Я на Сановку ходил за раком, измок весь, не поймал ничего. Уже к вечеру зацепил одного махонького. Он у меня попортился за ночь, дух от него — бросить только. К чему, думаю, ловил на Сановке, а в расчет не взял, что в пивной он всего десять копеек вареный... Но мне только форму снять, чтоб по природе. Я эдак раз по лавкам ходил. Придумал вырезать ковш с рыбами. Спрашиваю окуня, либо сорожку. Хоть солёну, а достать требуется...

В очках у Ершова вид весьма академический. Прямые гладкие волосы спадают к самым бровям. На фоне бороды, в узловатых пальцах, зажат осиновый брусок еще не рассыпанной цепи. На расспросы отвечает он скупо и, будто нехотя, сообщает мягким певучим голосом, что ему теперь шестьдесят шестой год, что до двенадцати лет работал уполовники.

— Я пока не женимый был, в балагане на Нижегородской ярмарке играл на гармони, слух у меня имелся хороший... И тут насмотрелся я всякого елименту и разгадал все ихние секлеты...

Полный суровой мечтальности, он смотрит куда-то вдаль, за пыльные стекла окон, где холодный осенний дождь сечет облупившиеся жерди забора.

— При Миколае я определился в казенны лесники. Годов мне было — что-нибудь двадцать пять. Обход тут же у Деянова. Получал двенадцать рублей в месяц. Ну, через водку беда получилась, потому и сам лесничий, и объездчик тоже выпивать могли доотказу. Мужики у нас клейма украли, да и наклеймили чуть не сорок дерёв. Гляжу, пропадать мне за такую историю... С этого стал я умственно задумываться. Был в Семенове купец Пирожников, на него работали старики: Чуркин из Деянова, Ложкарев из Колоскова, да Иван Сергеевич Музжухин — первый мастер был по ковшам. Я у него поучился и тоже

Пирожникову сдавал года три. А потом заболел Пирожников; ему три-перацию сделали, но не угадали. Он жить-то и наплевал. А нас доверенный его Буреничев еще крепче притеснять стал ценой. Я у конторщика и выведал: «Скажи, мол, мил человек, куда хозяин представляет их, наши-то вещи?.. Тот парень был простодушный: так говорит, и так, «отправляет к Троице-Сергию, Миките Миронычу Митрейкину, у того своя мастерская имеется. Там отделывают и полируют ваши ковши». Неграмотный я приехал в Сергову Лавру, в Загорск по-нашему, и тут же разыскал Микиту Мироныча... Только смотрю, положения мне настоящего нету. Подобрал он меня к рукам, а заработком обижает, жмётся. И тут случилось, что на улице Вифанке, через чайну, познакомился я с одним хорошим мастером. Тот свои поделки носит прямо к художнику Владимиру Ивановичу Соколову. Я тут хитрость сделал и обманул Митрейкина. Теперь, значит, Соколов мне стал давать образцы старинных ковшей, и по чертежу работал я для него. Говорил он, чтоб пусть меньше, но лучше старался сделать, воспитывал. Потом я каждый год стал ездить в Сергиев. Бартрам художник тоже давал мне листки и чертежи... Тонко я вызнал все заказы: Соколов расставит, бывало, образцы, а я ему отберу: «вот, мол, эти не пойдут». Удивляется: «почему?» — «Знаю». Так и выходило по моему слову. Пятнадцать лет Владимир Ивановичу носил ковши, больше никому. А Владимир Иванович Соколов был поставлен на это дело от Саввы Морозова. Огромадные тыщи в банке имел Морозов... Я и в Кудрине бывал. Перенял там круглу резьбу и геметрическу. Искусственно могу резать. Вот выборная резьба затруднительна... Я и сейчас стал бы выборной разделывать ковши, но полировать не научился, только на пятьдесят процентов могу. В Кудрине хорошо

стали полировать, я смотрел. Может я и смог бы, ну нет у нас в Ложкосоюзе этого естества для полировки. Всё велят шкурить под Хохлому. А геметрическа са́ма проста резьба, у меня старуха может резать геметрическу.

Антип Ермилыч снова склоняется над осиновым бруском, размечает его поверхность огрызком лилового химического карандаша и молча зарезает первые членения будущей цепи. За окном смеркается, и хозяйка Ершова, Марфа Захарьевна, бережно снимает стекло с подвесной керосиновой лампы.

Я жду, не расскажет ли Антип Ермилыч еще что-нибудь. Но он усиленно работает огромным, как косарь, ножом и молчит. Мне хочется выяснить отношение Ершова к лесу, и я спрашиваю:

— Когда лесником служил, наверное, охотой заниматься приходилось, Антип Ермилыч?

— Давали мне ружья, — кивает Ершов, — стрелял, стрелял, не умею... Зашиб пичужку махоньку и сжалился над раненой птицей. Больше в руки не брал ружья... Зато за грибам против меня никто не может. Рыжиков едал ли в этом годе?.. То-то! Не уродились рыжики, а у меня цельна кадка их засолена, потому я один знаю, где их найти сухим годом. Рыбой я тоже интересовался. На Сановке у нас называется жужелевский омут. Пять человек сидят попусту, а я один подергиваю.

— Марфа, — обращается он к хозяйке, — ты рыжиков принеси гостю, первый по вкусу гриб рыжик соленый, с лучком, с конопляным маслом.

На столе появляется самовар и плошка с солеными грибами. Некоторое время мы занимаемся рыжиками и пьем густой чай. В чае Антип Ермилыч знает толк и признает только самые высокие сорта.

— Курить вот набаловался, — говорит Ершов, — до шестидесяти лет не куривал, а тут взял в при-

вычку. Раньше по старой вере не курил. Сейчас отстал от старой веры и к новой не пристал. Хозяйка по новой вере, а я, значит, нигде.

Антип Ермилович поднимается и достает из кивота пачку стертых фотографий. На фотографиях установлены рядами его ковши, ендовы и скобкари.

— За свою жизнь я боле тыщи штук переделал разных. Один не сделал, а о другом думаю, чтоб придумать первый выпуск... Не влечет к деланному-то. Всю жизнь не сплю. Все умственно задумываюсь, чего бы сотворить... С картинки не хочется, а вот бы из природы снять, с реки.

Ершов оживляется и путанно рассказывает о своих, созданных для удивления ковшах «огромадных» с медведем и бояриномй, где, при помощи гусиного пера и кнопки, медведь подавал голос. За этот двухаршинный ковш при Николае ему хотели определить золотую медаль, но медаль для него не представляла интересу, и потому он попросил деньгами и тут же в одни сутки прогулял все сто пятьдесят рублей. Были у него ковши и с шестью язями, и еще был ковш с двумя халупами, колодцем и скворешником, на котором «самочка махонького червячком кормит». Тут, умильно улыбаясь, совал Антип Ермилыч себе в рот заскорузлый, согнутый на подобие червя палец, пытаясь изобразить, как это она кормит махонького.

— Много я за свою жизнь обучил народу, — говорит он, — если теперь выставки будут каждый год, то пойдет это дело у моих племянников, у молодых Углановых. Потому они через выставки друг перед дружкой тянутся...

И как бы устыдившись своего возбуждения, Антип Ермилович принимается яростно ковырять цепь. Строго взглянув на меня, он поучает:

— Ты на чепь смотри. В Москву приедешь — расскажешь, как чепь делать из цельного куска, чтоб

не склеена была нигде. Вот сейчас рассыпать буду ее. Понимаешь ли теперь?..

Я робко признаюсь, что понимаю и, пожалуй, теперь сам сумею вырезать такую цепь.

— А я что говорю. Кому покажу — всякий сделает. Ты вот первый бы придумал это умственно, а покажу, конечно, сделаешь... Хоть не сразу, ну помаленьку. Я сам сначала только по два кольца в день делал. Теперь по тридцать колец могу.

Известно, что подобные деревянные цепи на ковшах резали в Монголии, но я молчу, понимая, что Ершов никого не повторял, а, действительно, сам изобрел уже существующую, но невиданную им цепь.

— В Сергове резчик Александров смотрел мою чепь. «Ничего, говорит, не могу сказать». Семьдесят пять резок у него, а у меня всего четыре, и отказался понять, — победоносно повествует Антип Ермилович. — Оставь, говорит, мне ее до завтра». Утром прихожу, объясняет. «Вот как ты её сделал»... Правильно, мол, а ты как дошёл?.. Он признался, что мочил чепь и по слоям дошел, а не умственно. Я вот и в Москву отвез чепь, сто колец, бесконечну. Сама в себе замкнута и вся из цельного куска. Уж эту, если не скажу, не догадается ни один. Бесконечну сделать — это самая хитрая работа.

Антип Ермилович начинает бережно пропиливать, разнимать звенья, уже принявшей скульптурную форму цепи. Это и значит на его языке — рассыпать цепь. Я с большой осторожностью поднимаю вопрос о смысле этих цепей. О том, что, быть может, не обязательно тратить столько времени на любопытную забаву, не имеющую прямого отношения к его художеству. По ковшам он первый мастер, а тут интересный трюк, фокус и только. Ведь сам же он утверждает, что если показать, то любой сможет вырезать такую цепь, тогда как ершовский ковш не повторим...

Антип Ермилович, повидимому, не собирается возражать. Некоторое время он продолжает зачищать ножом аккуратные звенья цепи. Затем откладывает работу и снимает очки. Он искоса взглядывает на меня и тотчас отводит в сторону глубокие темные глаза. Ершов вообще избегает смотреть в упор на собеседника и только изредка метнет зрачки, как бы вскользь, но такая мгновенная встреча с его глазами всегда значительна. И сразу понимаешь, что сейчас он обязательно скажет что-то главное, без чего никак невозможно понять ни цепи, ни ковша, ни самого Антипа.

— При Миколае дело было, за Москвой в Сергове. Лет сорок уже было мне... Через свою работу сшибался с ума, — говорит он. — Сну не было. Пища не шла. Стал сшибаться. Только выплатили мне за ковши полторы сотни, всё серебряным рублям. Билет тоже был выправлен у меня третьим классом до Нижнего. А я сшибся и пошел пешком по шпалам, от Сергова на Москву. Ночь была, июль месяц. Иду, оглянусь, и видится мне толпа. Соображаю, убить меня хотят. Стал откупаться. Положу рупь серебряный на рельсы, поспешаю дальше. Оглянусь: идут они опять. Так все сто пятьдесят новеньких разложил, сам бегу. Неужто, мол, не отстанут?.. И откупаться дальше нечем. Тут в понятие вошло, что за струментом это они. Поставил им корзину, весь свой струмент, отбежал шагов сто, смотрю — отстали. Дошел до станции Пушкино, взял ручку семафора, как рвану!.. Сломал. Сила во мне была в то время огромадная. Забрали меня. Видят, пачпорт в порядке, а я не в себе. Вернули в Сергов, а оттуда в сумасшедший дом. Сейчас помню, какая тоска находила, мечтал, хоть бы нож, либо в петлю. Три месяца отсидел в сумасшедшем доме. Найдет тоска со всего вольного свету, куда деваться?.. Тайком оторвал кромку от одеяла, заделал петлю и скорей в уборную давиться. Смотритель за мной,

а я ухватил чугунну пластинку, в уборной была такая пластинка для прикрытия, вроде гирьки, в лоб ему тюкнул. Прошиб голову. Меня скрутили в одеяло и начали валять. Уму непостижимо как остался жив. Но сделался смирный. Подержали еще столько-то и выпустили домой. Пить не велели совсем.

Дома, в Деянове, крошки хлеба проглотить не мог. Днем ничего — тихо, а к вечеру слышу голоса, вызывают меня, ухват от печки возьму и на улицу. Ударю по телеграфному столбу, загудит столб. Мне представляется, что сигнал подают, будто тридцать тысяч мне пришло в банк, в Семенов. Приду, постою, и обратно в Деяново. Много чудил. С десяти часов вечера и до утра разговаривал с котенком, молоком поил его и в Семенов брал с собой в сумке. А потом вижу он тоже восстал против меня. Курицу не зарезывал всю жизнь, а котенка убил и на крыше подвесил к трубе. И с этого стал ночью топор класть при себе. Отец с матерью позвали кузнеца. Пробой вбили в стену и посадили меня на чепь. Сами ушли в другую избу. Шесть недель просидел я на чепи. Знахарь ходил читать надо мной и масло мне давали пить постно, начитанное. Корову пролечили. Ну, соображаю, что читал он за-зря, а масло стало смягчать меня, потому жил не емши. Засмирел я совсем и через шесть недель стал просить, чтоб дали мне нож. Потянуло на свою работу. И как первый ковш сделал, чувствую, вошел в разум... Более двадцати лет прошло с того времени и бросил я пить водку. Для компании выпивать могу, а пить бросил совсем...

В Семенове я прожил целый месяц. Подлинная хохломская роспись, — конечно, не та модернизированная, которую мы видим в табачных магазинах Москвы, а истинная народная травка и ягодка, — чарует всякого, кто знает работы Кузнецовой, Красильникова, Подоговых и многих других искусников кисти. И совершенно замечательно, что в самом Семе-

нове почти всё основное население города состоит из художников Хохломской росписи. Недавно открыт здесь хороший музей кустарных изделий. Серьезно работает молодежь профтехшколы. Но, к сожалению, хохломская роспись диктует свои непреложные законы не только мебельщикам и токарям, а также резчикам. Среди семеновской молодежи были мастера плоскостной геометрической резьбы, сейчас они оказались не у дел и перешли на роспись. С последних ковшей Антипа Ершова совсем исчез резной орнамент, всё здесь для Хохломы и под Хохлому.

В Ложкосоюзе я видел несколько вещей Абрамова, резанных из мореного дуба, но оказалось, что теперь ему предложено снова перейти на осину и тополь, подчиняя свои творческие замыслы основному заданию — резать белье под окраску. А Исаак Абрамов прежде всего интересен своими исканиями. Он далеко еще не первоклассный мастер, но, несомненно, у него какой-то свой, пока еще не окончательно определившийся путь. Родовые традиции в его работах чувствуются меньше, чем у самых молодых деяновских ковшечников, но спасает выдумка и темперамент. Когда я навестил его чистенький домик, Абрамов резал крокодила.

Метровый крокодил с брюхатым долбленным со спины в виде вазы или ковша туловищем злобно сгибал несоразмерно короткий хвост и зубастой разинутой пастью заглатывал неведомого мне зверя, который откормленными, торчащими из пасти крокодила окороками скорее всего напоминал иоркширского поросенка.

Низкорослый, слабогрудый Абрамов присел на корточки. Плечи его опустились, бледное бритое лицо, изъеденное оспой, вытянулось, единственный серый глаз смотрел растерянно и, казалось, мастер был испуган собственным произведением.

— Сам я не видывал крокодила, — говорит он, — когда был в Москве, нарочно ходил в зоопарк и не нашел его. А поглядеть бы надо. Я своего из книжки снял, с рисунка. У детишек книжица такая есть. Про охотничьи выдумки, для смеху. Как, значит, Мюнхгаузен ото льва спасался, да напхнулся на крокодила, сам в сторону, а лев и заскочил в крокодилову глотку.

— А лев у тебя сытый получился.

— Это пока хвост не вделан. Хвост приделаю, тогда выйдет похоже на льва, — невозмутимо отвечает Абрамов.

Исааку Тимофеевичу Абрамову тридцать семь лет. Он сын ложкаря. В юности делал ложки. Ковшами взвозцы не занимались. Потом отстал от ложкарного дела. Года три был лесником и вот недавно начал резать — сразу поразил руководителей Ложкосоюза своим раком из мореного дуба.

Голова Исаака Абрамова острижена коротко, по-мальчишески. Волосы пыльно-пепельного цвета. На нем москвошвеевский костюм. Он неуверенно тычет пальцем в долбленную утробу крокодила и говорит о просушке тополя.

Делаем из сырого, мягче он, сырой, а как сушить поставишь, гнет его. Дуб гнет с коры на сердце. Осину и тополя загибает от сердца к оболони.

Из-за печи выбираются два мальчугана, сыновья Абрамова, белоголовые, круглые и краснощекие. Одному пять, другому семь лет. Они останавливаются перед отцом, сидящим на полу, и скептически смотрят на крокодила. Младший со вздохом произносит:

— Сделал незнамо что.

— Ну, ну, ступайте гулять, — ворчит Исаак.

Он поднимается, открывает застекленный шкаф и сует ребяткам конфекты. Избавившись от малолетних критиков, он говорит о мореном дубе. По Керженцу много мореного дуба. Только пилить его трудно. Целиком не откопаешь и приходится пилить под

водой. Пилу для такой работы нужно насаживать на длинные рукоятки. Резать из дуба тоже мудрено. Крепкий он и скалывается легко.

Потом Абрамов надевает ватный пиджак и ведет меня смотреть Керженец. Переходим через улицу, — и тут же за банями река. На противоположном берегу грива мощных сосен. Ясное холодное небо. В стылой, будто раздетой воде Керженца дрожит отражение сине-зеленых хвойных вершин.

Гудят керженские сосны. Над ними бегут разорванные облака. Абрамов кутается в ватный пиджак, плотнее напяливает на уши кубанку. Правый глаз его мутен, незрящ, с детства выеден оспой, в левом стоит напряженный, крохотный, как дробинка бекасинника, зрачок. И от реки, от неба живой глаз кажется синим.

— Антипов ковш с язами видал? — спрашивает он, бойко прицеливаясь в меня дробинкой бекасинника. — С моего образца он снял его. Я первый сделал такой. И рака тоже с моего фасона.

— Зато и ты наверно поучился у него?

— Я ни у кого не учился. До всего я дошел своим умом. И грамоте меня не учил никто. Только показали буквы, разобрался — и теперь грамотный. Лесником был, сам планы чертил. Покажу тебе, все делано по масштабу. А Ершов мне крошки не показал, и ковшей его я не смотрел. Мне у него учиться не приходится. «Чепь, секлет» — передразнивает он Антипа, — до старости дожил, а грамоты не знает, А да Е может. Цепь я не делывал, но примусь и вырежу, какую хочешь. Хвалит он себя много, а сам, как не справный портной, по меточке...

Я возражаю Абрамову, говорю о подлинной культуре народного художества, о традициях и родовых навыках, которыми силен Антип Ершов. О том, что никакая выдумка не спасет Абрамова, если захочет он сделать настоящую ендову или братину. И что де-

ло тут вовсе не в самих цепях, а в тех творческих муках, которые заставляют Антипа не спать ночи и «умственно задумываться».

Керженец мрачно смотрит на нас глазищами своих водоворотов. Мы повертываемся спиной к Керженцу и направляемся в мастерскую токаря по дереву Терентия Михайловича Тарасова.

Несколько раз навещал меня Антип Ермилович в семеновской гостинице. Вместе мы бывали в музее и в артели. Не раз обедали в ресторане. За пельменями, за стопкой водки, которую Антип Ермилович неизменно требовал «по-московски, пятьдесят граммов либо сто», беседовали мы о самых различных предметах. Временами, особенно, когда к нашему столику подсаживался кто-либо из моих новых приятелей, Ершов начинал неудержимо хвастаться. Но бывали у него и лирические минуты, тогда он признавался, что всё, им созданное, никак не удовлетворяет его как мастера, что его главные замыслы еще впереди, и что это ему не дает покоя по ночам. Рассказывал он и о делах семейных. Жаловался на зятя. Не работящий оказался зять, приходится помогать дочери. Часто вспоминал Антип Ермилович внука своего малолетнего Ванятку и каждый раз покупал для него пряники.

К семеновскому ресторану, который радовал меня своей благоустроенностью, Ершов относился критически. Уставившись темным взглядом из-под нависших бровей на розетку с горчицей, он говорил, что в Москве такого дела не допустят, чтобы горчицу подавать открытой. Потому пыль может сесть. Неаккуратно.

После двухсот граммов водки он оживился и вспомнил, как в позапрошлом году он снова приезжал в загорские края. В Кудрине обучал молодежь ковшечному делу.

— Пять месяцев прожил там и платили мне зря много. Шестьсот платили в месяц. Мне в Кудрино письмо прислал Горький, чтобы к нему приехал обязательно, и адрес прописан был. Прочитали мне письмо, а я попросту положил с конвертом на окошко, кто-то и прибрал его к рукам. Остался я без адресу. Ну знаю, в Москве всякий объяснит — где Горький квартирует. Только тем временем не удосужился срядиться к нему. Все думаю, для Максима Горького надо ковш сделать, какого не было. Потом слышу, помер он. Так и не пришлось поглядеть...

Я спросил Ершова о Богородской промартели. Оказалось, что он ни разу не побывал там, но о резчиках богородских слышал и вещи их видел в Загорском музее.

— Побывать не пришлось. При Миколае мечтал, хоть тайком как-ни-то. Живность делают хорошо. Поучиться можно. На ковши в аккурат бы пришлась их живность.

Я сообщил Ершову, что давно ведутся в наших журналах разговоры о встречах народных художников для обмена опытом. И уж резчикам-то, мне думается, совершенно обязательно знать друг друга поближе, а не только по наслышке. Тут же мы с Антипом Ермиловичем порешили устроить в ближайшее время знакомство семеновцев с богородчанами. Я советовал для первого визита собраться втроем или вчетвером. Конечно, прежде всего, Ершов, затем Абрамов и еще одного или двух из молодежи. Антип Ермилович одобрительно кивал головой, но под конец, как бы между прочим спросил:

— А может, все же, лучше мне одному побывать в Богородской?..

В Москве председатель правления Всекомпромлессоюза Викентий Михайлович Калыгин обещал органи-

зовать поездку семеновских ковшечников к богородчанам. Он напишет письмо с вызовом мастеров в Москву и договориться с Союзигрушкой о встрече в Богородской промартели.

Казалось, все было улажено. Но прошел месяц, другой, прежде чем Ершов, Абрамов и молодой деяновский ковшечник Угланов появились в Москве.

Вечером семеновцы были у меня и пили чай.

— Номера в гостинице не достали нам, будем ночевать в кабинете Калыгина, — сказал мне на прощанье Абрамов.

В десять часов утра мы должны были встретиться на Северном вокзале.

Едва я вышел из вагона метро, как увидел всю семеновскую бригаду в полном составе.

— Нравится метро? — спросил я Антипа Ермиловича, заметив, как жадно он бросает свои косые взгляды по мраморной облицовке стен.

— Умственно сделали, — закивал Ершов. — Больно гоже умудрились.

В поезде мастеров клонило в дрему. Абрамов совсем клевал носом. Оказалось, что ночевали они на улице.

— Очень просто получилось. Не достучались мы, — пояснил Угланов, — Видно, заснул сторож. Стучали, что есть мочи, и пропуск имелся у нас. Пришлось мерить Неглинну улицу до семи утра, а вернуться к тебе постеснялись.

Угланов рослый, темноволосый, с крупными чертами лица. Ему двадцать семь лет. Он племянник Ершову по жене. «Выученник мой» — рекомендовал его Антип Ермилович.

— Промерзли, должно быть?

Ершов вздохнул и тревожно зашептал, склоняясь к нашей скамейке:

— Мороз был невелик... Одежда справная, и чесанки, и полушубок, все ладно бы, да припаиваться

начали жулики к нам. Сообразили, что из деревни мы. «Прикурить дозвольте», обхаживают, смотрят, как чего попользоваться от нас. Пьяным один прикинулся, заводит разговор, а сам стреляет глазами. Видим дело обертывается опасное. Подались к трамвайной остановке. Абрамов с Михаилом на трамвае все же покатались, а я так и дежурил у фонаря.

От Москвы до деревни Богородской всего каких-нибудь девяносто километров. Но дорога длинная. В Загорске пересадка на заводский поезд. А от завода до деревни еще семь километров.

Мы выгрузились у заводского вокзала только к пяти часам вечера. Шли долго по заснеженным тропинкам над замерзшей рекой, и уже в сумерках карабкались на крутую, поросшую кустарником гору перед самой деревней.

— Что-то не вижу я здесь большого лесу, — рассуждал Абрамов. — Наш Антип все хвалил, что под Загорском лесу много. Дескать, что ваши семеновские леса, вот в Загорском лес, так лес.

На утро решили собраться в чайной, это будет первое знакомство мастеров, беседа за чашкой чая, предваряющая совместную работу. Семеновцы приехали сюда не для одних разговоров. У них с богородчанами прямое и самое крепкое родство, кровное родство по мастерству. Резчики разных районов, едва знавшие друг друга по наслышке, веками работали в своих углах над одним и тем же материалом. Художественный и технический опыт накапливался параллельно, но ни разу в истории народного искусства не произошло непосредственного соприкосновения этих двух однородных промыслов. И если в дореволюционное время Антип Ершов сумел как-то вырваться из паучьих лап местного воротилы Пирожникова и пробраться в Сергиев, то это было делом его собственной одаренности и смелости, личным подвигом. А деревня Богородская, до которой от Сергиева не многим боль-

ше двадцати километров, до наших дней оставалась его несбыточной мечтой.

Ершов приехал выведать все особенности богородской резьбы, он не пропустит ни одной технически полезной мелочи. Угланов твердо решил поучиться у здешних мастеров, и даже Исаак, который постоянно гордится, что никогда он ничему и ни у кого не учился, внимательно прицеливается своим единственным глазом, исподтишка соображая, чего бы перенять поскорее и не отстать бы от наблюдательности Антипа и молодой прыти Угланова.

— Поработаем здесь дней хоть пятнадцать, пусть они поглядят, как делать ковши, может и пригодится им, а нам все же интересно живность у них перенять. Их работа тоньше, потому что струмент много деликатнее нашего, — оправдывающимся тоном говорит Абрамов.

Но руководство Промколхоза никаких уведомлений из Москвы не получило и потому ко встрече относится с величайшим равнодушием. Председатель Казанов уехал в Загорск, а заведующий производством Василий Петрович Пучков полон собственного достоинства, не хочет пальцем шевельнуть для этой нелепой, по его глубочайшему убеждению, затеи. Пучкова я хорошо помню. Белесый, плотный, с соломенными усиками и с самодовольным широким подбородком дельца, он все тот же, деревянный, напыщенный, скучный, давно претерпевшийся к неполадкам и недочетам артели. Он пересидел здесь не один десяток председателей, насчитывает двадцатилетний стаж, но знает только товар и с олимпийским спокойствием относится к живым запросам мастеров. Годовой план артель сейчас вывозит только на серой игрушке. Хотя, по какой-то неведомой самому Пучкову инерции, некоторых лучших художников еще пытаются совершенно искусственно удержать на высоких образцах. Им просто не дают резать рядовой товар. Но проку в этом

мало. От подобных установок квалифицированные мастера теряют в заработке и вынуждены вместо двух лошадей в день делать четыре. Таким образом, сегодняшние звери, фигуры и птицы вырождаются с катастрофической быстротой. Но как бы ни старался тот же Пронин «хламить» своих зверей, он не в состоянии догнать молодежь, которая зарабатывает в два, в три раза больше на головке шахматного коня или на кузнецах, где высокая квалификация совершенно не обязательна. В результате лучшие мастера бегут на сторону. Распыляются по другим районам, уезжают в Ленинград, работая там не по прямой специальности, занимаясь той же головкой шахматного коня, которую не дают им резать у себя в артели, они, по крайней мере, обеспечены хорошим гонораром. Шахматные артели Наро-Фоминского района взяли к себе богородчан на высокий оклад с тем, чтобы они выучили местных токарей делать коня. А молодежь, окончившая богородскую профтехшколу, тотчас бросается на серую игрушку, и вскоре теряет приобретенную технику, так как практически она оказывается бесполезной в их чисто ремесленном труде.

Богородский склад завален серой игрушкой. Тут — выродившиеся до неузнаваемости кузнецы, молотки которых не попадают в наковальню, а фигуры — своим бесформенным обликом похожи на Василия Петровича Пучкова, головки шахматных коней, утерявшие все пропорции; упряжки с розвальнями, сляпанные из грубо обтесанной лучины; птицы — неряшливые и зашкуренные, точно склеенные из теста, и очень немногочисленный ассортимент животных, носящий порочные следы великой спешки. На складе нет ни одной тщательно выполненной игрушки. Что же найдут здесь семеновские мастера, где тут хваленная богородская живность?!

— Лучшие образцы посмотрите в шкафу, в конторе, — лениво советует Пучков.

Но в застекленном шкафу, в котором еще два года назад хранилось несколько вещей покойного Андрея Чушкина, и тут же стояли лучшие работы Пронина, Ерошкина и Бобловкина, — произошла полная смена экспонатов. Здесь, среди случайных поделок местных мастеров, красуются образцы, созданные в поучение Богородску городскими скульпторами Баландиным и Стуловым. Оба эти художника были когда-то питомцами богородской профтехшколы, но они давно отошли от породившего их искусства и теперь у каждого свои искания и свои заблуждения. Их вещи, сделанные специально для артели, стилизованы под богородскую манеру, но в них нет подлинности, самобытности. Они не типичны ни для самих авторов, ни для богородчан и только группа колхозников на раздвижных планках, резанная по композиции Стулова, постепенно подчинилась богородским навыкам, и в последних своих вариантах выглядит характерным произведением Николая Андреевича Ерошкина.

— Куда же исчезли образцы Чушкина?

Пучков недоуменно пожимает плечами:

— Надо полагать растащили приезжие.

В чайной все готово для встречи гостей. Столы сдвинуты и накрыты клеенкой. В глубоких тарелках расставлены нарезанное сало, колбаса, печенье и конфекты. За стойкой у вместительного кипятильника хлопочет толстый буфетчик.

Из богородчан первым приходит Барашков. Угланов берет его за локоть, и они садятся в дальнем углу. Они говорят вполголоса, и до меня долетают только отдельные слова.

Барашкин заведует общей мастерской. Он ровесник Исааку Абрамову, но выглядит много моложе. У него толстые губы, он черен, как цыган. Барашкова я помню по первому приезду в Богородскую. Он на-

стоящий мастер-фигурист. Здесь у резчиков существуют свои специальности. Зверисты занимаются животными и зверями. Птичники разводят деревянный курятник: петухов, кур, цапель, цесарок, орлов, голубей. И, наконец, фигуристы делают преимущественно человека. Но все эти деления, разумеется не окончательны. Хороший мастер режет и лошадь, и всадника с одинаковым знанием дела.

— Старики у нас не идут в общую мастерскую, остались надомниками, — сообщает Барашков, — мы два стола уберем и поместим вас, а своих лучших резчиков можно будет тоже на эти два дня подсадить к вам. Совместно поработаем.

Затем появляется старик Бобловкин, и я замечаю, как постарел он за эти два года. Он худ и высок. Ему теперь уже восемьдесят пять лет. Его длинные, с сильной проседью волосы и мягкая курчавая борода празднично причесаны. Он ласково оглядывает всех и приветливо двигает пушистыми бровями.

— Наш знаменитый птичник, — рекомендует его Барашков.

Постепенно комната наполняется народом, к сожалению, мастеров мало, зато счетные работники и служащие конторы присутствуют в полном составе.

— Но где же Михаил Александрович Пронин, лучший богородский мастер, творец знаменитых троек?

— Я видел его в дверях, — говорит кто-то, а потом Антип Ермилыч к нему вышел и оба куда-то исчезли.

Минут двадцать мы ждем Ершова и Пронина. Все расселись по местам. Пришел и взъерошенный глухой старик Ерошкин, фигурист в перекошенных очках, над которыми премудро вздымается его сократовский лоб, обрамленный спутанной, как войлок, гривой желто-седых волос. Пришел застенчивый, сорокалетний сын Бобловкина, тоже птичник, и молодой инструктор школы Стулов, брат московского скульптора.

— Я сейчас их мигом разыщу, — бойко отзывается буфетчик.

И, действительно, не проходит пяти минут, как дверь распахивается, и у порога переминается Пронин рядом с Антип Ермиловичем.

— Проходите, не стесняйтесь, — покровительственно напутствует их буфетчик.

Знаменитых представителей двух различных школ народной резьбы усаживают рядом. Вот они опускаются на стулья против меня, и я вижу, что Пронин пьян. Он пьян окончательно. Его энергичный чисто выбритый подбородок отвис, глаза мутны, русые волосы встрепаны, под английскими усиками, в углу рта, выступает слюна.

Буфетчик пробует спасти положение стаканом крепкого чая, но Пронин валится в сторону на второй, услужливо подставленный стул и остается недвижим.

Антип Ершов гордо вскидывает черную бороду. Его глаза светятся разбойным блеском. Он сверху вниз поглядывает на поверженного друга.

— Меня в пьяном виде никто еще не видывал, не валялся я этак-то, — говорит он тихим, но явно торжествующим тоном.

— Зачем ты его, Антип Ермилыч, угостил? — укоризненно говорит Барашков. — Он и так выпимши был, а ты ему еще добавил. Теперь он три дня будет опохмеляться...

Но Ершов не чувствовал за собой вины. Он отвечает с едва заметной усмешкой.

— А я разве знаю, сколько человеку надо? Я не меньше его выпил, ну, видишь, не пьяный...

Абрамов возмущено шепчет мне, что это Антип нарочно сшиб его водкой.

— По старине привык так-то делать. Еще дорогой он нам с Михаилом толковал, что в первую очередь надо литр поставить мастеру, а потом уж тот

сам откроет все секреты. А какие теперь секреты: смотри да запоминай как работать... Весь секрет на виду.

Беседу должен открыть заведующий производством Пучков. Он встает, откашливается, и затем начинает медленно отжимать из себя никчемные культяпные слова о том, что надо оказать содействие, что люди все же приехали издалека... Кажется, что этой невразумительной речью он прежде всего лениво убеждает самого себя в том, что хоть пустяковину какую-то, а надо сделать, и не столько из уважения, сколько из страха перед Москвой.

Приключение с Прониным и пучковское выступление тотчас оказали свое действие. Все помрачнели и разговор никак не клеился.

Я слышу, как Барашков, кивнув на Антипа, говорит своему соседу:

— Старик-то у них похож на Емельяна Пугачева... Знаменитый, говорят, мастер...

Антип Ермилович совсем отрезвел и, повидимому, хотя он никогда не признается в этом, устыдился своего поступка. Он поднимается во весь рост. Все смотрят на Пугачева. И вид у него теперь на самом деле хмурый и властный. Всех окружающих мастеров он считает мелкотой. Ему равен один Пронин, но Пронин повержен и храпит тут же на двух сдвинутых стульях. Ершов медленно и торжественно вытягивает из брючного кармана длинную белую цепь.

— Вас здесь, скажем тридцать человек, — говорит он, — пусть будет триста, пусть три тыщи, и ни один не догадается, как сделать чепь из цельного куска. А скажу — любой вырежет.

Цепь идет по рукам. Цепь сразу спаяла интересы мастеров. Сначала осторожно, а затем все громче загудели голоса. Богородцы расспрашивают Угланова и Абрамова, перебивают один другого.

— Ты хоть бы причесался для такого случая, — кричит на ухо Ерошкину Стулов.

И сейчас же Антип Ермилович достает из пиджака гребенку, тянется к Ерошкину:

— На!

— Мне не годится такая, сломится враз, — усмехается тот. — Мне борону надо для моей шерсти.

Старик Бобловкин покойно повествует о том, как ему еще в третьем году дали на образец сороку и заказали приготовить таких.

Неделей мы с сыном сто четыре штуки выделали и везем в Загорск на базу. Я докладываю заведующему, что привез, мол, птиц. Он кивает: вали, дескать их в ящик. Я говорю не вывалить привез, а показать. Смотрю, а наш сосед той же неделей один четыреста сорок таких же штук вырезал, нахламил — смотреть страшно... А мне велят в тот же ящик свою работу валить и определяют нам всем по одной цене. Выходим обратно, сын меня и спрашивает: «Неужели, тятя, и мы с тобой не можем хуже-то сделать?».

— Сколько годов тебе? — хрипит Ерошкин, склоняясь через стол к Антипу Ермиловичу.

— А сколько думаешь?

Ерошкин примеряется, поправляет свои покоробленные очки:

— Десятков шесть есть ли?..

— Семьдесят девять мне, вот сколько!..

Снова все поражены. Но Ерошкин определенно не верит:

— Ты, должно, помоложе меня, а мне шестьдесят пятый пошел. Глухой я... одна нога в гробу.

— Чего поддаваться смерти. Не надо этого, — поучает Антип Ермилович.

Он достает паспорт и так же, как цепь, паспорт идет по рукам. Мастера читают: «год рождения 1858».

— Все выходит правильно, семьдесят девять лет ему, — с недоумением заявляет седой счетовод.

Я тоже удивлен. Сам же Ершов говорил мне, что

шестьдесят пять. Но я молчу, понимая, что здесь тоже какой-то «секлет».

Доходит очередь до Ерошкина. Ему передают паспорт Антипа, но он и глядеть не хочет.

— Мне ни к чему, что написали, а только я вижу, что быть того не может. У нас одной старухе, моих годов она, в паспорте тридцать лет поставили, так что же теперь ее замуж выдавать, значит?..

— Верно, — шепчет мне Исаак, — ему двенадцать лет приписали по ошибке.

Буфетчик всё больше проникается уважением к Ершову, он заботливо предлагает ему еще чашечку чайку.

— А чашечка-то у вас без ручки, — говорит Антип Ермилович. — Откололи ручку, и ладно...

Чаепитие окончено. Семеновцы пошли выбирать осину для своих ковшей. Я зохожу в школу. На место засидевшегося тут художника офортиста Быстренина, который насильно прививал ученикам почитаемые им образцы швейцарской резьбы, приехали теперь два молодых скульптора, только что окончившие московский техникум. Бурмистров сам был учеником богородской протехшколы. Его приятель по техникуму Барбаш родом с Украины. Оба они очень молоды, совсем юнцы, и продолжают усиленно работать над собственными композициями. Они откровенно признаются, что ничего еще не сделано ими для восстановления старых богородских образцов и что творчески помогать мастерам пока тоже не приходилось.

В лаборатории школы под руководством молодых скульпторов местные резчики — инструктора школы — создают новые образцы. Но все это сводится к тому, что вылепленную из пластелина тем же Бурмистровым лошадь с всадником весьма городского, даже мосторговского типа, они переводят в дерево.

Но для богородчан, привыкших с незапамятных времен работать непосредственно в дереве, не только не обязательны, а совершенно бесполезны подобные опыты. Копируют они с предельной точностью, и сделанный таким образом деревянный конь выглядит пластелиновым, в нем нет ничего от прирожденного знания дерева.

На мои возражения инструктор Стулов, который только что присутствовал на чаепитии, пожимает плечами:

— Но ведь невозможно создать ни одной композиции прямо в дереве.

— Хорошо, — соглашаюсь я, — но народному резчику пластелин может помочь в работе только как первый условный черновик, но зачем же точно копировать с пластелина, особенно вам, при вашем знании дерева. И уж поверьте, что Пронину пластелин совершенно не нужен. Попробуйте еще семеновского Антипа угостить пластелином.

Стулов молчит, но я чувствую, что он подавлен величием мосторговской скульптуры, не верит в подлинные богородские возможности и все мои высказывания принимает как еретические заскоки.

Директор профтехшколы Карцев примиряюще улыбается:

— Ну, что же говорить о мастерах артели! Конечно, они превосходно могут скопировать любую модель, но они сами не создадут ни одной законченной вещи. Мы по мере наших сил и материальных возможностей завели лабораторию, а артель даже не хочет отпустить к нам лучших мастеров. Мы сумели бы их подучить. У нас, видите, есть специалисты-скульпторы. Мы кое-что понимаем. Посмотрите, какие у нас успехи за последние два года. Мы своим коллективом создали чапаевскую тройку...

Директор продолжает перечислять заслуги школы. На лбу его выступает испарина. Глаза смотрят

близоруко через огромные стекла роговых очков. Он боится, как бы не забыть еще что-нибудь из своих достижений.

Он готов свести всех богородских мастеров на степень только копировщиков, и совершенно не признает за ними права творить свои вещи без указки городского художника. Но совершенно очевидно, что все вещи в лаборатории не имеют ни малейшего отношения к богородскому стилю. И что всем руководителям школы, и, прежде всего, молодым специалистам Бурмистрову и Бармашу, пока они не обратились в Быстрениных, нужно не учить мастеров в артели, а самим учиться у Пронина, и не только у Пронина, — у Ерошкина и Бобловкина. Пора, наконец, по-настоящему уважать народного мастера. Сейчас, приезжая в Палех или даже в Семенов и Хохлому, ни один самый крупный московский художник не решится сказать, что он приехал учить палешан или хохломичей. Почему же в богородскую артель, куда, к сожалению, не добирался пока ни один настоящий скульптор, все приезжают только поучать и каждый молодец на свой образец.

Директор опять пытается примирить все противоречия:

— Школа в ближайшее время займется народным конем. Школа изучит коня... Но на счет самостоятельных композиций вы зря... Мастера сами все-таки не смогут...

Вечером мы с Ершовым сидели у старика Константина Трофимовича Бобловкина.

Изба у них просторная, и живет в ней старик вдвоем с внучкой Шурой. Шуре шестнадцать лет, она рослая, славная девушка, По вечерам к ней приходят подруги и все вместе при электрической лампочке режут головки шахматных коней, а сам дедушка ра-

ботает только днем, глаза не позволяют при электричестве.

Антип Ермилович внимательно рассматривает его деревянных петухов. На птицах орнамент, — «писки», как называют богородчане.

— Почем тебе платят со штуки? — спрашивает Ершов.

— Их днем не сделать много, а всего идут по семьдесят четыре копейки.

— Ну, ясное дело, за такую цену не сделать лучше. Со старинного, говоришь, образца сняты они?.. Тебе надо из своей головы придумать, тогда цена будет другая. Ну, и это мало платят, куда тут за семьдесят четыре копейки, разве мыслимо...

Ершов искоса поглядывает на девушек. Потом со вздохом вытаскивает свою цепь.

— Вот вас здесь три красавицы сидят, пусть три тыщи будет, три мильона, и ни одна не догадается...

Константин Трофимович улыбается и, обращаясь к внучке, просит:

— Шура, найди-ка ему нашу проволочку-хитрость. Вот, — говорит он, передавая Антипу Ермиловичу головоломку, — тоже штука, сумей вынуть одно кольцо из другого.

Ершов несколько минут сурово ковыряет проволочную головоломку, затем молча откладывает ее в сторону.

— Не догадался? — добродушно смеется Бобловкин, — вот и вся твоя цепь тут. Как покажешь кому — сделает. Только первый раз мудрено кажется.

— А я что говорю? — кивает Антип Ермилович. И повертев в руках тонкую, как игла, стамеску, продолжает:

— Мне одно видать, при вашем инструменте можно вырезать чепь совсем мелку, как горох, и для медведя она у вас придется в самый аккурат.

Предсказания Барашкова оправдались. На другой день Пронин не вышел на работу.

В общей мастерской молодежь, как обычно, усердно режет игрушку. Только в дальнем углу обстановка изменилась. На полу, среди груды щепок, сидит Антип Ермилович, вид у него рассеянный. Он ковыряет пальцем трухлявые волокна большущей плахи и уныло сообщает, что изнутри никудышная оказалась древесина.

— Плохие здешние места, даже лесу нет настоящего... Вот в Семенове у нас лесу, что хошь... Непроходимые стоят леса.

Исаак Абрамов раскладывает на скамейке инструмент: топорик, два тесла, нож и круглый резец. Сверху вниз косит он на Антипа свой острый глаз.

— В Семенове? — ядовито переспрашивает Исаак. А чего же ты хвастал, что за Загорском лесу много?..

Но настроение у Абрамова тоже унылое. Что ни говори, а подходящего материала не видно.

Не сдается один Угланов. Он водрузил крепкий чурбак и подобрал небольшую осиновую плашку, зарубает торцовый ковш.

— Чего попусту сидеть, хоть мелких наделаю для показа. А ты придумал всё же какой-то исход? — обращается он к Барашкову.

Антип Ермилович совсем опустил голову. Скользкая черная борода его лежит на осиновой плахе.

Абрамов поясняет Барашкову назначение инструмента.

— Нож какой страшный, вроде свинокола, — говорит Барашков.

— Вашим ножом у нас не пойдет, сразу сломится, а этот для крепости, железный, и только наварен сталью. Мы смело работаем, как хочешь им верти. А тесло видишь, как поперечный топорик, и на конце полукругло на манер плотничьего пазника. Им нутро долбить у ковша, а потом дочищать резцом круглым.

У вас тоже этаких нет. Ну, зато нам тонких стамесок добиться негде.

Тут же у края стола примостился Ерошкин. Его левая нога повыше колена обернута тряпкой. К ноге он для упора прислоняет фигурку и тщательно охорашивает ее лезвием узкой покорной стамески. Разговор Ерошкин не слышит, для него надо кричать громко, потому что глухой он.

— Тоже обертывает ногу от пореза, — отмечает Исаак.

Антип Ермилович курит папиросу и мрачно философствует:

— Ноги-то не жалко, она заживет, а штаны кончишь.

Пока мы все изыскиваем возможности добыть подходящее дерево для ковшей, Михаил Угланов, виртуозно работая топором и теслом, успел приготовить два маленьких ковша — один плашковый в виде уточки — другой из торца с резным петушком; затем нарядный уполовник, простую ложку и еще уполовник. Все это в каких-нибудь пятьдесят минут. Молодые богородские резчики не могут усидеть на месте, они обступили Угланова. Уполовники пошли по всей мастерской из рук в руки. Девушки в полном восторге от уполовников:

— Это в хозяйстве вещь!..

— А мы-то вот и не догадались сами сделать...

— Попробуй, ты над ним проковыряешься целый день, а тут видишь специалиста...

К Угланову приковано всеобщее внимание. Его хвалят. Удивляются его сноровке. Он даже покраснел от смущения, но старается держаться с достоинством, дескать, все это пустяки, а настоящее наше призвание много выше.

Исаака явно начинает тревожить успех Угланова. Он беспокойно ерзает на месте и что-то мучительно

продумывает, потом вопросительно вскидывает глаза на Барашкова.

— А что ежели нам совместны сделать ковши?

— Как совместны? — не понимает Барашков.

— Так что, скажем, я заведу ковш, а фигуры мне Ерошкин посадит на него.

Барашков оживляется:

— Эдак бы очень интересно получилось. Только мы из осины не сумеем вырезать тонкую вещь... Из сухой липы иное дело. Липы с Пучкова спрашивать не придется, она у каждого запасена на дворе.

Антип Ермилович стремительно поднимается от своей плахи и объясняет:

— Мы из любого можем. Что из сырой осины, что из тополя. А найдете в поперечнике тридцативершковую липу сухую, все едино сделаем. Решили совместно заводить, значит готовь липу, и говорить нечего. Ясно, приехали, чтоб вместе сообразить...

— Мы уж давай с тобой, — подмигивает Барашков Михаилу Угланову.

— Я полагаю, пушкинскую возьму тему. Вырежешь из Дубровского?.. Я в кино смотрел, всё помню. Ковш развернем большой и на крыльях твои фигуры.

— Не видал я картину, ну, Пушкина читал. Думаю сделать... Троекурова на коне, как он подъезжает к поместью Дубровских. А старик ваш, пускай, договаривается с Прониным.

— Я с Прониным, — охотно соглашается Антип Ермилович. — Мы удумаем... Я дома о балде Пушкина сделал. Все в точности: и как зайцев пускал, и с кобылой... Чертенка сделал махонького. Три раза ходил к дочери, чтобы все упомнить. Читала она мне три раза. Сделал!

Во время совещания входит Стулов, внимательно прислушивается к разговорам, обращаясь ко мне, пожимает плечами:

— Зря это они затеяли. Разве возможно в десять дней создать новую композицию?!

— Да еще без пластелина, — в тон ему добавляю я.

— Вы не смейтесь, я тоже пришел поработать с ними. Только ничего не выйдет из таких грандиозных замыслов.

Абрамов смотрит на Стулова, будто стараясь уга дать его способности.

— Посадишь цаплю, как в шкафу стоит, на мой ковш, чтоб из цельного куска?.. Оставлю тебе баклажку для нее, — говорит он.

— Надо попробовать, пожалуй возможно увязать с ковшом образец баландинской цапли, мне помогут художники... Попытаюсь...

— Вот так пойдет ковш... Чтоб получился из одного куска — придется торцовой, иначе сколятся фигуры. Понимаешь ли? — толкует он мне свой загадочный рисунок. — Двухсторонний будет он о рыбаке и рыбке. Я Пушкина не хуже ихнего читал. Тут старуха над расколотым корытом, а этак старик сеть держит, а сеть-то с наличной стороны пойдет на ковш. Понимаешь ли?

— Но с кем же ты будешь делать такой ковш?

— Ерошкину докричусь на ухо. Я одноглазый, а он глухой, ну и договоримся по-свойски. Потому что против него здесь никто не может резать фигуры.

— Без готового образца!.. старика!.. старуху!.. Старуху, а под низом разбитое корыто! — кричит Исаак в самое ухо Ерошкину.

Тот молча кивает кудлатой головой.

Молодежь ушла обедать. Барашков отправил своего заместителя доставать липу. Мы продолжаем обсуждение совместных ковшей. В мастерскую входит Пронин. От него пахнет спиртным перегаром. Малахай надет набекрень. Но сегодня Михаил Алексеевич дер-

жится крепче и даже пытается понять замыслы Ершова.

— Из военной тематики тоже можем, — одобрительно кивает он. Затем вспоминает свои обиды. — Нет здесь мне полной возможности... Школа обманула... За мою работу они часы получили все, а мне и ста пятидесяти рублей не отдают обещанных... Дали сто, и крышка...

— Брось ты языком трепать, — унимает его Стулов.

Пронин многозначительно поднимает палец и пьяным голосом вопрошает:

— А кто тройку Чапаева сделал?.. Я сделал! Где часы? Вы получили с вашим директором!..

Стулов перебивает его и рассказывает, что с этой тройкой не оберешься теперь разговора. А дело происходило весьма просто. По типу древней народной тройки была создана коллективом школьных работников во главе с директором Карцевым композиция чапаевской тройки. И будто доделать ее по каким-то причинам не успели. Позвали Пронина. Тот подрядился и скопировал, а теперь бузит, что эта тройка его работы.

— Какая ваша, какая моя — сразу видать, — не унимался Пронин. — Тачанку не смогли сделать? Сделай, говорят, Михаил Алексеич, какую сам знаешь. Лошадей вы тоже против моих не можете. Я за жизнь переделал троек-то — конца не видать... Где же она ваша?! Только имя мне не позволили поставить, чтобы выдавать за свою. Ваша-то и сейчас стоит в школе, ни на что не похожа.

— Тачанка — пустяки, это не играет роли. Коней ты взялся точно скопировать. Даже приходил у нас брать другого коренника для образца. — И обращаясь ко мне, Стулов говорит: — Жалко, ее уже нет у нас, а то бы вы посмотрели, там у лошадей настоящее движение, экспрессия.

Я отвечаю, что мне кажется, пронинская тройка никогда не страдала статичностью и очень сомнительно приписывать авторское право школе только за то, что она взяла готовый образец народной тройки, последним исполнителем которой является Михаил Алексеевич Пронин. Правда, школа переделала ее на чапаевскую, а потом дала не только скопировать, но и выправить тому же Пронину. Выходит, что тройка в самом первичном прообразе и, наконец, в окончательной фактуре принадлежит Пронину, а школа явилась какой-то передаточной инстанцией...

— Нет, все это совсем не так! — горячится Стулов. — Михаил Алексеич сейчас просто пьян, когда проспится, поймет, и не будет попусту трепать языком.

— Вам сроду не вырезать таких коней, — усмехается Пронин. — Ладно, пусть пропадут мои пятьдесят рублей... Вот часы — обидно. Нам и в артели Пучков тоже не велит ставить подпись. Я раз ножом вырезал свое звание, а он распорядился сострогать начисто.

Исаак Абрамов о чем-то толкует с Барашковым и до нас долетают только отрывки фраз.

— Нисколько я не учился... дошел до всего сам...

Антип Ермилыч кривится презрительной гримасой.

— Есть же на свете чудаки такие, — кивает он в сторону Исаака, — не учился он! Ну, и чудак...

Я уехал из Богородского с тем, чтобы вернуться через десять дней и посмотреть, каков же результат первой встречи мастеров. В последний вечер моего пребывания в артель возвратился из Загорска секретарь парткома Резников. Он сразу понял значение предстоящей задачи и решительно заявил, что сумеет доставить мастерам весь необходимый материал. Он

возьмет с Пронина слово не пить до окончания работы и обеспечит настоящие условия для творчества.

Меня радовало, что семеновцы уже оценили способ распаривания сырой осины. Они поняли, что для «живности» требуются тонкие стамески. Я вспоминал, с какой жадностью рассматривали богородчане поделки Михаила Угланова и как тут же отвергли они для себя работу с теслом. Им казалось способнее вынимать нутро ковша стамеской. Зато круглый резец был явно необходим богородчанам.

Все же приходилось сомневаться в успехе задуманных мастерами гибридов. И, конечно, тут дело не в художественном руководстве, отсутствие которого так беспокоит Стулова. Указка квалифицированного городского скульптора могла бы только засушить, даже исказить коллективные замыслы. Но ясно, что у резчиков было слишком мало времени присмотреться друг к другу. Они могли лишь угадывать взаимные возможности. И как бы ни выглядели задуманные ими гибриды, несомненно, что опыт этот, пусть даже неудачный, лучше всего поможет мастерам перенять многие технические особенности различных навыков резьбы, обогатит их скромный набор инструментов и натолкнет на новые темы.

В Москву я вез с собой неожиданно найденное на конторском шкафу произведение обиженного школой, обезличенного Пучковым Михаила Пронина.

Это собственная композиция мастера. На большой доске, по древнему типу так называемых хозяйств, которыми в свое время славился знаменитый Андрей Чушкин, Пронин расположил десять лошадей и девятнадцать человеческих фигур. Вся скульптура оцеплена жердочками низкого забора. Над воротами надпись: «Конный базар». Вещь смотрится с большим интересом. Тут изображено несколько характерных сцен старого базарного быта. Пузатые купцы солидно и со знанием дела торгуют у коннозаводчиков сытых ко-

ней. Барышник всучивает весьма среднюю лошаденку неопытному покупателю. Рядом, по всем обычаям, происходит продажа рабочего битюга, с хлопанием по рукам и многозначительной передачей узды. Низкорослый парень повисает на узде вздыбленного жеребца. Бедняк в лаптях сиротливо стоит у ворот. В самой толчее испуганный, изогнувшийся жулик тянется к карману зазевавшейся тетеньки. В дальнем углу базара две клячи. Одна завалилась, и ее изо всех сил дергает за повод измученная деревенская женщина, а разъяренный мужик размахивает кнутом над костлявым крупом обессилевшего животного. Ярко показаны базарные нравы, но лучше всего сами лошади. Коня Пронин понимает превосходно. И, рассматривая его базар, невольно вспоминаешь сказку о коньке-горбунке.

Перед глазами конный ряд.
Два коня в ряду стоит,
Молодые, вороные
Вьются гривы золотые.

Над своим базаром Михаил Алексеевич трудился тайком от школьных учителей и от артельного руководства. Затем принес готовую вещь и предложил ее для отсылки на выставку в Загорск. Но артельные судьи тут же на месте забраковали его работу, по соображениям будто бы идеологическим: «Зачем, дескать, изобразил здесь карманника? И вообще старая тематика». Так и провалялась вещь на конторском шкафу в течение двух лет.

Пронинский базар передан в Третьяковскую галерею на выставку народного творчества.

В деревню Богородскую я вернулся вечером. Окна мастерской были ярко освещены. Здесь шла окончательная доделка гибридов.

Барашков и Угланов старательно прилаживают к крыльям большущего ковша приставные фигуры. На правом крыле расположена часть стены с крылечком — это помещичий дом Дубровского. За ним два дерева с типичными для богородчан дрожащими на проволочках листьями. У самого края, над впадиной ковша, стоит крестьянин, вооруженный топором. Худощавый испуганный Дубровский бросается предотвратить восстание. Тут же крестьянская фигура с обнаженной головой покорно переминает в руках свой картуз. С левой стороны, верхом на прекрасной лошади, спокойно подъезжает Троекуров, за ним еще два всадника. Вся работа несколько перегружена и композиционно не увязана с ковшом, но в деталях своих выполнена блестяще. Особенно хороша группа с Троекуровым.

Антип Ермилович с Прониным вырезали из целого куска дерева белого медведя на ковше. И уже самостоятельно Пронин попытался соединить медведя с вазой, тоже в одном куске. Но ваза вышла претенциозной, и добротный мишка выглядит около нее слащавым.

— Я следующего с колодой вырежу, — говорит Михаил Алексеевич, — а то верно, что вроде нашего буфетчика получился он у меня...

Стулов сумел ловко увязать модернизированную цаплю с ковшом Исаака Абрамова. Сын Бобловкина из оставленных на углановском ковше баклашек изобразил орла, следящего за курицей.

Но всех лучше удалась сказка о рыбаке и рыбке. Сказочное представление о море воплощено в округлой впадине чудесного ковша, сработанного Исааком. Злобная старуха сидит у разбитого корыта. А на другой стороне ковша-моря старик мечтательно смотрит вдаль, вытягивая обеими руками сеть с золотой рыбкой. Из сквозной, скульптурной сеть, постепенно расширяясь, переходит в рельеф и затем в плоскостную резьбу, идущую по наружной стороне ковша. Фигу-

ры резал Ерошкин. Вся скульптура сделана из одного куска липы и настолько гармонична и строга по своей силе и простоте форм, что никак не верится в ее гибридное происхождение. Здесь оба мастера слились в едином творческом порыве и никак не скажешь, что лучше, ковш с сетью или фигуры: они просто не мыслятся в отдельности. И Ерошкин ли тут внушил одноглазому Исааку сказочный образ моря, или Исаак сумел прокричать на ухо глухому Ерошкину свое заветное понимание Пушкина — неизвестно. Только ясно, что в этой вещи мощно прозвучал подлинный народный отклик на сказку гениального поэта.

Антип Ермилович, несмотря на всяческие пререкательства с Исааком, безоговорочно признает, что о рыбке получилось «умственно», что все остальные вещи ни в какое сравнение с этой идти не могут.

— Я сделал о Балде, — вспоминает он, — теперь приеду в Деяново, тоже о рыбке буду резать, а потом надо о царе Салтане...

Весь стол завален белыми легкими вещами. Рядом с гибридами семеновские уполовники, и малый ковш-павлин, и уточки, и новое создание Исаака Абрамова — дракон, закрутивший богатыря.

Наконец, ковши собраны и упакованы. Все мы должны уехать с ночным поездом, а поэтому заключительный банкет проходит спешно и скомкано. Богородчане с грустью переживают разлуку.

— Ничего, — утешает их Угланов, — теперь вы к нам приезжайте. Мы встретить сумеем... У нас можно поработать совместно.

На прощанье семеновцы отдают своим друзьям круглые резцы, поясняя, что у них на родине любой кузнец может сделать такой инструмент.

Угланов и Абрамов выпили на дорогу по стакану вина. Они обнимаются по очереди со всеми участниками банкета.

— Наши мелкие поделки в шкафу поставьте, — предлагает Угланов, — а павлина дарю товарищу Резникову, за дружескую поддержку.

Антип Ермилович подает руку Пронину и торжественно говорит:

— Ты все же не унывай, Михаил Лексеич, мы тебя поднимем!

В Москве, в моей комнате, громкоговоритель провозглашает, что на пушкинскую выставку поступил ряд экспонатов от народных художников Палеха, Семенова, Хохломы и Богородска и что особенно интересен ковш на тему пушкинской сказки о рыбаке и рыбке, сделанный из целого куска дерева Абрамовым и Ерошкиным.

И я пытаюсь рассказать о зарождении нового ковша случайно зашедшему ко мне соседу. Но он не слушает меня. Его совершенно не интересуют народные художники. На ковши и на богородские изделия моей коллекции он тоже смотрит с полным равнодушием. Тогда я достаю привезенные с Керженца шахматы.

— Сразимся? — предлагаю я.

Он соглашается сыграть партию.

Шахматы расставлены. Я поднимаю коня.

— Ты не плохой шахматист, — пробую я задобрить его, — но посмотри все-таки, как сделан конь, это тоже произведение народного художника. Это древнейший мотив...

Тут он грубо перебивает меня:

— Что ж, если это народное искусство, так мне молиться на него, что ли?

— Но понюхай, ведь он из можжевельника!

— Гнусный запах, — говорит он.

Я знаю, что я выиграю эту партию, тем более, что в противнике моем я почуял сейчас не просто обывательствующего соседа. Я замечаю, что он что-то уж

слишком похож на Василия Петровича Пучкова, заведующего производством богородской артели, что близорукостью своею он напоминает директора профтехшколы Карцева и, наконец, что его апломб, самодовольство и равнодушие целиком заимствованы у руководителей Союзигрушки. Он не одинок, а потому чувствует себя весьма крепко. У него замечательная броня. Эта броня — отсутствие чуткости и вкуса. Но все же я должен заставить его сдаться, хотя и досадно играть с человеком, который ничего не понимает в народном искусстве и которого тошнит от запаха можжевельника.

(«Наши достижения», Москва, 1937 г.)

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ.

Димитрий Семеновский — поэт, очеркист, родился и жил постоянно в Иваново-Вознесенске. Отец его священник. Семеновский много старше любого из перевальцев. Первый сборник его стихотворений в своё время был одобрен Александром Блоком. Писал преимущественно лирические стихи. Членом компартии никогда не был. Характер у него робкий и нелюдимый.

Изредка, когда Семеновскому случалось приезжать в Москву, он появлялся в «Перевале», но на собраниях содружества был молчалив, мечтательно-задумчив.

Д. СЕМЕНОВСКИЙ

МСТЕРА

По известке ворот — крупные черные буквы «Кустарно-исторический музей». Три обессиленных жарой дворняжки, лежа на каменных плитах церковного двора, смотрят на нас блестящими внимательными глазами. Гремят пудовые засовы, визжит окованная несокрушимым железом дверь, — и сразу зной и свет майского дня сменяются прохладой и тишиной церкви, в которой больше не служат.

Хранитель музея, чинный сухой старичок, показывает темные облупившиеся иконы, разворачивает громадные, как ворота, рукописные книги с цветными заставками, обращает наше внимание на резные изображения Распятого, с раскосыми глазами и лицом монгола. Он заученно говорит о князьях Ромодановских, бывших хозяевах Мстеры, о ризах, книгах.

Но старинные иконы, расшитые облачения, потемневшие фрески сами рассказывают трехсотлетнюю историю художественной Мстеры. В них сквозят те глубинные корни древней культуры, от которых, как цветок, взяла все свое лучшее современная мстерская миниатюра.

Давно истлели под плакучими березами мстерского кладбища кости тех, чья кисть написала эти «святцы», эти «людницы» — иконы с множеством мелких фигур, замечательные по тонкости рисунка и изяществу разделки.

То были великие стилизаторы, искуснейшие фальсификаторы художественной старины.

Старообрядчество, главный потребитель мстерской иконы, требовало образов Новгородского, Строгановского, Древне-московского письма. И село Владимирской губернии с успехом удовлетворяло эти требования.

Художник В. Н. Овчинников в неопубликованной работе «Краткий очерк истории иконописания в Мстере» сообщает:

«Большой спрос на древние иконы в музеи, в старообрядческие храмы и моленные заставил производить подделки под старинные иконы. Образовались мастерские исключительно по реставрации икон.

«Так искусно могли мстерцы писать по древним образцам, что часто специалисты становились втупик в определении возраста только что написанной иконы. А с какой тонкостью реставрировались древние иконы: подписывалось к небольшим уцелевшим от времени пятнам больше половины изображения, и икона ставилась часто в музей, как древняя, целиком сохранившаяся...

«Мстера стала центром, как бы рынком старых икон: сюда привозили их возами из Архангельской, Новгородской, Вологодской губерний. Офени-старинщики перепродавали их здесь мастерам-реставраторам, которые ждали их, как манну небесную, ставили заставы на дороге, зачастую встречали у вагонов, чтобы купить без конкуренции. И покупали чохом, целый воз из-за одной или двух ценных икон, и этими двумя иконами оправдывали все расходы.

А если было нужно подделать икону, подменить новую под старую, тогда ее спиливали толщиной в 3 миллиметра, накладывали новый грунт и писали копию. Эту копию отдавали заказчику за его икону, а спиленную наклеивали на другую доску, реставрировали и продавали за очень хорошую цену. Если икона

не подделывалась, а просто, как выражались мастера, «писалась под старинку», тогда писали ее на холсте. Накладывали грунт, писали в темных красках под старое новгородское письмо, потом мяли этот холст так, что грунтовка вся трескалась, местами чуть не отваливалась. Тогда этот холст наклеивали на доску и чернили, покрывая копотью и грязной олифой. Икона выходила настолько старая, что сам мастер не узнавал своей работы.

Такое копирование под старые школы — Новгородскую, Строгановскую и другие — во Мстере было доведено до совершенства. На этом деле с мстерскими мастерами не могли конкурировать мастера ни одного иконописного села...

Но великие стилизаторы не были свободными творцами, — а где нет свободы, там не может быть и подлинного искусства. Замкнутая в узком кругу шаблонных тем иконопись, как искусство, была обречена на вырождение. И она выродилась в безрадостное ремесло.

Мастерство великих стилизаторов возродилось, как искусство, только тогда, когда революция уничтожила иконопись. Оно возродилось в работах нынешних миниатюристов Клыкова, Брягина и других членов художественной артели, которые, вместо икон, стали писать картины на самые различные темы.

Кустарно-художественная артель во Мстере, объединившая бывших иконописцев и столяров, возникла в 1923 году и называлась гордо: «Пролетарское искусство».

Но искусства здесь еще не было. Оно пришло позднее. Члены артели изготовляли дешевые «коврики», писали лубочно-грубые «закаты», «восходы» и «лунные ночи».

Эти первые попытки бывших иконописцев применить свое живописное умение к новым условиям отражены в экспонатах музея. Тут ярко размалеванные

«коврики»-панно, тут росписи по дереву: игрушки, хозяйственная утварь. Все это — пройденная ступень.

В 1930 году союз художников и столяров рассыпался. Столяры, которых было больше, обособились в самостоятельную организацию, а художники поехали к федоскинским кустарям, чтобы перенять у них технику выработки папье-маше.

Однако, освоить производственную технику — еще не значило найти свой живописный стиль, свое творческое лицо. Образцы ранних росписей по папье-маше заняли видное место в музее. В них мастерства еще мало. Овладение искусством далось лишь как результат настойчивых исканий и как результат помощи Московского института художественной промышленности. Краски и линии новгородских, строгановских, московских икон перешли на коробочку из папье-маше.

Мы выходим из музея и идем вдоль древней, поросшей молодыми березками, стены, по гористому берегу зеркально светлой Мстерки.

В сизую даль убегает зеленая пойма, разорванная руслами рек и речек. Смутно белеют колокольни дальних сел. Тускло светится вкрапленное в изумрудную оправу серебро речных излучин. Гулко разносится над лугами трехголосый свисток. Над темной каймой кустов видно движущееся облачко: это пароход дымя идет по Клязьме.

Не только от иконы, но и от этих вот живых лугов и струящихся рек, от соловьиных рощ, известково-белеющих черемуховым цветом, от полевого и лесного приволья идет пейзаж мстерской миниатюры. А пейзаж в работах художников Мстеры — основное. Если на иконе он имел второстепенное значение, то миниатюристы Мстеры сделали его самодовлеющим.

В пейзаже — главное отличие мстерской миниатюры от палехской. Пейзаж мстерской миниатюры значительно отличается от иконного. Наряду с условными уступчатыми «горками», стилизованными деревьями и травами, появляются вполне реалистические лесные опушки, озерца, постройки современной архитектуры, чувствуется воздух, глубина перспективы.

В. М. Василенко находит в пейзажах одного из лучших художников Мстеры, Н. П. Клыкова, «желание передать больше, чем орнамент или живописную игру красок», «стремление говорить на языке живых впечатлений».

Сидя на траве под белой стеной монастыря, смотришь в тихую сизую даль, — и стремление художника Клыкова делается понятным. Слишком хороши мстерские заливные луга, реки, рощи, чтобы художник не горел желанием передать эту красоту в рисунке и в красках.

Мои спутники — организаторы и старые члены артели — Александр Иванович Брягин и Александр Федорович Котягин. Глядя поверх голубоватого зеркала Мстерки, поверх осенивших ее ветел, в широко-размахнувшуюся даль, Брягин говорит:

— Тут весной вода разливается... верст на пятнадцать!..

Что-то женственное, мягкое чувствуется в Брягине — в его добрых серо-голубых глазах, в изрезанном морщинками лице с мелкой щетиной бороды на щеках и подбородке. Он держит голову немного набок — след контузии — и говорит хрипловатым тенорком.

Крупная осанистая фигура Котягина производит впечатление силы. Небольшие карие глаза и резко очерченный подбородок, осыпанный седой щетиной, говорят о внутренней самонадеянности. Выражается Котягин литературно, — он много видел, бывал за границей и может рассказать немало интересного о го-

родах, где работал, и о людях, с которыми встречался во время своих скитаний.

Как несхожи сами художники, так несхожи их работы по стилю.

Брягин — тонкий лирик. Он — один из ведущих художников Мстеры. У него есть ученики и последователи. Его миниатюры радуют глаз сочетанием нежных и теплых тонов. Их радуга с преобладанием красновато-золотистых и светло-зеленых оттенков идет от традиций «московского» стиля. По определению профессора Бакушинского, Брягин — «замечательный композитор сложных построений, тонкий превосходный колорист с богатой и разнообразной палитрой нежных и радостных цветов. В рисунке Брягин ищет выразительности, подчиняя ей реалистические задачи»*).

Котягин как художник мужественнее, резче, материальнее Брягина. Синие, красные и зеленые тона цветут на его миниатюрах сочно и густо. У него заметно стремление к реалистической передаче пейзажа. В рисунке и красках видно желание уйти от условностей иконного письма.

Брягин свертывает самокрутку, насыпает в нее крупную, похожую на опилки, махорку, закуривает. Синей паутиной плывет сладковатый дымок.

Луга тепло озарены косыми лучами низкого солнца. Тишина.

— Дикой смородины у нас по Клязьме — гибель!.. Корзинками носят, как бруснику. А рыба в реках! А дичи в болотах!..

Цветами, ягодами, птицей, рыбой, красотой богаты окрестности Мстеры. За рекой Старицей в конце мая трявяное подножие леса покрыто крупными ландышами. Проходящую здесь Аракчеевскую дорогу обступили древние вязы и матерые березы.

---

*) «Русские художественные лаки», «Искусство», № 6, 1933

— Какие этюды можно писать! — говорит Котягин.

Вечереет. Под горой, около моста, с которого босые мстерянки полощат белье, на чешуе воды играют теплые, красные блики. Такие вот сочные живые тона нежданно зацветают на старинной расчищенной иконе под темным слоем позднейшего рисунка.

— До чего же хорошо сохранились краски древних мастеров! Не выцвели, не потускнели от времени. Так не тускнеет красота.

Это говорит Брягин. Он вспоминает свою работу по реставрации памятников старины, рассказывает о разных встречах на путях своей бродячей жизни бывшего иконописца.

Александр Иванович — потомок знаменитого иконописца XVIII века Брягина. Иконописное мастерство передавалось в роду Брягиных по наследству от отца к сыну.

Окончил сельскую школу во Мстере. Переняв от отца секреты иконописного дела, работал во Мстере у Гурьянова, был реставратором в петербургском музее Александра III.

В годы войны попал на фронт. Получил контузию. Вернулся в тыл для лечения. Подлечили. Идти на позиции не хотелось. Однажды выздоровевших солдат начали распределять по специальностям. «Кто из вас шоферы? Выходи!» «Я — шофер!» — крикнул Брягин.

— А, чего там! И понятия не имел об устройстве автомобиля, — говорит Александр Иванович, дымя самокруткой. — Однако, записали в запасную автомобильную роту. Здесь познакомился с писателями, художниками, артистами, — такими же «шоферами», как и я. Встречался с Есениным, — от тоже числился в автомобильной роте, — с Клюевым, поэтом. Автомобилями мне так и не пришлось управлять. Вместо этого дали мне расписывать трапезную для приема ино-

странных гостей. В девятнадцатом году поступил добровольцем в Красную армию, был на продовольственной работе в Сибири. Воротившись во Мстеру, вместе с Котягиным организовал художественную артель. Работал по реставрации памятников искусства в Александрове, в Москве, в Вологде, в Новгороде...

Биография Брягина типична и для других художников Мстеры. Все они — народ бывалый. Живали в больших городах, встречались с Васнецовым, с Нестеровым. Побывали в окопах, в плену, участвовали в революции.

Эти наследники древних сокровищ — родные дети своей эпохи и страны, сделавшей их из ремесленников художниками...

Пахнет сыростью луга и реки. Старательно и чисто выводит свою четырехколенную песню в поречных ветлах невидимка-соловей. Художники молчат, слушают. А закат киноварью светится сквозь темную листву соседнего сада, и узор листвы похож на орнамент расписной коробочки.

Специалисты-искусствоведы различали в живописи современной Мстеры два основных течения. Одно возглавляется А. И. Брагиным. Другое, идущее от традиций Новгородской и Строгановской иконы, — старейшим художником артели Николаем Прокофьевичем Клыковым.

По разъезженным пыльным улицам идем к домику старого мастера.

Мстера́ — не деревня, не город. Трехоконные домишки перемежаются двухэтажными каменными хоромами с большими окнами и затейливыми архитектурными украшениями. Возле хором присели приземистые побеленные палатки с тяжелыми калачами замков на железных дверях, с частыми решетками в окнах. В хоромах до революции жили хозяева иконо-

писных мастерских: Крестьяниновы, Гурьяновы, Фатьяновы, Тюмины. В палатках стояли прохладные, обросшие пылью «четвертные» с ягодными настойками, — обязательное угощение при сделках с тароватыми офенями, развозившими иконы по всем уголкам страны.

Как только устанавливался санный путь, офеня с иконами отправлялся торговать. Распродав иконы, офеня на обратном пути накупал разных товаров, которые было выгодно продать во Мстере, и расплачивался ими вместо денег с хозяином-иконником. Товары отдавались, разумеется, с накидкой. Хозяин, в свою очередь, набавлял на них еще известный процент и расплачивался ими, вместо денег, с мастерами. Зачастую товар приходился мастеру дороже рыночного, но приходилось брать, так как расчет производился перед большими праздниками, и пред мастером вставала дилемма: или получай товаром, или оставайся без денег на праздники.

Во Мстере помнят привольную жизнь хозяев-иконников. Их добро охраняли свирепые цепные псы. От дорогой одежды, роскошной мебели, редкой посуды ломились хоромы и палатки. На масленице иконники щеголяли чистокровными рысаками, воздушными изящными санками. В Великий пост устраивали гусиные бои. Сводили двух отборных тренированных гусаков. Бились об заклад: который выйдет из боя победителем. Когда бойцы утомлялись, к ним для поддержания бранного пыла подпускали гусыню, и ее голос вливал в сражавшихся новые силы. На Пасхе гусиные турниры сменялись картежной игрой. По трое суток подряд без сна и отдыха способны были играть и пить мстерские иконные короли. А летом, по субботам, пользуясь здешней простотой нравов, после бани, в одном белье благодушествовали на лавочках под окнами хором, снисходительно кивая на низкие поклоны мастеров и их семейных.

Подходила бедная вдова, униженно просила принять сына-мальчика в обучение.

— Ладно, Петровна, приводи. Выучим поля крыть, олифить, грунтовать. Будет мастер.

Ученика брали на три-четыре года. Всё это время мальчуган употреблялся для услуг мастерам. Растирал краски, бегал за табаком. По истечении срока, на который был взят ученик, ему назначали жалованье: от 5 до 12 рублей в год. Только с этого момента он начинал работать.

Осенью, когда дни шли на убыль, хозяин устраивал для рабочих своей мастерской «засидки», — праздник, продолжавшийся иногда два-три дня, с вином, песнями, плясками. А после «засидок» иконный фабрикант начинал выжимать из мастеров выпитое и съеденное на праздниках. Мастера вставали на работу в 4 часа утра и гнули над иконами спины до 7 вечера.

Мстерские иконники — Дикаревы, Чириковы, Гурьяновы — держали в своих руках иконное дело всей страны, имели мастерские и магазины в Москве, брали подряды на реставрационные и живописные работы не только в России, но и за границей: в Австрии, Сербии, Болгарии.

Все это прошло.

Лучший мастер Мстеры, Н. П. Клыков, весь свой долгий век работал на хозяев и только под старость, когда пришла революция, узнал наслаждение свободным творчеством.

Живет он в небольшом деревянном доме среди зелени вишневых садов. Ему 75 лет, но он еще бодр, свеж и прекрасен красотой здоровой, деятельной старости.

У него — большой чистый лоб, совершенно белые волосы, голубые выцветшие глаза, еще настолько зоркие, что работы старого мастера поражают ювелирной отделкой своих мелчайших подробностей. Он

работает жадно и много, словно торопясь полнее, ярче, сильнее выразить себя в краске и линии, словно желая вознаградить себя за годы подневольной работы на хозяев, сковывавшей в нем художника.

Для него труд — радость.

— Не могу сидеть без дела: тоска берет. Вот только мастерская плоха.

«Мастерская» помещается между печкой и перегородкой. На обыкновенном кухонном столе разложены кисточки, краски, разведенные на яичном желтке в ложках без ручек.

— Думаю поправить заднюю. Тогда буду работать там...на всем просторе...

Этот красивый старый человек — живое олицетворение победы человеческой воли и энергии над природой с ее жестокими законами увядания и смерти.

Он описал свою жизнь в небольшой рукописи под заглавием: «Биография жизни Н. П. К.».

Николай Прокофьевич родился во Мстере, выучился мастерству у отца («отец мой — пролетариат, работал на разные мастерские»), а с 16 лет и сам пошел от хозяина к хозяину по мастерским Мстеры и Москвы. Позднее — преподавал в Строгановском училище живописи, а после революции вступил в мстерскую артель.

... «Дали мне несколько коробочек для росписи, я расписал, артели понравилось, — и я начал расписывать. С того времени и до сих пор работаю на артель», — так заканчивается скупая автобиографическая заметка народного художника.

Он показывает свою последнюю работу. На лаковой пластинке изображен сельский пейзаж: деревья, домики, синее озеро, рыбаки с сетью, пастухи возле стада.

Самый старый художник Мстеры первый ввел в миниатюру мотивы колхозного труда и первый начал работать приемами реализма. Его излюбленные цве-

та — серебристо-голубые и зеленые — сдержанны и холодноваты. Специалисты искусствоведы говорят, что эти цвета идут от новгородского иконного стиля.

Я рассматриваю клыковские пейзажи глазами неискушенного зрителя. Мои восприятия непосредственны и просты.

Мне вспоминается тот лес, по которому я с артельным кучером Костей ехал со станции в село художников. Тарантас прыгал по ухабам дороги, а справа и слева толпились пахучие деревья, и звонко заливался в березнике соловей. Вспоминается зеленоватое прозрачное небо, — светящееся, как драгоценный камень, небо весеннего предутрия, когда заря с зарей сходится, и где-то далеко вызванивает ранняя кукушка.

Мотивы пейзажа — каждый по-своему — разрабатывают и два других хороших миниатюриста: В. Н. Овчинников и И. А. Серебряков. И для них характерно стремление к реалистической передаче природы. Обоих можно увидеть за большими столами артельной мастерской в окружении красок, кисточек, бутылок с лаком.

По лицу, худому и нервному, В. Н. Овчинникову можно дать лет 50. Сын мстерского маляра, он был иконописцем, преподавателем, ткачом, фабричным рисовальщиком. У него — внешность сельского учителя. Он много читает. Надо бы полечиться, отдохнуть. Лучшие годы и здоровье отданы работе на хозяев, тяжелому ремесленническому труду. Но тем сильнее хочется свободно творить прекрасное, позабыв повседневный труд в иконописной мастерской.

И. А. Серебряков — художник с 25-летним стажем, у него молодые темные глаза. Поглаживая длинные волосы, подвижной и деятельный, он ходит среди столов художественной школы и поправляет работы учеников. Шестьдесят три будущих художника — все крепкая веселая молодежь — склонились над стола-

ми. Ситцевые рубашки, светлые кофточки, румяные щеки, короткие чолки девочек.

Кто копирует миниатюры, а кто пробует силы на самостоятельных композициях. В шкафу хранятся образчики ученических работ. Среди них попадаются интересные: здесь мелькнет неожиданный мазок, там в линиях почувствуется твердая рука будущего мастера.

Мстера — вся в творческих исканиях.

Избегая подражания художественной манере Палеха, живописцы Мстеры борются за свою творческую самостоятельность. И если, может быть, еще не нашли своей темы, своей художественной идеи, то все же находятся на пути к ней.

Однако, из 110 членов артели пока только несколько человек имеют право называться художниками.

Остальные кое-как копируют миниатюры этих немногих мастеров, сплошь и рядом пытаясь качество заменить количеством. Расписывают на ширпотреб брошки, украшают клеточкой портсигары. Все это не имеет никакой художественной ценности и делается исключительно во имя коммерческого расчета.

Такая постановка дела, конечно, никак не способствует художественному росту артели. Мешает и унаследованное от прошлого разделение труда. Хороший «личник» вынужден заниматься в артели столярничеством, ибо в иконописной мастерской его научили рисовать только лица и руки.

Художники хотят учиться, ищут хорошей книги. Но в клубной библиотеке брошюрка, изданная в начале первой пятилетки, считается новинкой. Заведующий оправдывается:

— Что можно сделать на полтораста рублей в месяц?

Члены артели, кроме Н. П. Клыкова, которому по старости трудно выходить из дому, работают в хоро-

шей светлой мастерской. У них — специально оборудованные помещения для выделки полуфабриката, своя столовая, красный уголок, радио.

Но по вечерам рисовать невозможно. Лампочки светят красноватым накалом. Мигают. Умирают. Мстерская клееночная фабрика и завод «Металлоштамп» из-за нехватки электроэнергии работают на четверть своей производственной мощности. Между тем, электрификация Мстеры — дело вполне возможное. В 12 километрах от села проходит магистраль Горьковской электростанции.

По вечерам жители Мстеры или спозаранок ложатся спать, или отправляются в общественный сад. Они идут по изрытым улицам, о вывороченные булыжники которых ломаются колеса и оси колхозных телег. Идут мимо каменных домов, принадлежащих сельсовету. Их можно узнать по мрачно чернеющим брешам разбитых окон, по грудам камней, нагроможденных внутри. Из 35 домов, составляющих муниципальный фонд сельсовета, добрая половина вот уже который год тщетно дожидается ремонта: обвалились потолки, протекают крыши.

По единственной аллее общественного сада селедочными косяками движется молодая Мстера. В больших зеркальных шарах, поставленных в качестве украшения в начале и конце аллеи, отражаются огоньки папирос, кривится луна, расплываются фигуры гуляющих.

Шагая в человеческом потоке, Александр Федорович Котягин сердитым басом говорит:

— Палеху помогали не только Москва и Ивановская область, но и район, и сельсовет. А наши вязниковские районные организации, да и свои мстерские тоже явно недооценивают Мстеру, как художественно-промышленный центр. Судите об этом по нашему благоустройству, по культуре нашей.

Он закуривает. Спичка на миг озаряет характерное, как из дерева вырезанное, лицо художника и гаснет.

— А, кажется, пора бы оценить нас по заслугам. Есть же у нас достижения, есть будущее. Путь Палеха должен стать и нашим путем!..

Мы спускаемся к музею, идем мимо белой его ограды, смотрим с горы в луга.

Луна слабо освещает простор поймы. От реки тянет сыростью. Мигает далекий рыбацкий костер. И черный узор соседних деревьев режется на теплой синеве неба орнаментом мстерской лаковой коробочки.

(«Наши достижения», № 5-6, 1935 г.)

НИК. ТАРУССКИЙ.

Тарусский, Николай Алексеевич, родился в 1903 году, в семье известного в Москве врача, беспартийный, по основной профессии своей тоже врач. Писал он только стихи, печатался в журнале «Новый мир», в альманахах «Перевал», «Ровесники» и «Недра». Выпустил сборник стихотворений «Я плыву вверх по Васюгану».

На перевальских собраниях Тарусский бывал редко. В содружестве он ближе всего сошелся с Николаем Николаевичем Зарудиным.

В 1935 году у Тарусского обнаружился туберкулез глаз в очень тяжелой форме. С этого времени он совсем отошел от какой бы то ни было литературной общественности, писать уже не мог, диктовал свои стихи жене. Будучи сам медиком, он понимал всю безнадежность своего положения, говорил, что обречен на неминуемую слепоту.

НИК. ТАРУССКИЙ

Я осенью болею, а ты не спишь, мой друг!
Мой ласковый, дай руку, мы вступим в объясненье
С той памятью, где кружит зелёный, звонкий круг,
Лес отроческих лет, полуприкрывшись тенью.
Мы эту тень развеем и копоть оботрём.
Давай начнём сначала! Ну вместе! Восемнадцать!
Ты помнишь этот год? Как музыкальный гром,
Он в комнату вошел и приказал меняться...
Сквозняк ломает рамы. Он — синий, ледяной!
Навылет сквозь квартиру, выдавливая двери!
Навылет сквозь сознанье, — а ты, мой друг, со мной!
Привычки отживают, и мне не жаль потери!
Восторг? Слепое пенье? Случайный обер-тон?
Мальчишество, быть может? Но возраст умирает.

Шинели и бушлаты. Дымящийся перрон.
Слепит морозным солнцем. А я дружу с мирами.
Ночь. С легким саквояжем стою на холоду.
Столбы фонарных светов. Обмерзшая площадка.
И вдруг состав вскипает свистками на ходу
И в ночь меня выносит, рыча, из беспорядка.
И режет мир, и ломит, и прётся напрямик
Сквозь белые вагоны тифозного состава
Туда, туда, в ночное, где не читают книг,
Где широко без края, где завалило травы.
И круглый шум колёсный. И свет. И стоны рек,
Когда их дружно давят грядущими мостами,
Прощай! Прощай! В последний! Разгон в 20-й век,
Где ночь вздыхает жизнью над мчащими кустами.

Подуло с чердака,
Пересчитало ветки;
Над домиком соседки
Свалило облака.

Углом загнуло скатерть,
Ударилось в стекло;
Рудбекии снесло
На брошенное платье.

В акациях врасплох,
Дрожа, трясёт стручками
И — сыплет над сучками
Сверкающий горох.

Погода заодно
С стеклянною травою;
И бабочкой цветною
Листок летит в окно.

Янтарный зной. И стрекозиный
Стеклянный трепет возле ив.
Переливается залив
Цветущей радугами тиной.

Лесной и травянистый пруд
Цветёт осокой, тростниками;
В нём кружевными облаками
Деревья, падая, плывут.

Здесь, по тенистым берегам,
Ползут к воде нагие корни
Узлами змей, цветных и чёрных,
И неподвижных по годам.

Сребристо-серый, узкий, светлый,
На длинных ножках паучок
Бежит от рыбы наутёк,
В воде описывая петли.

Под расклубившимся кустом,
В воде нагретой, густо-медной
Цветок фарфоровый и бледный
Застыл над красным карасём.

Час неподвижный и стоячий,
Вода и солнце. Знойный круг.
И ты теплеешь, милый друг,
В сердцебиениях горячих.

Ты полюбила навсегда
Меня любовью настоящей
В ленивый день, в июль палящий,
У травянистого пруда.

БАБУШКА

Ты стареешь рублёвской иконой,
Край серебряных яблонь и снега,
Край старушек и низких балконов,
Тёплых домиков и почтальонов,
Разъезжающих в тряских телегах.

Там, в просторе уездного дома —
Никого. Только бабушка бродит.
Так же выстланы сени соломой,
Тот же липовый запах знакомый,
Так же бабушка к утрене ходит.

С черным зонтиком — даже в погоду.
Зонтик. Тальма. Стеклярус наколки.
Хоть за семьдесят, — крепкого роду:
Только суше, темней год от году,
Только пальцы не держат иголки.

Мир — старушкам! Мы с гордым презреньем
Не глядим на старинные вещи.
В наши годы других поколений,
В наши годы борьбы и сомнений
Жадны мы до любви человечьей.

БОРИС ПИЛЬНЯК.

В своей автобиографии Борис Андреевич Пильняк пишет:

«Настоящая моя фамилия — Вогау. Отец — земский ветеринарный врач — происходит из немцев-колонистов Поволжья; мать — из старинной саратовской купеческой семьи (ныне уже вымершей), мать окончила Московские педагогические курсы. Отец и мать были близки к народническим движениям 80-х и 90-х годов.

Я родился 29 сентября старого стиля в 1894 г. в Можайске, Московской губ., и понёс в себе четыре крови: германскую и чуть-чуть еврейской со стороны отца, славянскую и монгольскую (татарскую) со стороны матери. Детство прошло в уездных городах Московской губернии (Можайске, Богородске, Коломне).

...Окончил в Нижнем-Новгороде — нижегородское «Владимирское реальное училище» в 1913 г.

...Годы революции я прожил в Коломне».

(«Писатели», под редакцией Вл. Лидина, 1926 г.)

Хотя формально Пильняк не состоял в «Перевале», он был тесно связан с этой организацией, особенно с А. К. Воронским и с последними «могиканами» содружества. Больше того, после роспуска всех группировок, в 1932-м году, Пильняк создал у себя в особняке, на Ленинградском шоссе, небольшое литературное общество, нечто вроде литературного салона, который в основном состоял всё из тех же «ушедших в подполье» перевальцев.

Свой салон Пильняк назвал — «Тридцатые годы», то есть именем того десятилетия, последние годы которого оказались в одинаковой степени роковыми и для перевальцев и для самого Бориса Андреевича.

Рассказ об этом салоне не входит в план нашей работы, а потому отметим только, что внешний вид этих вечеров, а зачастую и целых ночей носил характер скорее богемный, нежели чисто литературный. Можно смело утверждать, что в «30-х годах» было выпито крепких напитков никак не меньше, нежели высказано крепких, страстных, а временами трагических суждений о судьбах русской литературы.

Пильняк разделил долю перевальцев не только за близость свою к последним участникам Содружества; кроме этого обще-

ния были у него еще и свои собственные «грехи» перед диктатурой. Одним из таких «преступлений» явилась, несомненно, «Повесть непогашенной луны». В герое этого рассказа — Гаврилове показан облик командарма Фрунзе. Смерть на операционном столе здесь тоже не случайна. Фрунзе погиб под хлороформом, и есть немало оснований предполагать, что отравление это было выполнено по специальному приказу Сталина. «Повесть» появилась в майской книге журнала «Новый мир», за 1926-ой год. Номер был уже выпущен и частично разослан подписчикам, когда в Главлите спохватились и поняли свою оплошность. ГПУ немедленно конфисковало весь оставшийся тираж. Номер этого журнала является сейчас большой редкостью.

БОРИС ПИЛЬНЯК

ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ.

Глава первая

На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов, ночи, изморози, растворялась в рассвете — указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморозный. В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, и вскоре — со дворов экспедиций, — по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами; один — другой из них на пустых перекрестках выкрикивал, прочищая глотку, так, как будет кричать весь день:

— Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма!

И в этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд, в конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами окон. Поезд пришел из черной ночи, от полей, промотавших, роскошествуя, лето на зиму, ограбленных летом для того, чтобы стариться снегом. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, не шумно, стал на запасный путь. На перроне было пустынно. У дверей, должно быть, не случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных, с ромбами на руках, прошли к салон-вагону. Люди там обменялись честями, — эти трое

постояли у подножки, часовой шептал что-то внутрь вагона, — тогда эти трое поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Два военных монтера закопошились у вагона и под крышей вокзала проводили телефонные провода в вагон. Еще подошел человек к вагону, в демисезонном стареньком пальто и, — не по сезону, — в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести, — он сказал:

— Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов.

Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил:

— Товарищ командарм еще не вставали.

Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на ты, сказал дружески:

— Ну, ты, братишка, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов.

Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. В салоне, потому что были опущены занавеси и горело электричество, застряла ночь. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга и около нее тарелка с недоеденной манной кашей, — и за кашей — расстегнутый кобур кольта с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стола стояли раскупоренные бутылки. Трое военных, с ромбами на рукавах, сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены, сидели очень скромно, навытяжку — безмолвствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола; бутылки поставил куда-то в угол; смел на подносик корки гранатов; — постелил на стол скатерть, поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с

черствым хлебом, рюмку для яиц; — принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами; отогнул угол портьеры, посмотрел на утро, — раздвинул портьеры на стеклах окон, шнурки портьер прожикали сиротливо, — потушил электричество и в салон залезло серое, в изморози осеннее утро. Лица у всех в этом мутном утре были желты, — жиденький, водянистый свет походил на сукровицу. В дверях, рядом с проводником, стал ординарец: походная канцелярия уже работала, прозвонил телефон.

Тогда из купе-спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было четыре ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками указывали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках тысяч, сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами, — о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, гололедиц и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, — о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, — который командовал людьми, победами, смертью: порохом, дымом, ломанными костями, рваным мясом, — теми победами, которые сотнями красных знамен и многочисленными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь земной шар, — теми победами, после которых, — на российских песчаных полях, — рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войн, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право

и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать.

В салон прошел невысокий, широкоплечий человек с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинара. Он шел быстро, и его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт. Командарм приостановился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. И так, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты: каждый из этих троих выступал вперед, становился во фронт и рапортовал — «во вверенном мне» — «служба революции». — Каждому отрапортовавшему командарм жал руки, по порядку, должно быть, не слушая рапортов. Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чая. Командарм взял яйцо.

— Как дела? — спросил попросту, без рапортов, командарм.

Один из троих заговорил, сообщил новости, и тогда спросил в свою очередь:

— Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов?

Лицо командарма сделалось на минуту чужим, он сказал недовольно:

— Вот, был на Кавказе, лечился. Теперь поправился, — помолчал, — теперь здоров. — Помолчал. — Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов, вообще... — Помолчал. — Вы свободны, товарищи.

Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку, — те вышли из салона бесшумно. — Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему, — взял книгу и отвернулся с ней от командарма, перелистывал. Командарм одним глазом взглянул на Попова и тоже не поклонился, сделал вид, что не заметил человека. —

Когда штабисты ушли, — не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова:

— Хочешь чаю, Алешка, или вина?

Но Попов не успел ответить потому, что вперед выступил ординарец, зарапортовал, — «товарищ командарм», — о том, что автомобиль снят с платформы, в канцелярию поступили пакеты, — один пакет из дома № первый, привез его секретарь, секретный пакет, — о том, что квартира приготовлена в штабе, — что кипа пришла телеграмм и бумаг с поздравлениями. — Командарм отпустил ординарца, сказал, что жить останется в вагоне. Проводник, не дожидаясь ответа Попова, поставил на стол стакан для чая и стакан для вина. Попов вылез из своего угла, подсел к командарму.

— Как твое здоровье, Николаша? — спросил Попов, заботливо, так, как спрашивают братья.

— Здоровье мое — как следует, совсем наладилось, здоров, — а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле, — ответил Гаврилов, не то шутя, не то серьезно: — во всяком случае — невеселой шуткой.

Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой, совместной работой на фабрике, тогда далеко в молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зуевскими ткачами; потом была совместная — богородская — тюрьма, — и дальше — бытие революционера-профессионала — ссылка, побег, подполье, Таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго; и тогда тучи Четырнадцатого года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург, — и тогда: гроза Семнадцатого года, Смольный, Октябрь, гром пушек над московским Кремлем, и — один начальник штаба красной гвардии в Ростове на Дону, а другой — предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Туле, для одного тогда — вой-

ны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями, — для другого — губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания и доклады: для обоих — все, вся жизнь, все мысли — во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Но всегда один другому — Николаша, — один другому — Алексей, Алешка, — навсегда товарищи-ткачи, без чинов и регламентов.

— Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье? — спросил Попов.

— Видишь ли, у меня была, а, может быть, и есть, язва желудка. Ну, знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные — так, гадость страшная, — командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею. — Посылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли, стал на работу, проработал полгода, опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина... — Командарм перебил себя: — Алешка, может, вина хочешь, вон там, под лавкой, — я привез тебе ящичишко, откупори!

Попов сидел, подперши голову ладонью, он ответил:

— Нет, я с утра не пью. Ты говори.

— Ну, вот, здоровье мое совсем в порядке. — Командарм помолчал. — Скажи, Алешка, — зачем меня вызвали сюда, не знаешь?

— Не знаю.

— Пришла бумага, — выехать прямо с Кавказа, — даже к жене не заезжал. — Командарм помолчал. — Чорт его знает, не могу придумать, в чем дело, в армии все в порядке, ни съездов, ничего.

Командарм говорил об армии, о войне, — и не замечал, должно быть, что, когда он говорил об армии, он переставал быть ткачом и становился полководцем и красным генералом красной армии; командарм говорил об Орехово-Зуеве и орехово-зуевских време-

нах, — и не замечал, должно быть, как становился он ткачом, — вот тем ткачом, который тогда там полюбил заречную учительницу, чистил для нее сапоги и ходил босиком до школы, чтобы не пылились сапоги, и только в лесочке у школы обувался, — купил фантазию с бантом и шляпу а-ля-чорт-побери, — и все же дальше разговоров о книжечках никуда с учителкой не забрело, не вышло у них романа, отвергла его учительница. Командарм — ткач был уютным, хорошим человеком, умевшим шутить и видеть смешное, — и он шутил, разговаривая с другом: — лишь изредка спохватывался командарм, делался непокойным: вспоминал о непонятном вызове, неловко двигался и говорил тогда здоровым ткачом о больном командарме: — «Вельможа, фельдмаршал, сенатор, — тоже! — а гречневой каши есть не могу... да, брат, цека играет человеком, — из песни слова не выкинешь» — и отмалчивался.

— Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь? — сказал Попов. — Что это ты болтал про почетный караул?

Командарм ответил не сразу, медленно:

— В Ростове я встретил Потапа (он — партийной кличкой — назвал крупнейшего революционера из «стаи славных» Осьнадцатого года), — так вот, он говорил... убеждал меня сделать операцию, вырезать язву, или зашить ее, что ли, — подозрительно убеждал! — Командарм смолк. — Я чувствую себя здоровым, против операции все мое нутро противится, не хочу, — так поправляюсь. Болей, ведь, нет уже никаких, и вес увеличился, и... чорт знает, что такое, — взрослый человек, старик уже, вельможа, — а смотрю себе в брюхо! Стыдно. — Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. — Толстого читаю, старика, «Детство и отрочество», — хорошо писал старик, бытие чувствовал, кровь... Крови я много видел, а... а опера-

ции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут!.. Хорошо старик про кровь человеческую понимал.

Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал, — о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома № первый, просят пожаловать туда, — что новые пришли телеграммы, — что от такого-то прислали за посылкой с юга. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось: — «Приезд командарма Гаврилова», — и на третьей странице было сообщено, что «сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии для того, чтобы оперировать язву в желудке». В этой же заметке сообщалось, «что здоровье товарища Гаврилова вызывает опасения», но что «профессора ручаются за благоприятный исход операции».

Старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью, — Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал:

— Алешка, слышишь? — это не спроста! — Дда. Что же делать? — и крикнул: — Вестовой, шинель!

Глава вторая

На перекрестке двух главных улиц города, там, где бесконечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики — стоял за палисадом дом с колоннами. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома — у ворот с грифами — стояли два часовых в шлемах. Мимо этого дома текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время, тек серый день, газетчики, люди с портфелями, женщины с юбками до колен и в чулках, обманывающих глаз так,

точно ноги женщин голы: — за грифами ворот время покойствовало и останавливалось. — И другой стоял дом в другом конце города, также классической архитектуры, за палисадом, за колоннами, с крыльями флигелей, со страшными рожами мифологической ерунды на барельефах. Ворот к этому дому было двое, на воротах корчили рожи фавны, у ворот разместились сторожки и на скамейках у сторожек сидели сторожа, в фартуках, в валенках, с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью — «скорая помощь».

В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось — «к трехлетию червонной валюты», — указывалось, что твердая валюта может существовать «только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему». — Крупным заголовком стояло: «Борьба Китая против империалистов». В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. — Была напечатана — подвалом — большая статья — «Вопрос о революционном насилии». — И было две страницы объявлений, где печаталось крупнейше: — «Правда жизни — сифилис». — Новая книга С. Бройде «В сумасшедшем доме».

В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый ройс. Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм.

В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гардинами, и за окнами бежала улица; в кабинете горел камин; на столе в кабинете — на красном сукне — стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями; три телефонных аппарата

— три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех его артериях. В кабинете, на письменном столе, массивный из бронзы стоял письменный прибор и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На стене в кабинете, за письменным столом, был прилажен радиоприемник с двумя парами наушников и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков — от звонка в приемную — до звонка «военной тревоги». Против письменного стола стояло кресло. — За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, — и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени.

Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.

П е р в ы й, негорбящийся человек:

— Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо, — к сожалению, я полагаю, — в очень большой мере движется смертью и кровью, — особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежали все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав.

В т о р о й, командарм:

— Эк, как ты тут обставился, совсем министр, — у тебя здесь курить можно? — я окурков не вижу.

— Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю.

В т о р о й, — строго, быстро:

— Говори без предисловий, — зачем вызвал? — Не к чему дипломатить. Говори!

Первый:

— Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал.

Второй:

— Ты, как хочешь, а я все-таки закурю. — Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу.

Первый — сунул руку назад, нащупал на стене кнопку звонка, позвонил — вошел бесшумный секретарь. — первый спросил: — «есть кто на очереди к приему»? — секретарь ответил утвердительно. Первый ничего не ответил, отпустил секретаря.

Первый:

— Товарищ командир, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не посылать четыре тысячи людей на верную смерть? Ты приказал послать. Правильно сделал. — Через три недели ты будешь на ногах. — Ты извини меня, я уже отдал приказ.

Звонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего-на-всего каких-нибудь тридцать — сорок проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал: — «Ноту французам? Конечно, официально, как говорили вчера. — Ты понимаешь, помнишь, мы ловили форелей, — французы очень склизкие. — Как? — да, да, — подвинти! — Пока».

Первый:

— Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов.

Командарм докурил папиросу, всунул окурок к синим и красным карандашам, — поднялся с кресла,

Командарм:
— Прощай.
Первый:
— Пока.

Командарм красными коврами вышел к подъезду, ройс унес его в шум улиц. — Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь, сидел он над бумагами, с красным, толстым карандашом в руках. Он позвонил, — вошел секретарь, — он сказал: «распорядись убрать окурок, вот отсюда, из этой подставки!» — и опять забезмолвствовал над бумагами, с красным карандашом в руках. Прошли час и другой, человек все сидел над бумагами, работал. Однажды звонил телефон, он слушал и ответил: — «Два миллиона рублей калошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы заткнуть бестоварную дыру? — да, само собою! — Да, валяй! — Пока». — Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос с стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой, ушел. — Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: — «секретная сводка готова»? — Секретарь ответил утвердительно, — «принесите». — И вновь надолго человек забезмолвствовал над большим листом, над рубриками Наркоминдела, Полит-и-Эконом-отделов ОГПУ, Наркомфина, Наркомвнешторга, Наркомтруда. — Тогда в кабинет вошли — один и другой — люди из той тройки, которая вершила.

В четыре часа — к дому номер два, на окраину, подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. — У ворот дома стали два милиционера, рядом со сторожами в фартуках и валенках. У дверей в парадный ход стали два милиционера. Краском, с двумя орденами красного знамени, гибкий, как лозина, — с двумя красноармейцами — вошел в подъезд. — Краскома с красноармейцами в прихожей встретил человек в бе-

лом халате. — «Да, да, да, знаете ли». Комната была велика и пуста. Посреди нее расставился стол в белой клеенке и вокруг стола стояли — казенного образца, как на железных дорогах — клеенчатые стулья с высокими спинками. У стены поместился клеенчатый диван, покрытый простыней, у дивана деревянный табурет. В углу, над раковиной, на стеклянной полке расставлены были пузырьки с разными номенклатурами, бутылища с сулемой, банка с зеленым мылом, — висели около желтые, неподсиненные полотенца. — С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги.

Люди входили, здоровались, — встречал их — хозяином — высокий человек, бородатый, добродушнолицый, лысый.

К нему навстречу прошел профессор Лозовский, человек лет тридцати пяти, бритый, в сюртуке, в пенснэ с прямой перекладиной, с глазами, влезшими в углы глазниц.

— Да, да, да, знаете ли.

Бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучной печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел, — опять поправил очки, недоуменно передал лист третьему.

Бритый человек, торжественно:

— Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете?

Первый, второй, третий, — отрывки разговоров, негромко, поспешно:

— При чем же тут консилиум?

— Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета.

— Командарм Гаврилов, знаете, тот, который.

— Да, да, да, знаете ли, революция, командир армии, формула, и — пож-жалуйте.

— Консилиум.

Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. — Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата; один другого взял под руку, чтобы пройтись...

Тогда: — в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки, — красноармейцы умерли в неподвижности; в дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами красного знамени на груди, гибкий, как хлыст, стал во фронт перед дверью, — и быстро вошел в приемную командарм, откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, — сказал:

— Здравствуйте, товарищи! Прикажете раздеваться.

Тогда: — профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенснэ, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза под прямым пенснэ вросли в глазницы, сказал волосатому:

— Павел Иванович, вы как primus inter pares, я полагаю, не откажетесь председательствовать.

— Прикажете раздеваться? — спросил командарм и взялся рукой за ворот.

Председатель консилиума, Павел Иванович, сделав вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь на председательское место:

— Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного.

От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком.

> Протокол консилиума, в составе профессора такого-то, профессора такого-то, профессора такого-то (так семь раз).

Больной, гражданин Николай Иванович Гаврилов, поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту, изжогу. Заболел два года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты, — не помогало. По просьбе больного, был созван консилиум из вышеозначенных лиц.

Status praesens. Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие — N. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме neurastenia. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, повидимому, имеется ulcus ventriculi и его необходимо оперировать.

Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Козмичу Лозовскому. Профессор Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции.

Город, число, семь подписей профессоров.

Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операции, полагая, что болезнь протекает в форме, операции не требующей, но на консилиуме тогда об этом не говорилось; лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем, не настаивая на нем после возражений коллег; да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лозовскому: — «ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции», — на что профессор Лозовский ответил: — «да, конечно, но... но ведь опе-

рация-то безопасная»... — Автомобиль зашумел, пошел.

Негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами. Вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетием. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках, — он писал — по-русски, чернилами, прямым почерком, в немецком Lainen Post, — те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти. — В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека: оно было очень обыденно, — быть может, чуть-чуть черство, — но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомленно: — человек над книгами и блок-нотом сидел долго. Потом он звонил и к нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были — СССР, Америка, Англия — земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, — американская тяжелая индустрия, китайские рабочие руки. — Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой.

Над городом шла луна.

В этот час командарм сидел у Попова, в гостиничном номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами. Их сидело трое — Гаврилов, сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички; удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, — складывала трубкой губы и дула на огонь, не сразу хватало дыхания потушить спичку, потом спичка тухла, — и тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не

зажечь новой спички, — нельзя было не склонить голову перед тем таинственным, что самою собою несла Наташа. — Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: — «ты закрой глаза, а я буду тебе песню петь», — и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывая песню здесь же:

Пришел козел, сказал:
А ты спи, спи, спи, спи, спи.

Улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова, и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучья слов «спи, спи, спи», — запел:

Пришел козел, сказал:
А ты спи, спи, спи, спи, спи...
Но не пис, пис, пис, пис, пис...

Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа.

Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай.

Попов спрашивал: — «не сварить ли тебе, Николка, манной каши»?

Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили, чаю выпили много. Гаврилов пил с блюдечка, расстегнув ворот гимнастерки. После мелочей, о том, о сем, за вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал:

— Николка, а моя Зина от меня ушла, ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне не охота, не хочу мараться плохими словами, — а, все-таки, надо сказать, убежала по-сучьи, не сказав, скрыв. И самому мне стыдно, — подобрал человека в яме, на фронте, заботился, любил и, как дурак, грел

человека, — а он оказался барынькой, — проглядел человека, который со мной пять лет прожил... — И Попов подробно рассказывал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказывал о своей семейной жизни, о троих своих сынишках, о своей жене, которая уже постарела и, все же, единственная на всю жизнь для Гаврилова.

Уезжая, командарм сказал:

— Ты мне дай почитать чего-нибудь, только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую любовь, что-нибудь вроде «Детства и отрочества», — сказал Гаврилов.

У Попова горами были свалены по всем углам книги, — но простой книги о простой человеческой любви, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, людях и о простой человеческой радости — такой книги не нашлось у Попова.

— Вот тебе и революционная литература, — сказал, пошутив, Гаврилов. — Ну, ладно, я еще раз прочитаю Толстого. Уж очень хорошо у него там про старые перчатки на балу. — И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: — Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня и по начальству, и в больнице у профессоров. Профессорье умственность разводило. Не хочу резаться, естественно, против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай! — и Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова.

У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил: — «домой, в вагон», — и машина пошла в переулки. — На запасных путях луна скользила по рельсам; пробежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона

стоял часовой, замер, пока проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник, — вспыхнуло в вагоне электричество, — и такая безмолвная, голубая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, — позвонил, — «чаю». — Прошел в салон, сел к настольной лампе; проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему; командарм долго сидел над книгой, над «Детством и отрочеством», читал, думал над книгой. Тогда командарм прошел в спальню, принес большой блок-нот, позвонил, сказал своему вестовому: — «чернил, пожалуйста», — и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое, писал торопясь, — запечатал, не перечитывая. В вагоне немотствующая стала тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом, в белых пакетах, с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: — «вскрыть после моей смерти».

Глава третья

Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился, и на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегами.

Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в семь утра, и в этот же час он проснулся в день операции.

Профессор высунул голову из-под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукою к ночному столи-

ку, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос, вправив стекла в волосы. За окном на березе сорилась снегом синичка. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную.

В доме было тихо в тот час, когда проснулся профессор, но когда он, крякая, выходил из ванной, в столовой жена, Екатерина Павловна, шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях.

— Доброе утро, Павел Иванович, — сказала жена.

— Доброе утро, Катерина Павловна, — сказал муж.

Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное. Но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно посмотрел на жену, на эту стареющую уже, пухлую женщину в японском кимоно, встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом, ворчливо:

— Ну, ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело?

В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на половину девятого, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-либо помощь, не надо ль прислать за профессором автомобиль? — И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал.

— ... Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам, да, да, да, знаете ли, ба-батенька, и в клиники я езжу на трамвае, ба-батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести. И сегодня не вижу причин не ехать на трамвае.

Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене и чаю. Пофыркал, покусал усы, и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо:

— Захворает в деревне Дракины Лужи мужик Иван, будет три недели лежать на печи, потом помолится, покряхтит, посоветуется со всей родней и поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана пятнадцать лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти пятнадцать лет полторы дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже мальчишке уши драл на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает, — и, если надо, — сделает операцию, тихо, спокойно, толково и — не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, помрет Иван, крест поставят, и все... Или даже ко мне — придет обыватель Анатолий Юрьевич Свиницкий. Расскажет все до седьмого пота. Я его пересмотрю и пересмотрю семь раз, изучу его и скажу ему: — «идите, мол, батенька, живите с язвой, остерегайтесь, проживете с ней так пятьдесят еще лет, а если помрете — ну, что тут поделаешь, Бог подобрал, батенька!» Если скажет мне: — «сделайте операцию!» — сделаю, если не хочет — никогда не стану делать.

Профессор помолчал.

— Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командиром армии Гавриловым.

— Этот тот, который, — сказала Екатерина Павловна, — который... ну, в большевистских газетах... ужасное имя! А почему не вы оперируете, Павел Иванович?

— Ну, ничего особенно ужасного нет, конечно, — ответил профессор, — а почему Лозовский — сейчас время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо.

А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после этих консилиумов, хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши знаменитости. А самое главное — человека не знают, не с человеком имеют дело, а с формулою — генерал № такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить. И попробуй сделай операцию как-нибудь не так — по всем европам протащут, отца позабудешь.

Комната профессора Анатолия Козьмича Лозовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себе рубеж девяностых и девятисотых российских годов, то комната Лозовского возникла и консервировалась в лета от тысяча девятьсот седьмого до девятьсот шестнадцатого. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, стены затянуты были коврами и висели на коврах картинки, второй сорт с выставок «Мира искусств».

Лозовский спал на диване, и не один, а с молодой, красивою женщиной, — крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лозовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лозовский посмотрел на улицу, на снег, на небо.

В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном, за ковром. Профессор взял трубку, — «да, да, вас слушают». — В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль?

— Да, да пожалуйста! Об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины — пожалуйста, тем паче, что мне надо перед

операцией заехать по делам. Да, да, пожалуйста, к восьми часам.

В день операции, утром, до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах, — но разговаривать не пришлось, потому что хожалка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал:

— Прочти, Алеша, у Толстого в «Отрочестве» насчет ком-иль-фо и не ком-иль-фо. Хорошо старик кровь чувствовал! — это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов.

Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди, шептались, бесшумно суматошились. Вечером перед операцией Гаврилову засовывали в пищевод гуттаперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок, — такой гуттаперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику, точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В утро перед операцией клизму поставили последний раз. В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна портах и рубашке (у рубашки вместо пуговиц были завязочки), в больничных, за номером, туфлях на босу ногу (белье на Гаврилове переменили в это утро последний раз, надели на него стерильное) — пришел в операционную побледневшим, похудевшим, усталым.

В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых халатах. Операционная была очень большой комнатой, сплошь — пол, стены, потолки — выкрашенной в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном, и это окно уходило в заречье. Посреди комнаты стоял длинный, белый — операционный — стол. Здесь Гаврилова встретил Кокосов и Лозовский.

И Кокосов, и Лозовский, в белых халатах, надели на головы белые колпаки, подобно поварам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах.

Гаврилов с хожалкой вошел в комнату спокойно, молча поклонился профессорам и прошел к столу, посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючке кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку.

Лозовский спросил Кокосова шопотом:

— Приступим, Павел Иванович?

— Да, да, знаете ли, — ответил Кокосов.

И профессора пошли мыть, — еще и еще раз, — руки, поливать их сулемой, мазать иодом. Хлороформатор просмотрел маску, потрогал свой пузырек.

— Товарищ Гаврилов, приступим, — сказал Лозовский. — Извольте, будьте добры, лечь на стол. Туфли снимите.

Гаврилов посмотрел на сестру, чуть-чуть смущенно одернул рубашку, — она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, и быстро лег на стол, поправив под головой валик — закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску взял руку больного, чтобы слушать пульс и полил маску хлороформом — по комнате поплыл сладкий, вяжущий запах хлороформа.

Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну, молча. Сестра щипцами стала выкладывать, раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пеаны, кохеры, пинцеты, иглы, шелка. Хлороформатор подливал хлоро-

форм. В комнате застыла тишина. Тогда больной замотал головой, застонал.

— Нечем дышать, снимите повязку, — сказал Гаврилов и лязгнул зубами.

— Повремените, пожалуйста, — ответил хлороформатор.

Через несколько минут больной запел и заговорил.

— Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой, золотой, я девчоночка, влюбилась, — пропел командарм и зашептал: — а ты спи, спи, спи. — Помолчал, сказал строго: — А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело, это не ком-иль-фо. — Помолчал, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: — Не отступать! Ни шагу! Расстреляю!.. Алешка, брат! — скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила. И мне не страшна смерть. — И опять запел: — За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой...

— Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать? — спросил тихо Гаврилова хлоформатор.

И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщицки, ответил:

— Ничего особенного, нечем дышать.

— Повремените еще немного, — сказал хлороформатор и подлил хлороформа.

Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его.

Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию. Гаврилова уже усыпляли двадцать семь минут.

Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. Хлороформатор озабоченно прошептал Лозовскому:

— Быть может, отставить хлороформ — попробовать эфир?

Лозовский ответил:

— Попробуем еще хлороформом. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно.

Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу. Профессора молчали.

Гаврилов окончательно заснул на сорок восьмой минуте. Тогда профессора последний раз протерли спиртом руки. Хожалка обнажила живот Гаврилова, на свет выглянули худые ребра и подтянутый живот.

Поле операции, — подложечную область, — широкими мазками, спиртом, бензином и иодом протер профессор Кокосов. Сестра подала простыни, чтобы прикрыть простынями ноги и голову Гаврилова. Сестра вылила на руки профессора Лозовского полбанки иоду.

Лозовский взял скальпель и провел им по коже. Брызнула кровь, и кожа расползлась в стороны; из-под кожи вылез желтый, как на баранине, лежащий слоями, с прослойками кровяных сосудов, жир. Лозовский еще раз порезал человеческое мясо, разрезал фасции, блестящие, белые, прослоенные лиловатыми мышцами. Кокосов пеанами и кохерами, — неожиданно ловко для его медвежества — зажимал кровоточащие сосуды.

Другим ножом Лозовский прорезал пузырь брюшины. Лозовский оставил нож, стерильными салфетками стер кровь. В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лозовский опустил свою руку в кишки, повернул желудок, обмял его.

На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва — белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука — был рубец, указывающий, что язва уже зажила, указывающий, что операция была бесцельна.

Но в этот момент, в этот момент, в тот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лозовского...

— Пульс! пульс! — крикнул хлороформатор.

— Дыхание! — казалось, машинально поддакнул Кокосов.

И тогда можно было видеть, как из-за волос и из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова, вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лозовского сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, сосредоточились, срослись в один глаз, страшно острый.

У больного не было пульса, не билось сердце и не было дыхания, и холодели ноги.

Это был сердечный шок: организм, непринимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что категорически указывало, что человек никогда уже не встанет к жизни, что человек должен умереть, что искусственным дыханием, кислородом, камфорой, физиологическим раствором — окончательную смерть можно отодвинуть на час, на десять, на тридцать часов, не больше, что к человеку не придет сознание, что человек, в сущности — умер.

Было ясно, что Гаврилов должен умереть под ножом, на операционном столе.

Профессор Кокосов повернул к хожалке свое лицо, сунул его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки, профессор крикнул:

— Откройте окно! Камфоры! Физиологический наготове!

Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструменты, молчал. Лозовский также склонился около Кокосова.

— Павел Иванович, — сказал шопотом и злобно Лозовский.

— Ну? — ответил Кокосов громко.

— Павел Иванович? — еще тише сказал Лозовский, теперь уже никак не злобно.

— Ну? — громко ответил Кокосов и сказал: — продолжайте делать операцию!

Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга, у одного два глаза срослись в один, у другого глаза вылезли из волосьев. Лозовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу, глаз его раздвоился, заблуждал, — потом слился еще четче, острее, — Лозовский прошептал:

— Павел Иванович...

И опустил руки на рану: он не зашивал, а сметывал внутренние полости, он стянул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал:

— Освободите руки, — искусственное дыхание!

Огромное окно в операционной было открыто и в комнату шел мороз первого снега. Камфора в человека была уже впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова назад и поднимал их вверх, заставлял человека искусственно дышать. Лозовский штопал рану. — Лозовский крикнул:

— Физиологический раствор!

И ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиною почти в папиросу, иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца тысячу кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно, сине, полиловели губы.

Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось и он дышал, но сознание не вернулось к нему, как быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфаренное и искусственно просоленное сердце, когда он — через тридцать семь часов — был оставлен камфорой и врачами — и умер: — быть может — потому, что до последней

минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и сестры, но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова — случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате, точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там, в палате, лежал заживо-мертвый человек, прокамфаренный потому, что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом.

Операция тогда началась в восемь часов тридцать девять минут и — на столе с колесиками — вывезли Гаврилова из операционной в одиннадцать часов одиннадцать минут. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лозовского дважды вызывали по телефону из дома номер первый. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, которая имела тридцать-сорок проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать.

Гаврилов умер, — то есть, профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командир армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию, скончался в час ночи семнадцать минут.

Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев и по всем ходам и лестницам стали караулы. В этот час по небу ползли облака и за ними торопилась полная, устающая торопиться, луна. В этот час в крытом ройсе профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый; ройс бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, — часовой открыл

дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом, на стене, ротой во фронт выстроились звонки.

Разговор, бывший у Лозовского в этом кабинете — неизвестен, но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета — из подъезда — со двора — очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел, покачиваясь, точно он был пьян... Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским.

Лозовский — Гофманом — вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. — Человека оторвали от его бумаг и формул. — И тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: — «беговую, открытую!» — Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых, — голос его был слаб: — «Андрей, милый! Еще ушел человек — Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик».

Шоферу негорбящийся человек сказал: — «в больницу!»

В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть.

Негорбящийся человек, — черными коридорами, — прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату — там на кровати лежал труп командарма, там удушливо пахло камфорой.

Все вышли из палаты — в палате остались: негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал:

— Прощай, товарищ! Прощай, брат! — и вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал:

— Форточку там открыли бы, дышать нельзя! — и быстро прошел черным коридором.

Глава последняя

Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медных военных оркестров, отсклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих и труп человека стыл в земле в месте с этой землей, — Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо плакала Наташа. Попов склонился над дочерью, взял ее на руки, поносил по комнате.

В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, стала на подоконник.

В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова, та последняя записка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано:

«Алеша, брат! Я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уж не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался. Жена у меня тоже старушка и знаешь ты ее двадцать лет. Ей я написал. И ты напиши ей. И поселяйтесь вы жить вместе, женитесь, что ли. Детишек растите. Прости, Алеша!»

Наташа стаяла на подоконнике, и Попов увидел: она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целилась в луну, дула в нее.

— Что ты делаешь, Наташа? — спросил отец.

— Я хочу погасить луну, — ответила Наташа.

Полная луна, купчихой, плыла за облаками, уставала торопиться.

Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно, один, два, три — много, сливаясь в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною.

(«Новый мир», книга 5, 1926)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Портреты членов содружества «Перевал» мы дали, по возможности, без всяких прикрас. Читателям, мало знакомым с советской литературной общественностью, может показаться, что фигуры эти были вполне типичны для советской литературы 30-х годов. До некоторой степени это верно — большинство перевальцев были несомненно людьми своего времени, но все же необходимо отметить, что по сравнению, не только с писателями ВАПП'а, «Кузницы» и конструктивистами, но даже рядом с попутчиками они выделялись «лица необщим выраженьем». Даже после ликвидации всех литературных группировок в 1933-36 г., ко времени расцвета всеобщей угодливости и лакейского прислужничества, бывшие перевальцы, зачастую, уже не рискуя открыто протестовать против подхалимства, все же оставались как бы «при особом мнении». Не «против», но и не «за» — фигура умолчания — «воздержавшиеся». Если в отдельных случаях кое-кто из них, вроде Губера с его рассказом «Дружба», впадал в общий тон активного приспособленчества, то в целом и каждый в отдельности они продолжали защищать право художника уж если не мыслить, то хотя бы чувствовать и видеть мир по-своему.

Но к середине 30-х годов быть «при особом мнении» не полагалось. «Кто не с нами, тот против нас!» — кричали лозунги и еще: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Все советские граждане, а тем более передовой отряд новой интеллигенции — «инженеры человеческих душ» — писатели, во что бы то ни стало должны были мыслить и воспринимать действительность только по директивам сталинского политбюро.

В апреле 1932 года вышло постановление ЦК о роспуске всех литературных группировок. С этого времени официально перестало существовать содружество писателей революции «Перевал». Но бывшие перевальцы, связанные между собой приятельством, попрежнему встречались у Ивана Ивановича Катаева, у Лежнева, у Зарудина и у Бориса Пильняка. Они уже не спорили о политике. Каждый сознавал, что надвигается тяжелое время, происходит окончательное закабаление писателя. Они смутно надеялись на открытие Союза советских писателей, на котором будто бы будет поставлен и разрешен целый ряд насущных вопросов современной литературы. Но пока надо было держать ухо востро, а язык за зубами. Многие видели временный выход в поездках для накопления материала.

Был у перевальцев проект всем скопом отправиться работать куда-нибудь на новостройку, например на Ангарстрой. Но из затеи этой ничего не вышло, — Зарудин предпочел поездку на Алтай; получив специальное разрешение НКВД, Слетов улетел на Сахалин. Даже Абрам Захарович Лежнев уехал в Белоруссию.

Торжественный съезд Союза советских писателей никаких свобод в литературу не принес. А к концу того же 1934 года, после убийства Кирова, с новой силой развернулись процессы над «врагами народа». Жестокие чистки во всех областях советской жизни, следовали одна за другой. Чиновники Главлита (цензоры) свирепствовали с небывалой яростью.

К концу 1936 года чувство обреченности, которое постоянно носил в себе Иван Иванович Катаев, невольно передалось и другим членам содружества. Бодрился один только Зарудин, но иногда всё же было заметно, что и у него на душе кошки скребут.

После известия о смерти Александра Константиновича Воронского о нем почти не говорили в содружестве. Только ко времени процесса Каменева и Зиновьева Петр Владимирович Слетов сказал:

— По сравнению с Александром Константиновичем, все мы в политике были несмышленными детьми, и Воронский играл нами, как хотел.

И однажды Зарудин, с непонятным злорадством, сообщил своим приятелям:

— Помните, дочь Александра Константиновича — Галочку? Такая всегда была тихая, воды не замутит. В апреле она замуж выскочила, а через четыре месяца разрешилась двойней!.. Вот она поповская-то кровь где сказалась...

В подобных выпадах чувствовалась попытка свалить всю ответственность за свое былое «вольнодумство» на одного Воронского, благо мертвые сраму не имут.

В том же 1936 году Зарудин перебрался на новую квартиру. На новоселье собрались старые приятели. Читали стихи, о чем-то спорили, смеялись, хвалили квартирку.

Под конец развеселившийся хозяин изображал в лицах, как постаревшего и обрюзгшего Льва Борисовича Каменева и понурого Зиновьева ведут на расстрел.

Новоселье прошло беспечно, по-перевальски, а когда гости уходили и еще раз подтвердили, что квартира действительно прекрасная, Зарудин, несколько ослабевшим голосом, с грустью сказал:

— Да, конечно, здесь всё хорошо, но скучно будет, когда из этой прекрасной квартиры поведут...

Он снова втянул голову в плечи, как делал это, изображая испуганную фигуру Каменева.

Первого взяли Катаева. Весной 1937 года его арестовали и увезли в наглухо закрытом автомобиле, который на языке советских граждан назывался «черный ворон» или «собачник».

На другой день, от жены Ивана Ивановича, все участники Содружества уже знали о ночном происшествии. Говорили, что при обыске Катаев держался торжественно, был готов покорно и бестрепетно идти на заклание.

В испуганном перешептывании его друзей было недоумение:

— Почему взяли именно Катаева, который никогда не был причастен ни к левой, ни к правой оппозиции?..

Каждый понимал, что это, быть может, только начало, зачин. Ночью не спали, прислушиваясь, не остановился ли у подъезда черный собачник. Но шли дни, недели...

Зарудин похудел, осунулся и только на второй месяц, после ареста Катаева, начал понемногу успокаиваться. Попрежнему стали наведываться к нему друзья.

Жила у Зарудина старая нянька, родом из Семеновского уезда, Нижегородской губернии. Самого Николая она выняньчила, а потом его дочь поставила на ноги. И вот уже воспитанница ее учится в школе, но няня уходить не собирается.

Характер у няни был строгий, даже Николай Николаевич побаивался и слушался ее больше, чем собственную жену. Старая стала няня, лицо и руки как древесная кора и уже плохо соображает, жалостливой бабьей душой чует недоброе и даже гостям не рада.

— Ох, уж второй день сердце у меня не на месте. Вчера гроза была и у Николая в кабинете стекло от рамы до рамы, само собой лопнуло, к большой беде это... А сегодня того хуже, дерево в горшке, сколько лет стояло, вдруг слышу, хрустнуло и пополам переломилось, а зеленое, свежее... К чему это?..

Гости молчали. Николай Николаевич смеялся:

— Опять семеновские суеверия!..

Той же ночью, едва успели за гостями со стола убрать, звонок, длинный, резкий. Обыск. Перерыли всю квартиру, даже чучело лебедя, которого Николай Николаевич привез с Чанов, распотрошили до основания.

Зарудин сидел на стуле, белый как бумага. Несколько раз пытался он что-то объяснять уполномоченному НКВД, но тот грубо останавливал его:

— На Лубянке будешь разговаривать, а здесь помолчи!

Из разбитого окна, в кабинете, было видно, что на пятом этаже, в доме, где жил Губер, светятся окна его квартиры, очевидно, там тоже — обыск.

В эту ночь одновременно были арестованы: Борис Губер, Ник. Зарудин и А. Лежнев вместе со своей Цицилией Борисовной.

Зарудин сразу понял всю безнадежность положения. У него не могло оставаться ни малейших иллюзий. Губер тоже не отличался наивностью. Но то, что перечувствовал и перетерпел деликатнейший и не допускающий мысли о каком-либо физическом насилии Абрам Захарович Лежнев, даже вообразить трудно.

До последнего момента он, конечно, верил, что в кабинете умного партийного следователя его внимательно выслушают и поймут. Ведь он за социализм; он хотя и беспартийный, но более честный марксист, нежели все эти Ермиловы, Новичи, Гурвичи и прочие подхалимы и карьеристы. Ведь не вапповцы же будут вести его дело, а облеченные полным доверием партии и правительства работники народного комиссариата безопасности. Он просто и открыто расскажет всю правду. Он никогда не умел и не хотел лгать. И его, вместе с женой, тотчас же отпустят домой, для дальнейшей работы на благо социалистической родины.

Он не знал, что облеченному безграничной властью уполномоченному НКВД будет попросту некогда выслушивать его оправдания. Он, конечно, не мог предположить, что следователь деловито положит перед ним лист бумаги и будет диктовать ему чудовищные признания в подготовке террористического акта, в шпионаже в пользу какого-либо иностранного государства и дальше в том же роде.

А когда Лежнев с диким удивлением вскинет глаза и, с негодованием обиженного ребенка, откажется от возводимых на него преступлений, случится нечто такое, что окончательно осознать возможно лишь позднее, ворочаясь на холодном полу тюремной камеры и бережно ощупывая свое изуродованное тело.

У нас нет никаких сведений о том, что происходило с перевальцами в застенках НКВД, но, по тем случайным рассказам, под величайшим секретом, которые изредка просачивались от немногих, уцелевших после концлагерей, советских граждан, можно почувствовать основные штрихи подобных допросов. Некоторые варианты, конечно, допускались, но общий дух ежовщины, при любой ситуации, был один и тот же.

После ареста Губера на Васю Гросмана свалились оба сына Бориса Андреевича, вместе с бонной и кухаркой. Он принял всё это мужественно и покорно.

Через месяц были арестованы: жена Ивана Катаева и Вера Петровна Зарудина. Дочь Николая Николаевича — Инну — отправили в детский дом, новую квартиру запечатали. Старуха-нянька, оставшись одна без крова и пищи, бросились в Петровский парк к старикам Зарудиным. Только через полгода Николаю Эдуардовичу удалось выхлопотать к себе внучку. Сын Катаева остался в детдоме.

Остальных перевальцев вызывали в НКВД и допрашивали, но всё же отпустили. Возможно, что Горбова спасли его «высокие связи». Что-то спасло и Слетова. Кое-кто отсидел несколько месяцев в Бутырках.

Прослышав об аресте друзей покойного Ефима Вихрева, районные партийные руководители возбудили ходатайство перед Москвой о разрешении ликвидировать вражескую могилу и выкинуть из Палеха контрреволюционные останки бывшего перевальца. Однако, центр ходатайство это не удовлетворил.

Много позднее дошли смутные слухи о приговорах, вынесенных «тройкой НКВД». Ручаться за достоверность этих слухов, конечно, не приходится, но все же они похожи на правду.

Зарудина расстреляли. Катаев получил 20 лет лагерей. Губеру, принимая во внимание его чистосердечное раскаяние, скинули до 15 лет. Жены были осуждены на пять лет трудовых лагерей. О Лежневе никто и ничего толком не мог сказать. Повидимому его забили на смерть при допро-

сах. Бориса Пильняка, примерно в 1939-м году, видели в концлагере на Медвежьей горе. Он пилил лес. Это было последнее известие о нем.

Все эти писатели, навсегда изъятые не только из советской литературы, но из самой жизни, не собирались свергать советскую власть. Они не готовили покушения ни на Сталина, ни даже на Ермилова, который спокойно сидел в «Красной нови» вместо Воронского. Они не организовывали заговора против завоеваний революции. Наоборот, многие из них были плоть от плоти этой самой революции.

За что же с ними так жестоко расправились? Ведь даже Воронский, в конце жизни, отошел от своего троцкизма. Зарудину, десять лет спустя, припомнили его, по существу, мальчишеское увлечение Троцким.

Очевидно всё преступление перевальцев состояло лишь в том, что они не учли новой политики Кремля и продолжали защищать, казалось бы, совершенно неотъемлемое право художника быть самим собой.

Но времена, когда еще была возможна борьба за органичность творчества, за слияние мировоззрения с мироощущением, отошли в прошлое, кончились.

Когда Сталин сводил свои последние счеты со всеми инакомыслящими, многие положения перевальской декларации уже выглядели, как прямое сопротивление его замыслам. Так, например, сказать во времена ежовщины, что «необходимо создание такого общественного мнения, которое бы не запугивало писателя», было равносильно выпаду против сталинского НКВД. «Внимание к художественной индивидуальности и поддержка колеблющихся» — означали пособничество врагам народа.

Несмотря на то, что бывшие перевальцы, в последние годы, уже не решались открыто пропагандировать свои прежние лозунги, литературные враги их помнили, что «Перевал» не покаялся в своих ошибках и, в соответствующий момент, донесли об этом куда следует, присовокупив, что ликвидация группы была только формальным жестом, а

фактически «Перевал» предпочел уйти в подполье со всем своим контрреволюционным багажом.

«Высшие способности изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями».

Такова программа Шигалева из «Бесов» Достоевского. Но большевизм пошел много дальше шигалевщины, он не допускает не только высших способностей, но ни малейшего дерзания, даже у средних рядовых представителей искусства.

Перевальцы дерзали и были уничтожены.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Биографические сведения о редакторе настоящего сборника Глебе Александровиче Глинке, бывшем члене группы «Перевал», читатель найдет в краткой справке, которую он сам дал о себе (см. стр. 307). Г. А. Глинка зарисовал в этой книге литературные портреты только тех «перевальцев», которые оставались членами группы до самого конца.

По чисто техническим соображениям настоящий сборник не мог познакомить читателей со всеми «перевальцами». В частности, в сборник не вошли писатели, ушедшие из «Перевала» до его ликвидации, как недавно скончавшийся и широко известный Михаил Пришвин, Родион Акульшин, и покойный Андрей Платонов. Родион Акульшин после многих мытарств добрался после войны до Соединенных Штатов. Здесь Акульшин успел выпустить в свет под псевдонимом Родиона Березова несколько книг, из которых отметим сборники рассказов «Далекое и близкое» (1952 г.) и «Русское сердце» (1954 г.).

Не включен в сборник и покойный Андрей Платонов, автор нашумевшей в 1931 г. повести «Впрок», в которой он до «Поднятой целины» М. Шолохова дал читателю представление о том, какой катастрофой для русского крестьянства была насильственная коллективизация.

Окончательная ликвидация содружества «Перевал» последовала вскоре после первого большого «московского процесса» в августе 1936 года. Именно тогда в «Правде» (27-го августа 1936 года) появилась статья, обвинявшая «перевальцев» в том, что они скрывали

«свои непосредсственные связи и прямую помощь ярым врагам партии — Воронскому, Мирову, Малеву». Для одного из троцкистов, находившегося в ссылке (имя его «Правда» не привела), «собирались деньги; деньги давали: Воронский, Иван Катаев, Губер и Зарудин». В той же статье сообщалось, что в последнее время эта группа «усердно добивалась разрешения на самостоятельный журнал, или, на худой конец, альманах». Разрешения не последовало, но в самой этой просьбе «Правда» усмотрела доказательство того, что «Перевал» «стал перерастать... из группировки творческой в политическую»... В послевоенных советских руководствах по современной литературе писатели-«перевальцы» не упоминаются ни одним словом. Почти все члены «Перевала» погибли, но идеи его живы и поныне. И каждый раз, когда, пользуясь благоприятной передышкой, некоторые советские писатели и затевают откровенный разговор об искренности и реализме, официальные критики вспоминают «Перевал» и упрекают этих писателей в тайных и явных симпатиях к этой группе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена: $3.00